САХАРНЫЙ НЕМЕЦ ★ С. КЛЫЧКОВ

Сахарный немец

Сергей Клычков

YMCA-PRESS

СЕРГЕЙ КЛЫЧКОВ

САХАРНЫЙ НЕМЕЦ

РОМАН

Издание второе, исправленное и дополненное

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ФЕДЕРАЦИЯ»
АРТЕЛЬ ПИСАТЕЛЕЙ „КРУГ“
МОСКВА 1929

СЕРГЕЙ КЛЫЧКОВ

САХАРНЫЙ НЕМЕЦ

Послесловие и биографический
комментарий М. Нике

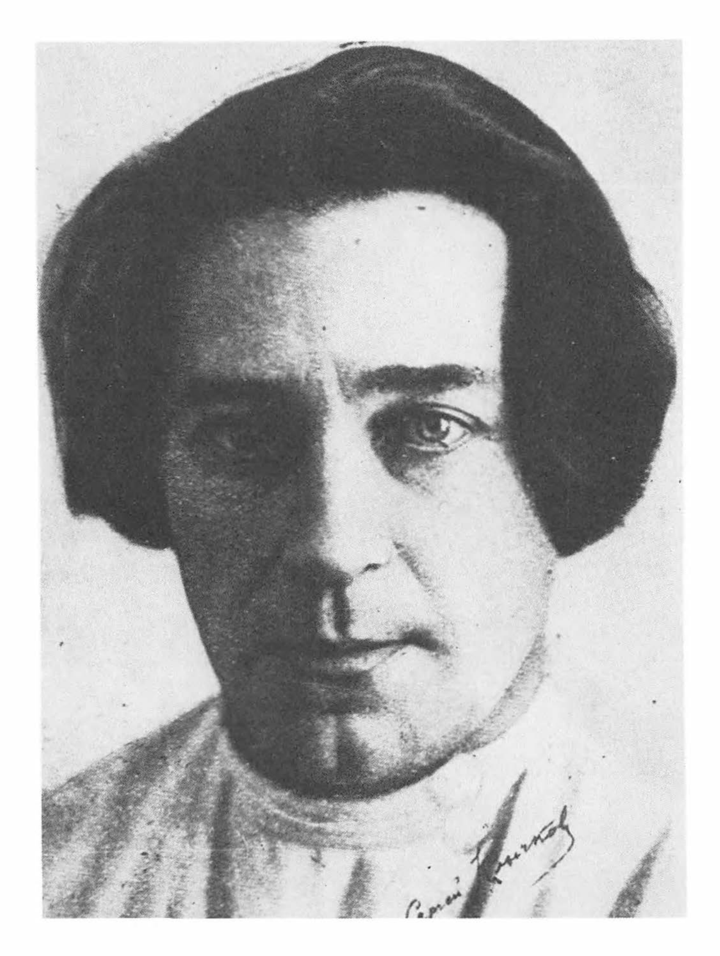
Postface et chronologie de
Michel Niqueux

YMCA-PRESS

11, rue de la Montagne-Ste-Geneviève
75005 Paris

Обложка работы Д. Некрасов-Геллер

ISBN 2-85065-016-1



1926

ГЛАВА ПЕРВАЯ

ЗАЯЦ ИЗ ДВЕНАДЦАТОЙ РОТЫ

ЗАУРЯД

...Эх, рассказывать, так уж рассказывать...

Простояли мы так, почитай, два года в этой самой Хинляндии, подушки на задней части отрастили—пили, ели, никому за хлеб-соль спасибочка не говорили и хозяину в пояс не кланялись: рад бы каждый от стола убежать, из лесной лужи пить, березовое полено вместе с зайцами грызть—лишь бы спать на своей печке!

Да куда тут с добром: посадили нас, в час неровён, в большое, длиной с наше Чертухино будет, корыто... Сидим мы в этом корыте и день, и два, все депеши какой-то приемной дожидаемся, а к этой поре навалило к нам баб из Чертухина видимо невидимо—прощаться с нами... Поглядишь за борт, так вот по берегу и ходят, только ни песен не поют, не смеются, смотрят, как поколоченые, и, что голосу, плачут...

Жалко нам было о-те-поры, что Зайчика, Миколая Митрича, зауряд-прапорщика Зайцева, с нами

не было—вот бы спели тогда Зайчик да я с Пенкиным „Размалинушку“... Стоим так день, стоим так два: ни нам из корыта вылезть, ни самому корыту от берега уйти, так и кажется из-за Гельсинка: стоит это корыто у берега, а с берега нагнулась баба рябая—гору мы так прибережную прозвали, больно камниста да конопаста!—нагнулась баба рябая и в засинённой крепкой синькой воде полощет наши штаны и рубахи, готовит в поход и складает в корыто, колотит вальком на спине у покатой скалы, с которой сбегает вниз мыльная пена.

Но как-то, спустя неделю иль две, с вечера нас никуда не пустили, бабы по берегу спали в повалку без нас, хватили мы на сон хинляндской сивухи, а утром, когда продрали глаза, так ни баб, ни бабы—рябой постирухи, ни самого берега было не видно, а кругом так синё, так синё, инда глазам неприятно...

Локнули мы опохмелки и, как дальше по морю ехали, как по суху шли, никто хорошо и не помнит, прочистились наши мозги только, когда первая пуля попала в окопный блиндаж и Пенкину трубку разбила...

— Немцы,—сказал Иван Палыч, как-будто того и не знал до сих пор, да и мы тоже не знали...

Но трубку Пенкин не очень жалел, начал у всех одолжаться, немцы стреляли один раз в неделю, а мы и еще того мене: с ружьем плохие балушки!—И время поплыло, поплыло, а с ним за окопом и чистые двинские воды...

Сколько тут времени прошло, уж не помню, может, неделя, а может, и год: у солдата часы смерть заводит, смерть переставляет в них стрелки и в негаданный час останавливает часики вовсе:

— Зайчик вернулся...

Зауряд-прапорщик Зайцев... Его благородие!..

На плече перекладина:—зауряд!..

* * *

Нашему брату эта перекладина не больно сперва приглянулась. Гляди, и руки не протянет, а Иван Палычу—фельдфебелю нашему—так тому рот клещами зажало, так и не ституловал Зайчика „вашим благородичком", а под козырек, да и ляпнул „ваше заурядичко". Ротный, Палон Палоныч, рядом стоял и в первую же встречу дал Зайчику за это хорошую встрепку:

— Вы, дескать, теперь знаете кто, ну, и должны об этом помнить и честь свою соблюдать больше родной матери...

Оно так и должно быть: когда еще Зайчик был у Иван Палыча в писарях под началом, все вставали в шесть, а Миколай Митрич в пять поднимался. Встанет и тут же разные хитрые списки составлять, и такие эти списки для Зайчика были натрутные, что, подчас, в десятый раз переписывает, а уж Иван Палыч где-нибудь найдет ошибку. Больше всего из-за почерка Зайчику перепадало.

— Чтой-то у тебя, Зайцев, за руки такие,— каждый раз говорит, бывало, Иван Палыч, принимая от Зайчика список,—ну, и буковки!

И вправду, Зайчик не горазд был на эти списки,— посмотришь, и словно по белому снегу пьяные мужики у трактира в Чагодуе валяются. За то уж Иван Палыч его и строжил. Сапогом! Дошло у них дело до того даже, что Зайчик к Палон Палонычу— ротному—ходил жаловаться. Об этом потом Сенька Кашехлебов—Палонычев денщик—всем нам так рассказывал:

— Припетлял это к нам,—измывался Сенька,— серый наш заяц, да темной ночью. Стучит лапкой в дверь.

— Кто тут?—спрашиваю.

— Я,—говорит,—заяц из двенадцатой роты.

— Что тебе, зайчик серенький, надо?

— Мне, грит, их-высок надо!

Иду я к их-высок и говорю: там вас, ваш-высок, заяц из двенадцатой спрашивает.

— Какой-такой?—кричит их-высок, а сам хлоп стакан, а мне опивки в глотку льет...

— Какой-такой!—отвечаю,—ученый заяц: лапки чернилами вымазаны!

— А,—говорит их-высок,—пускай подождет—а сам к двери:—ты, говорит, что по ночам ходишь: волк с'ест!..

— Мне,—отвечает заяц,—от вас, ваш-высок, об этом-то волке ответ один получить надо.

— Говори!—кричит их-высок.

— Что мне,—спрашивает,—серому зайцу будет, если я того волка за ухо укушу?

— В арестантские рроты,—кричит их-высок,— сошлю!

Ну, заяц наш тут прыг-прыг-прыг, а их-высок вдогонку:

— Эй, косоухий! Таким косоухим во всяком лесу луна хорошо светит, куда хошь дорожку укажет: хошь в острог, хошь в церкву...

...Над Сенькиным этим причудливым рассказом мы поначалу смеялись, а потом как-то чуть не побили, да Палона побоялись, а кто похрабрее, стал дразнить Сеньку: их-висок, намекая этим, что Сенька доносит и кляузы строит про нас у Палона.

Может быть, это было и верно, а может, и нет: мужика в серой шинели можно принять и за арестанта!..

Ну, а тут, когда Зайчику целого зауряда нашили, так само собою, и от „заурядчика"-то у Иван Палыча язык во рту сдавило. Потом все обошлось по-хорошему.

— Вы, Иван Палыч,—сказал Зайчик фельдфебелю, когда ушел ротный,—меня не бойтесь и как хотите зовите, а только, вот, при ротном-то уж как бы это так поскладнее...

А Иван Палычу только это было и нужно.

* * *

Зайчик сам очень сильно сперва волновался. Бывало так и зальет всего краской, когда пройдешь мимо да так это по-особенному козырнешь — с кандибобером! Хорошо понимал, значит, что положенье-то это его новое далеко уж не так завидно, как это кажется со стороны, что всего больше в этом его положении самой что ни на есть глупой случайности, и потому чином своим не задавался.

К тому же в окопах погонами очень не зафорсишь.

Вошь — она не разбирает, какого ты чину, а коли попался, так ест тебя и никакого чину не спрашивает. Зайчик все это хорошо раскусил, так как был хоть и чудной человек, но глупого в нем мы ничего не замечали. Как был он Миколай Митрич Зайцев, человек нашенский — с нашей, значит, с одной стороны, Чертухинского лавочника сын, — так и остался, и попрежнему шло к нему это прозвище — Зайчик — как румянец к девушке.

Бывало, встанет ротный, с пьяных глаз всем недовольный да на все сердитый, и первым долгом распекать Миколая Митрича: и дела-то всего, — ну, к примеру, пуговицу на штанах человек забыл застегнуть, а, бывало, взглянуть страшно на Палон Палоныча, — борода так и ходит по груди, как волна по берегу. Борода у Палона большенная, вся в завитушках, цыганская, усищи, как у сома какого, и

фамилию ему такую попы подходящую дали: Тараканов, Палон Палоныч.

Стоит перед ним Миколай Митрич, как и впрямь зайчик под осинкой—на задних лапках: одной рукой на кант штанной, а другой все под козырек, ровно сам себя за ухо дергает. Стоит Зайчик и только глазами моргает:

— Виноват, господин капитан,—непредвиденный случай-с!

Палон Палоныч вывалит глазищи, плюнет на обе стороны и Зайчику два пальца подаст. Тем обыкновенно и кончались утренние выходы капитана. Вскоре денщик,— Сенька Кашехлебов, – приносил заливухи, за которой в тыл обычно уходил с вечера. Палон Палоныч удалялся в свой блиндаж на покой, до следующего утра, а Миколай Митрич по окопному делу, хоть и не мудрое это дело: стой да винтовку держи—с нашим братом!

Мы были по сю сторону Двины, немцы—по ту. Стрелять и в заводу не было без толку, словно уговорились до время не беспокоить друг дружку, жили мирно: немцы шоколад жрали, а нас—вши. Окопы шли поймами, верховые, под ногами кладинки хлюпают, а по стенкам ползают гладкие, гладкие.

Как мы тут жили, теперь и вспомнить чудно, хотя человек ко всему привышен; а вот как помещалось это солдатское хозяйство — так не мало можно надивиться. И кусались-то ведь по разному:

одна куснет, словно тело в зубы натянет, вроде как в клещи такие, а другая только как пьявка: тюк! — и больше ничего: инда даже приятно. В первое же время это добро завелось и у Зайчика. О Зайчиковых вшах потом даже анекдоты среди штабных ходили — будто они величиной с галку, и что до того они кусакие, что у Зайчика, де, вся спина наскрозь об угол блиндажа протерта.

Зато уж вся рота при случае повторяла, что однажды Зайчик капитану сказал:

— Не убьют, так вши все равно заедят!

И никто потому не стеснялся при нем поскрести под рубахой.

Миколай Митрич только и спросит:

— Едят, дружок?

— Заели, ваш-бродь!

— Керосином рубаху вымочи, от керосинного духу они шалеют и аппетит теряют!

А сам улыбнется и тоже почешется.

Солдату только ведь и одолжение, что ласковое слово. За ласковое слово наш брат жизни не пожалеет. Ну, за то Зайчика и любили. Хотя солдаты и Палон Палоныча уважали и даже, может, любили, что строг был, а солдат во время и строгость любит: Палон Палоныч больше над Зайчиком да над Иван Палычем измывался, а солдата чтобы тронуть, так ни-ни:

— Солдат, — он говорил, когда уж очень в сильном хмелю бывал, — солдат — эт-то гордость нации!

Хлестал он водку, почитай, что каждый день. Не мало дивились: откуда берет, когда ее искать надо, что булавку в сене. Может за это удивленье и любили его, да за то еще, что борода большая да черная: четыре фунта черного хлеба завернешь,— солдатская душа—чудная штука!

Зайчика солдаты жалели, сами-то нигде и ни в чем жалости не видя, и к самим себе всякую жалость потерявши...

* * *

Очень даже вскоре после того, как к нам Зайчик приехал, случилась оказия, которая нам всем животы здорово подобрала. Ушли мы к тому времени в резерв, на отдыхи, верст за сорок от линии. Чинимся, моемся, скребки даже такие особые перед баней выдали.

Благодать по началу была, целым днем валяемся в сосновом бору и в козла режемся. Вдруг, как снег на голову,—депеша из ставки: приготовить полк к десанту, сам штаб-генерал приедет, смотр будет делать... Забегали командиры, лица у всех, как потерянные, глаза на вылуп, голова кругом. Спешка, торопка, с высунутым языком шушера полковая носится, как комарье, покою от них никакого, целыми днями муштра пошла—отдание чести, титулование начальства, офицеры в подтяжку, солдаты в струну...

Вспомнили мы тогда нашего Фоку Родионыча и его рассказы о николаевских временах: крепок был старый народ! Тут вот так ноги все измусолил за две недели, что, кажется, лучше бы смерть поскорее пришла, чем это хождение крепкой ногой, бег на месте,—бежишь, а на самом-то деле никуда не бежишь, да и бежать-то не надо,—а Фока Родионыч оттяпал двадцать пять лет, три раза ему всыпали по большому возу березовых палок в сиденье, ногу в турецкой войне оторвало, и ничего, воротился Фока к своей Акулине и прожил до девяносто трех лет, в последний год перед смертью косил вместе со всеми и, может быть, еще двадцать бы лет проканючил, если бы смерть, проводя брод по траве к его покачнувшейся хате, не задела по дороге тупою косой и не уложила Фоку вместе с травою.

Крепок был русский мужик... Эх, вынослив!..

* * *

В неделю нас совсем уходили—стали, как тени в плетне!..

Зайчик на роте был, Палон Палоныч в отпуск уехал ...

Раз, часа в четыре поутру, ждали мы полкового командира, ждем час, ждем другой, ноги у всех устамели, все на шнурке, да на шнурке, долго не выстоишь. Миколай Митрич с натуги да со страху лицо потерял. Оглянется, слова не скажет, только

на Иван Палыча глазом покосит, как на спасителя.

— Будьте без всякого сумленичка, ваш-бродь, — подбежит к Зайчику Иван Палыч, — не подкачаем!

А сам про себя думает:

— Слава те, осподи, что Палона-то нашего чорт унес, вот бы греху не обобраться!..

Часам к восьми, вдруг слышим махальники машут:

— Едет, едет!..

Не успел Зайчик шнурок из-под ног выдернуть, как батальонный кричит, как зарезанный:

— Смирно-о-о!..

Кажется, все бы ничего, рота стоит, что лес тебе сеяный, солдаты смотрят—вот тебя сейчас слопают, пуговицы в порядке, головные уборы, как и надо быть,—ан, командир весь полк об'ехал, никакого замечания не сделал: все „спасибо“ да „рады стараться“, а тут как под'ехал к двенадцатой, так весь сразу и посинел.

— Прапорщик Зайцев!..—словно труба трубит.

Зайчик моментально под-козырь...

— Непорядок... Четвертый взвод!..

И сам так рукой,—как Суворов.

Зайчик на каблучках, как по ветру, повернулся, да с под-козырьком к взводу. Глазам не верит: все, будто, в наилучшем порядке и на своем месте.

Командир следом.

— Этто что такое!..—тычет пальцем на взводного.—Портить роту?!.

Тут только Зайчик и вспомнил.

— В шею гнать... в шею со взвода!..

Вспомнил Зайчик, что настоящий-то взводный с ротным в отпуск уехал, а этот—рыжий, как деревенский мерин—ефрейтор Пенкин, Прохор Акимыч,—и рябой-рябой: курочке клюнуть негде,—не всамделишный взводный, а только как бы заместитель на время отлучки.

— Виноват-с, господин полковник!

— Что это вы со мной делаете? А? петухом кричит командир,—А? Вместо приказов романы, что ли, читаете?.. В шею!..

Зайчик так и затрясся весь, как осиновый лист, и не своим голосом на весь полк скомандовал:

— Три шага вперед, маррш!..

Что тут случилось, мы и сами сначала не расчухали.

После Зайчик Иван Палычу об'яснял, что привиделся ему вдруг не Пенкин—ефрейтор Прохор Акимыч, а наш рыжий дьякон с Николы-на-Ходче.

Дьякон этот, пьяница и озорник, еще когда за бутылку у Чагодуйского корчемника водосвятный крест пропил, и как это пришел тут в голову Зайчику, сам Бог не ведает: должно с перепугу, что таким петухом хриплым на него кричал командир.

Ну, Зайчик и расхрабрился да и хлопни, дьякона, то бишь, Пенкина,—в самое рыжее хайло. Вся рота так и замерла на месте: больно уж непредвиденный случай! Про Пенкина тут, конечно,

речь молчит, жалеть такую занозу никому нужды не было, жалко было Зайчика: хотел он по военному повернуться к командиру или ветром его сдуло в таком смятении, только не удержался Зайчик на ногах, хлоп с катушек долой да прямо под ноги командирской лошади.

Командир со стыда едва ноги унес: говорили, что во время парада все усы себе искусал!

* * *

Вечером поймал Зайчик рыжего Пенкина в ельнике, куда тот оправляться ходил, и прямо ему в ноги: прости, да прости,—не по своей, дескать, воле! Пенкин был мужик карахтерный. Был у нас этот Пенкин первый в роте песенник, рассказник, задира и балагур. Когда же нападала на него, как он говорил, „мрачность чувства", обычно веселое его лицо с'езжало в сторону и закрывалось серой дерюгой: в такие минуты, казалось нам, Прохор мог зарезать. В этот раз несмотря на подскулину Пенкин был в добром духе.

Высвободил Пенкин ногу легонько, чтобы носу Зайчику не поцарапать, да в сторону. А Зайчик все на земле лежит, и фуражка на затылке.

— Не обмарайтесь, ваш-бродь, говорит Пенкин,— тут солдаты на двор ходють!..

— Пенкин,—шепчет Зайчик,—не говори, пожалуйста, никому: мне и так смерть как тяжело!

Известно: у солдата язык бабий! Вся рота в ту же ночь узнала. Только, еще крепче пожалела Зайчика, а Пенкина почла все-таки за молодца: какая же вина на человеке в том, что рыжим родился? Это всякий солдат хорошо понимает. Ну, вот стоять ли рыжему, как Пенкин, на взводе—это особая статья, тут командиру больше видно: на то и на лошади сидит, чтобы всю роту по головам сосчитать!

СЧАСТЛИВОЕ ОЗЕРО

...Через неделю приехал генерал из ставки. Какой-то де-Гурни, из французов, должно быть. Нашему полку был назначен смотр. С девяти часов до самых-то четырех гоняли нашего брата по полю, инда совсем ноги обломали, а в четыре под'ехал генерал, седенький, маленький, пузатенький, катушок такой—на плечах серебряные погоны в четверть ширины,—две минуты пощурился, поморщился, всех солдат похвалил, а прапорщику Зайцеву даже в особицу ручку почему-то с лошади подал. Издали даже было глядеть смешно: наклонился Зайчик низко, принимая такую высокую честь, и словно к генеральской ручке приложился. Уехал генерал, будто на крылышках улетел. Зайчик только и успел Иван Палычу шепнуть:

— Вот это люди!

Вечером позвал к себе Зайчик фельдфебеля и протянул ему листок,—а у самого глаза красные, и в руках дрожь ходит, как украл что.

— Инструкция. Я так полагаю, что роту надо под причастие. Я завтра непременно батюшке скажу.

Иван Палыч читарь был хороший, прочитал он эту инструкцию да рот и разинул.

— Так точно, ваш-бродь,—говорит,—верная погибель! Может прикажете у сапогов подметки отодрать?

— Я думаю лучше дырки в ходу навертеть. Без подметок на берегу ноги исколешь о гальку, а самое главное:—батюшке!.. Сбегай-ка, Иван Палыч, счас!..

— Преупрежу, ваш-бродь, как же можно иначе,— ткнул Иван Палыч под козырек.

* * *

Утром читали всей роте инструкцию. Читал Зайчик, как дьячек, мямлил и слова путал, на лице было такое смятение, такая тоска и скорбь! В инструкции сказано было, что от успеха этого дела зависит исход всей войны и слава и благополучие будущее государства. А дело это хоть и трудное, и трудности этой начальство не прячет, но за то уж верное, потому что, если вот так мы из моря в тылу у немцев вылезем да сонному ему руки свяжем,

так тогда немец очень испугается и у нашего царя пощады просить будет... А потому, дескать, твердо все это помни, и когда тебя будут вроде как на отмель ссаживать, за полверсты от берега, куда пароходы потащут особые баржи-плоскуши, так слезай прямо в воду и по воде иди молча, утопнуть не бойся, от воды криком не заходись, а как вылезешь на берег, так сапог не сымай, штанов не выжимай, а в боевой порядок и приступом в полной готовности на немецкие береговые батареи да немцев в плен и забирай. Слушали мы эту инструкцию, а у самих сердце так на другой бок и перевалилось. Главное лататы-то дать некуда: впереди немцы, а на затылке вода.

Мысль о причастии пришлась солдатам очень по-сердцу—как-никак, а сух из воды теперь уж не вылезешь! Пришел батюшка в одном набедренике, наложил угольков из костра в кадило, и по всему сосновому бору поплыл вместе с плаксивым поповским голоском тонкий, как ниточка, ладанный дымок.

— Пошли, осподи, одоление на всяка врага и супостата...

Все мы, может, никогда так не молились, как под этими высокими соснами, стоявшими словно большие свечи с зеленым пламенем, которое, кажется, так и колыбалось в подернутых влагой глазах от набегавшего с озера ветерка. Такая тишина и ясность была разлита вокруг, и так это все не

шло к тому, что было у всех нас на душе. Стоит Зайчик на коленях впереди всех, крестится своим староверским крестом, а в голове вот так кто-то и выстукивает:

— Дырка... дырка... дырка...

Эх, убежать бы да забыть обо всем... Сидеть вон там, на пригорке, откуда смотрит на Зайчика синим глазом „Счастливое Озеро“.

— Отчего-й-то это озеро счастливым названо,— пришло в голову Зайчику, когда отец Никодим приклеил к ротной иконе тонкую свечку и начал службу:—должно быть, счастливые люди на этом озере живут?!,.

— Пошли, осподи, одоление на... всяка...

— Пошли мир в мою душу,—шепчет Зайчик и стукается лбом в корявые сосновые корни...

Оглянулся Зайчик: вся рота, как подкошена, стоит на коленках, глаза словно спрятались в брови, а по желто-загорелым лбам тяжелая безысходная тревога собрала набухшие складки. Показались тогда Зайчику эти солдатские, натруженные одной и той же думой морщины похожими на строки старой в кожаном осохлом переплете книги „Златые Уста“, о которой в кои-то веки говорил ему Андрей Емельяныч, староверский поп: счастлив человек, прочитавший эту книгу от страницы до страницы, все в этой книге сказано, обо всем в этой книге написано, и радужные врата открыты душе, а душа как слепец идет по дороге, и посох в руке у слепца

больше видит дорогу, чем закрытые пеленою черной, навсегда ослепшие человечьи очи!

— Нет,—думает Зайчик,—нет, не надо, некуда бежать, и не имею я на это ни воли, ни права...

Оглянулся Зайчик еще раз на солдат: переодетые Чертухинские мужики!

Три брата Морковкиных, все как один, словно одним плотником три крепко срубленных избы, а не мужики: на спине выспаться можно, жилы на руках, словно руки ужищами вкось и вкривь перевязаны, только глаза у всех маленькие и под лоб спрятались, как воробьи под застреху!

За ними Голубковы, вся родня тут: шурьё да деверьё, у каждого по охапке ребят дома осталось, род голубиный плодливый, плодорасливый, твердый, как сохлый дуб, семя староверское крепко, как жолудь: упадет, не загинет, в какую хочешь землю корешки пустит. Смотрят под ноги себе Голубки голубыми глазами, мотают белобрысыми затылками, чудится в них хитрища да силища несусветимая, крепкорукая, до земли жадная да охочая;—за Голубками—Каблуковы, Абысы, чуть тоже не по пяти человек, со всех домов по мужику пошло, всех братьев уповадило,—Каблуки да Абысы пожиже да победнее, зато смирнее их никого не сыщешь, хлопотливей в работе да заботливей не найти. За ними мужики безыменные, схоронившие свое имя в полковых списках, в солдатских поминаньях, по которым потом для креста и места его не найдешь,

выклюет ему серая ворона хитрые, подлобые глаза и унесет имя и облик под серым скучным крылом,— мужики с разных сторон, других обычаев и уклада другого, мужики домопоставные, им бы землю с боку на бок переваливать, чтоб была пушней да на урожай проворнее,—зазря стащили с них пестрядники да полусибирки, тесно им в этих желтых казенных рубахах, не будет, не будет проку из дела, которое кажется им хуже безделья...

* * *

...Оглянулся Зайчик на солдат, смотрят они в землю, будто спрашивают ее: где враг, кто враг, что это за враг, сильный и хитрый, к которому надо по морю, как по суху иттить, да еще сапог на берегу не сымай, а чтобы сама вода убралась, проверти дырку, порток не выжимай, а так теленком необлизанным на немецкий штык и тычься: все это пешему человеку, привыкшему к черной земле, как барыня к перине, само собой в диковину немалую померещилось.

Батюшка помахал над солдатами крестиком, положил его на корень под сосну, куда сверху, сквозь ветки, так и сыпалось золото, и взял причастную чашу. Зайчик первый подошел и сложил руки. Сунул ему батюшка ложечку, об ложечку зубы Зайчиковы стучат, причастие поперек горла встало и в утробу нейдет—дух захватило! Поперхнулся Зайчик, кой как откашлялся, клюнул в батюшкину руку:

— У меня задышка, батюшка!

Батюшка старенький, добренький, глупенький— тихонечко сунул ему другую, Зайчик проглотил и за батюшку отошел с лицом затуманенным, будто осенней паутиной закрытым.

За Зайчиком—Иван Палыч. Проглотил и только кадыком екнул. Волосы у Иван Палыча ружейным салом разглажены, пробор за лысиной словно дорожка по Чертухинскому лесу—прямой да видкий, стоит Иван Палыч, как на храмовом празднике.

Долго так совал батюшка ложечку в солдатские рты, почитай весь день ушел. Призрачная у Зайчика в глазах весь день простояла картина: похож был отец Никодим в своей серенькой походной ряске, с этим передником золоченным на какую-то диковинную из сказки бабки Авдотьи-Клинихи птицу, а мужики эти—и не мужики совсем, а будто стая серых воронят с широко раскрытыми ртами у Никодимовых желто-усохлых лапок низко над землей вьется . . . .

* * *

...По дороге в палатку Зайчика кто-то окликнул:

— Ваш-броды! Ваш-броды!

Оглянулся: Пенкин!

Бежит радостный такой, на голове рыжие волосы, словно житный сноп с возу свесился, в рыжей бороде усмешка так и юлит.

„Что-й-то он мне тогда за дьякона привидел-ся“,—подумал Зайчик и остановился.

— Ты что, Пенкин?

Пенкин встал по чину, руку, как и полагается, под козырь, хотя на голове и фуражки-то никакой не было и, задыхаясь от того ли, что бежал, аль от того, что в великом волнении был, по-военному отрапортовал:

— Прикажите под ружье встать, ваш-бродь, потому вину свою,—говорит,—перед вами чувствую!..

Зайчик от этих самых слов Пенкина в такой расплох пришел, вытянулся тоже и сам под козырь взял. Издали можно было подумать, что это Зайчик Пенкина тянет за то, что таким рыжим родился да что такой рыжины командирский глаз не выносит, и что бедный Пенкин даже, не ожидая на этот раз поучения, к пустой голове приложил руку...

Опамятовался Зайчик, отдернул руку и улыбнулся тоже Пенкину:

— Полно, Пенкин, теперь все под смертью ходим!...

* * *

Совсем вечером, Зайчик вышел, полный странного смятения, смутного желания к кому-то итти сейчас и о чем-то долго и страстно говорить и слушать— что скажет и чем отзовется на это великое и от слов бегущее смятение души первый встречный на какой-то, где-то далекой дороге.

Похожа была тогда Зайчикова душа на уставшую от перелета птицу, спугнутую с высокого дуба ветром ли, зверем ли, следившим в полночи добычу. И вот носится в полночи птица и криком, жалобным и нежным, кличет своего товарища, крик свой за ответный крик и тень свою от высокой луны принимая за друга.

Зайчик долго простоял у входа в палатку, сосны погасили свое зеленое пламя и на кудлатые головы густо натянули вечернюю мглу. Зайчик глядит в эту мглу и только еле различает за стволами деревьев цыганский табор, закоптелых цыган, сбившихся в круг у костра, а посреди круга стоит Пенкин, и горят на нем волосы рыжие, и как костер раздувает их озорной ветерок.

Запевает Пенкин в кругу, и словно на него так и накатывает волна: подхватывают песню сотни грудных голосов, как бы из самой утробы идущих:

Раскалинушка, размалинушка,
Ты не стой, не стой на горе крутой,
Не спущай листов во сине море,
Во синём море корабель плывет,
Корабель плывет, ин волной несет,
На том корабле три полка солдат,
Три полка солдат, молодых ребят,
Офицер-майор Богу молится,
Молодой солдат домой просится:
— Осподин майор, отпусти домой
На побывочку, не на долгую,
На неделечку на единую,
Ко жене молодой, к отцу с матерью.

Выкатила луна из-за большого облака свой зелено-золотой глаз да так и уставилась им недвижно с полнеба на отливающее вдали серебром и золотом Счастливое озеро, и такая там тишина, и такой оттуда веет покой, что и вправду верится Зайчику, что живут около него счастливые люди.

Счастливые люди живут, и нет у них ни злобы, ни вражды в сердце, и сини глаза у рыбачьих дочерей, как синё Счастливое озеро, а рыбачья вольная доля полна удачей и довольством—носит счастливый ветер челнок по счастливому озеру, и налит ветром белый парус у челнока, как налита молоком высокая грудь у рыбачки!

ФЕДОР СТРАТИЛАТ

В десант мы все же не попали. Нашлась-таки какая-то голова с мозгами, раз'яснила кому нужно, что дело затеяли, можно сказать, совсем даже глупое. Статная ли вещь выкупать солдата в море, когда моря он, как чорт ладону, боится: это, ведь, не матрос какой-нибудь, которого на корабль прямо мать из утробы выкинула. Спасибо, должно это генерала де-Гурни этого самого надоумило—больно уж беленький да чистенький: как ангел божий!

— Ай да де-Турни, махорочки заверни,—говаривали солдаты, узнавши об отмене десанта и почему-то сразу поверивши, что никто иной, как этот

самый де-Гурни и отменил.—Што значит хранцузская голова, нашей бы не догадаться...

И впрямь: русскому генералу трудно до такого соображения дойти. Ему бы только храбрость свою показать да реляцию порумянее написать, а там есть польза, нет пользы—ему с высокой осины наплевать: после в Питере чиновники разберутся!

Миколай Митрич был, кажется, довольнее всех и всех более уверен, что это де-Гурни отменил, да сам он это и пустил по солдатам.

— Я так и знал,—пел он вечерами в солдатском кругу у костра,—я еще тогда Иван Палычу говорил...

И солдаты охотно поддакивали и охотно верили, что Зайчик раньше всех раскусил, что это за птица де-Турни (может, де-Гурни: шут его знает!), да и не хотелось не верить—уж слишком велика была радость, и слишком в глаза било спасенье. Только после причастия, да еще после случая с Пенкиным, который, конечно, о разговоре с Зайчиком после молебна всем рассказал, да еще с такими прикрасами, о которых Зайчик и не подозревал даже: будто он часто Зайчика во сне теперь видит и что во сне он мало и похож-то на Зайчика, а смахивает, де, как две капли воды, на Федора Стратилата, который у нас на ротной иконе нарисован. Этот-то Федор Стратилат незадолго перед утренним сигналом уходит из его сна и, уходя, будто, ему, Пенкину, очень явственно всегда говорит:

— Скоро, мол, Пенкин, не с винтовкой, а с своей Пелагеей Прокофьевной спать будешь!..

На складку да небылицу Пенкин был головастый, только после всех этих выдумок солдаты еще крепче привязались к Зайчику.

По солдатам и вправду ходили слухи, что наш царь, будто, к немецкому царю в гости ездил. Гостил у него целую неделю, сколько вина одного выпили со своими советниками и порешили они при расставании все это кончить миром к будущей Пасхе, чтобы как раз русские солдаты домой попали на Красную горку, а на Красной горке известно, что в деревне делается: будто оба они друг другу жаловались, что уж больно много и наших и ваших за эти три года перекокшили, что и подати платить некому будет и оба они скоро без гашника останутся!

* * *

...Но не прошло и недели, как снова нас погнали на линию.

— Остатки сладки,—рассуждало солдатье, и в этой чудной уверенности, что идут в окопы последний раз, шли охотнее, бодрее и даже на выходе из резервных лагерей сами взяли твердую ногу и затянули Зайчикову песню, которую тот сочинил, когда из Чертухина бок-о-бок со мной трясся на навозной телеге.

Рано солнце из тумана встало
Провожать солдат в поход...
Вот собрались: старый тут и малый,
Все-е в прого-оне у ворот:
— Василь! Василь?
— Василиса! Василиса!
Отвали-иса от мене!

Как расстаться пахарю с сохою,
Спокидая край родной?..
Как старухе с молодой снохою
С по-оля выбра-аться одной?..
— Василь! Василь?
— Василиса! Василиса!
Веселиса-а без мене!

Будет в поле непожатый колос,
Ве-есь осы-плется овес!
Плачут бабы, плачут бабы в голос,
А-а у ни-их не видно слез!
— Василь! Василь?
— Василиса! Василиса!
Не томися обо мне!

Вот в прогоне уж готовы кони.
Ду-уги на-а заре горят,
По-омолились, подошли к ико-оне
И-и погла-адили ребят!
— Василь! Василь?
— Василиса! Василиса!
По-ожалей-ей малых ребят!

Наши дети за нас помолитесь,
Что-об скоре-ей прошла гро-оза!
И-и Василий смотрит, словно витязь,
В Ва-асили-исины глаза-а!

— Василь! Василь?
— Василиса! Василиса!
Отвали-иса-ох-от мене!

Шлепали мы в полуночи под эту залихватскую и заунывную тож, Зайчикову песню про Василия и Василису, плыли у нас в глазах под полуночным пологом родные Чертухинские дали, и чем ближе мы подвигались к линии, тем тяжелее становились предчувствия, что скольким из нас уж и вовсе даже не суждено в будущую Пасху увидать их и закричать во все горло, когда с поповой горы у села забелеет и замашет, как крыло вертуна-голубя, Василисин белый платок.

* * *

Ну, да куда ни шло!

Дело это стало привычное, почитай целый год стоим у этой самой распроклятой Двины, словно два петуха у меловой линейки: ни немцы ни с места, ни мы вперед!

— Эх, да если б седни пуля сорвала кусок с ляжки,—думает рыжий Пенкин, вешая на прежнее место по возвращении на земляную стену взводного блиндажа Пелагеину фотографию.—Не так обидно, как досадно. Ну, да ладно: все одно!

Потом опять снял и к глазам близко поднес.

— Эх, загляденье ты мое ненаглядное, Пелагея ты моя Прокофьевна!

Прищелкнул пальцем и опять на стену повесил.

— Что, Пенкин,—спрашивает Иван Палыч, утонувши в дымном клубу, словно это не трубка у него во рту, а овин, туго набитый и с мочливой погоды стелящий дым по земле; как овчину,—али опять Федора Стратилата во сне видел?..

— Ничего-сь,—бойко отвечает Пенкин,—живем, нисколь не тужим, был уж очень толст, стал дюжим... Да и вы-то, я, Иван Палыч, посмотрю на вас: лысиной-то вон в деревне ребят изволили пугать, а теперь, ён, не только на голове, а и в носу-то волосы выросли...

— Заноза ты, Пенкин,—говорит Иван Палыч, сплюнув под воги Пенкину,—заноза-а...

— Полно-те, Иван Палыч, меня добрее одна только кобыла отца Еремея... Я-то—да самый что ни на есть уважительный человек на свете!..

Иван Палыч еще раз плюнул.

— Оторвет у тебя, мотри, Пенкин, поганый твой язык немецкая боньба.

— Ничего-сь, Иван Палыч, язык оторвет, а все меня в живых оставит: у меня Пелагея скушных не любит!

— Да тебя Пелагея Прокофьевна без языка из дома выгонит,—говорит Иван Палыч, оглядывая Пенкина.

— Не прого-онит, языка не будет, так я тем местом, на котором, как вы не храбрец, Иван Палыч, а все вам ордена за эту вашу храбрость не

повесят,—таких штук отколю... Да, эх, Палыч, Палыч, да если... Полноте, Иван Палыч,—уж без задира говорит Пенкин,—если бы только живым вернуться бог посудил.

Повлажнел на глаза и Иван Палыч, не ожидая такого конца разговору, поднялся, пошел к выходу, а потом вернулся и провел два раза рукой по плечу Пенкина:

— Расскажи лучше, Прохор Акимыч, рассказку... Так-то будет складнее...

Пенкин посмотрел на Иван Палыча и потянул руку за трубкой:

— Давай, Иван Палыч, соску... Садись, ребята, только, чур, не перебивать, а то всего складу сразу решите...

Уселись по нарам Морковята, Голубки, Каблуки, Абысы и безыменки-солдаты, не с нашей, значит, стороны, от кого теперь, если вспомнить, то нос, то ус рыжий в памяти остался, много нашего брата тогда согнали в одну кучу.

— Жалко,—говорит Пенкин,—печки нету: с печки слышнее, да и рассказка выходит с печки занятней и лучше...

Сидим, как на поседках в Чертухине, каждый трубку зарядил, али самокрутку скрутил, набил и Пенкин трубку до верху стогом, высек огниво и, потонув в табачном дыму, начал немного нараспев хитрую небыль да выдумку, которую, может быть, тут же вот в табачном дыму и придумал.

АХЛАМОН

В некоем царстве,
В некоем осударстве,
Не в том конце и не в этом,
Обойди всем светом—
Пятки натрешь,
Мозоли натрутишь, а где жил царь Ахламон не найдешь
И другим пути не покажешь... Только лежит эта Ахламонная земля на самом краю света,
А за краем света ничего не видно, потому что ничего нету...
На краю света никто не бывал,
Ахламонной земли никто не видал,
А кто и видал, так живым пошел, да мертвым вернулся... Не царство то,
Не осударство,
Не княжество, не королевство, а земля та—Ахламонство...
А сказка эта дальше так говорит:
Глядит царь-Ахламон на белый свет строго.
Всего у царя-Ахламона много:
Добра не прожить, парчи хоть на портянки верти, хоть попов одевай,
Золото хошь в карманы клади, хошь нищим раздавай,
Всякого одолжишь,
С головою завалишь,

А все у царя-Ахламона не умалишь:
Амбары хлебом забиты,
Подвалы вином залиты,
В деревнях сколько хошь скотины,
В городах сколько хошь народу,
И каждый за полтину,
Что тебе в угоду.

Только нет вот у царя-Ахламона во дворце молодой жены.

Живет царь-Ахламон на крутом берегу Ахламонного моря, только в том море свинья брюха не замочит,

Значит, иди по нему, кто если захочет...
Не синее это море, не зеленое,
Вода в нем очень соленая,
Ни самовар ставить, ни холодной пить,
Только можно в ней огурцы солить,
Коли может тут случиться,
Кому надо учиться да учиться,
Коли может тут глупый статься,
Пойдет в то море купаться,
На берег не вылезет, попросит, так не вытащат, штанов на берегу не найдет, рубахи не сыщет,
И ни с кого не взыщет:
Ну тут и гляди в оба: вон Ахламонный дворец стоит...
Стоит тот дворец на крутом берегу,
Сколько в нем окон сказать не могу.
Только весь он из золота литый,

Серебром покрытый,
С хрустальным крыльцом, с алмазным карнизом,
Женьчугом весь унизан,
Янтарем украшен,
На крыше десять башен,
В кажной башне сидит царевна,
В кажной башне плачет королевна.
Руки у царевны связаны,
Губки медом намазаны,
В сафьян ножки обуты,
На груди шелка фу-ты-ну-ты...
Сыты по глотку,
Живут, значит, вот как...
Только ни одна замуж за Ахламона не хотит:
Нос от него воротит, ножкой топает, словами поносит,
Одной смерти поскорее просит...
Поглядеть на царя - Ахламона—слепой со стыда сгорит...
Нос у Ахламона, что речная коряга,
Под корягой большой сом спит,
Носом сопит.
— Ну как же—думает кажная царевна—я с ним лягу:
Зубы во рту, как горелые пни,
Повалятся, только ногой пни,
Два глаза—два омута темных: Поглядишь в них — топиться захочешь!
Ни болести у Ахламона, ни недуга,

А губы словно дерюга:

— Ну как целовать тут—думает кажная царевна,—друг друга?

...Живет так Ахламон, и жизнь ему не в радость. Выйдет на улицу—злой, придет домой—злой.

Встретит кого, на поклон не ответит, в гости к себе не позовет, за стол не посадит, а на кол—любого. Встретит, имени не спросит, в сердце не заглянет:

Коли стар, так в веревку затянет,
Коли добр, так сердце ножом проткнет,
Коли молод, так в солдаты возьмет.
В солдаты возьмет, на войну поведет.
Живет так царь-Ахламон не мается,
В грехах попу не кается.

И вот стукнул ему по затылку 223-й год. Зашел к нему во дворец странник божий,

Ни с кожи,
Ни с рожи.
На человека мало похожий,
На чорта, на ангела, тоже.
И говорит Ахламону прохожий:

— Уж ты царь жестокий, Ахламон Ахламонович, покидай-ка ты теплу кровать, протирай-ка кулаком свои буркалы, собирай-ка ты, Царь-Ахламон, свое Ахламонное войско да на Зазнобу-царевну войной иди,

Да за белы руки прекрасную веди:
Вот уж жена тебе в самый раз!
Осподи, помилуй нас!

Собрал Ахламон свое войско Ахламонное, идут солдаты в строю друг друга кулаками тузят. Перешло Ахламонное войско море Ахламонное, одна половина в море утопла, а другая половина на другой берег вышла: глядит, под ногами чужая земля, на глаз эта земля будто красная, на красной земле растет голубая трава, по голубой траве пасутся золотые лошади. Покрыты кони попонами шелковыми, уздечки на них серебряные, а где пастух около стада—нет пастуха.

Обжаднел Ахламон на чужое добро, велел всех коней в табун залучить, в табун залучить, да и гнать их в свое Ахламонство. Хотел он этих коней своим десяти невестам подарить,

Такой диковиной сердца их покорить.

Да только ступили кони на Ахламонную землю, так все в одну кучу и повалились, да тут же и сдохли. Глядит Ахламон: стоит на том месте большой курган, над курганом ворон черный вьется, крылом его задевает.

Кричал Ахламон еще дольше,

Собирал войска еще больше,

Опять войной пошел. Идет опять тою же дорогой Ахламонное войско, идет

И не день и не два, а круглый год.

Привел Ахламон свое Ахламонное войско к женьчужному бору,—стоят в бору деревья изумрудные, сучья тянут хрустальные, листочками шепчут шелковыми—у каждого сучка в руке по женьчужине,

на каждом листочке лежит по яхонту. Велел царь-Ахламон в лесу искать хозяйку-хозяина, поискали в лесу, пошарили кого-кого:

Не нашли никого.

Закричал Ахламон да на весь женьчужный бор, яхонты с листьев. сами в карманы попадали, с хрустальных сучьев женьчужины сами за пазуху повыпали, земля под царем Ахламоном на два аршина в землю подалась, дорога по бору в другой бок пошла... осерчал еще пуще царь Ахламон, обиделся. Обиделся царь Ахламон, велел лес рубить да в Ахламонную землю везти. Срубил царь Ахламон женьчужную рощу, стволы поклал на сто возов, сучки положил на тысячу—сам впереди едет, на чем свет не стоит—ругается. Только как ступил царь Ахламон на свою Ахламонную землю, обернулся назад: рот, как ворота, разинул, за волосы себя схватил, корягой своей так и зафуркал—на возах скрылки от битых горшков.

Ругаться Царь-Ахламон не ругается, кричать не кричит,

Только носом сопит,

Да в голове мозгой шевелит,

Разойтись войску велит:

— Иди,—говорит,—мое Ахламонное войско домой-по-домам,

Видно это дело не по вашим-нашим умам...

Пошел царь-Ахламон один-одинешенек,

В кармане у него ни гроша нет,

Ничего за пазухой, кроме ножика.
Шел он так не год и не два,
А целых двадцать два.

Никого по дороге не встретил, а если и встретил, на поклон не ответил,

Или совсем не приметил.
По зубам коль не дал,
Значит: далеко увидал...

Шел так шел царь-Ахламон и в Зазнобино царство пришел.

Глядит: лежит озеро, как яичко пасхальное — круглое, как лампада пред образом — синее, как сердце божье — глубокое, как благодать божья — тихое, как наша изба — теплое...

Не знает царь-Ахламон как тут дальше итти,
Дальше итти — распросить пути,
Пути распросить,
Хлебца черного попросить...
Обошел царь-Ахламон вокруг озера три раза.
На третий раз у него сами закатились глаза.
Сердце на замок закрылося,
Душа в первый раз затомилася:
Лег Ахламон и заплакал...

Лежит царь-Ахламон сильно плачет, а к нему из озера Зазноба Прекрасная выходит: сама она синеокая,

Грудь у Зазнобы высокая,

Щеки — как яблочки, очи — как белый свет, уста — словно ела малину,

А одета она в ряднину,

Только на Ахламона строго глядит...

— Здравствуй,—она ему говорит,—жестокий царь Ахламон Ахламонович... Зачем ты моих золотых лошадей угнал-погубил?

Зачем ты—говорит,—женьчужный бор срубил?

Не на чем мне теперь, Зазнобе, покататься,

Негде мне теперь, Прекрасной, прогуляться!..

— Жениться, — говорит ей Ахламон, — на тебе хотел...

— Ах ты, Ахламон, Ахламон... Разве,—отвечает Зазноба,—так добрые люди женятся, разве так хорошие люди сватают?..

— А как же,—говорит Ахламон,—с вашим братом поступать иначе можно... Я—дескать,—десять цацаревен,

Десять королевен,

Полонил,

Каждой полцарства сулил,

Ни одна вида моего не выносит,

Одной смерти просит.

— Ах, Ахламон, Ахламон,—говорит Зазноба,—разнесчастный ты,—говорит, человек!..

Стоит около него и сокрушается.

А близь подойти не решается...

Я,—говорит Ахламон,—совсем этого даже не думаю: всего у меня,—говорит,—много,

Держу я народ строго,

В ежевых рукавицах:

У меня что баба, что девица,
Что барин, что мужик,
Никто на боку не лежит...
Вот не могу,—говорит,—надивиться,
Гляжу, как у тебя живут?..
— У меня,—говорит Зазноба,—живут,
За обе щеки жуют,
Чужого никто не желает, своего ничего никто не имеет. Власти
Да страсти
Никакой,
Оттого счастье
И покой.
У меня уж, говорит Зазноба,—порядок такой...
— Вот как,—удивляется Ахламон,—а у меня одни воры,
Нельзя и спать без запора,
А то и тебя украдут,
Вот и живи тут!
Нет, отвечает Зазноба, у меня не так.
У меня вот как: живут ни бедно, ни богато,
У каждого хата,
В каждой хате баба брюхата,
А возле бабы играют ребята...
— Ну это дело,—говорит ей Ахламон—пято.
У меня у самого есть человечий завод...
А вот как у тебя насчет работ?...
— Работают—говорит Зазноба,—у меня в день

Две секунды,
На разную дребедень,
Да разные хунды-мунды...
Сидят за столом две минутки,
А спят круглые сутки...
— Утки!—не верит ей Ахламон—утки...
— Законы у меня—шутки...
Устав у меня—прибаутки...
Во сне мужик богаче,
А купец тем паче.
Во сне девушки краше,
Сон—богатство наше.
Во сне злой добрее,

Потому все поедят, поработают да и спать скорее...

— Ну,—говорит ей Ахламон,—это ты напрасно: из сонного человека малина не вырастет, калина не выцветет...

— От работы,—Зазноба ему отвечает,—волы дохнут.

От заботы люди сохнут,
От сна люди веселее,
Работа у веселого складнее...

Разнесчастный ты человек,—говорит,—как я погляжу...

— Ну, -говорит Ахламон,—скажи, что бы мне такое сделать, что бы мне такое совершить,

Чтобы счастие свое найтить...

— Указала бы я тебе,—говорит Зазноба,— дорогу,

Да больно у тебя всего много,

Не пойдешь, пожалуй... Ну, да ладно, слушай: выбирай самое трудное, поднимай самое тяжелое... Брось-ка ты золото в море,

От золота не радость, а горе.

Разбросай-ка ты камни дороги во темном лесу,

Добрые люди пройдут, примут за росу,

Разбойник же, если захочет, так и из-под замка украдет... Раздай-ка ты нищим одежды парчевые,

А себе из дерюги сшей новую.

Дворец свой пастуху подари, а сам суму на плечи натяни, возьми у пастуха палку,

Иди куда полетит галка,

А сам пути не спрашивай, а коль спросит кто, палкой на галку показывай: в пояс поклонись при встрече, в землю лбом ударь при разлуке, а речи иной окромя „подайте Христа ради" да „спаси Христос" тридцать три года не говори. Да и то говори не громко, а говори под самый нос:

„Спаси Христос"!..

А то чертей распугашь... Знай себе собирай

В сумку куски,

В спину пинки!

Царь Ахламон с земли поднялся, а Зазноба в озеро ушла...

Царь Ахламон лоб ногой потер, кулаком в носу поковырял, пятерней пробор расправил,

Ногу отставил,

Голову поднял,

Половину всего не понял,

И пошел в свое Ахламонство...

Пришел царь Ахламон в свое Ахламонство и подданным своим говорит:

— Пожелайте,—говорит,— мне семь-верст-не дорожки.

— Что ты,—говорит ему Ахламонный министр,—ахламел, что ли: одна королевна хочет за тебя замуж,

Или прикажешь жениться нам уж...

— Вали,— говорит Ахламон,—мне жена не нужна уж!..

Ну тут министры закалякали,

Орденами забрякали.

Повалились, как пустые кули,

Слюни потекли,

Значит заплакали:

— Не ходи, —вопят,—не покидай нас, при тебе рай, а уйдешь,—говорят:

Будет чортов ад...

— Ну,—говорит Ахламон, всяк о себе старается,

Живет как ему полагается.

И мимо министров прошел. Пришел царь Ахламон в свой Ахламонный дворец,

Дороги камни положил в корец.
— Поди,—говорит Ахламон своему шуту Балбесу,
— Разбросай это дерьмо по лесу...
Шут побежал со всех ног,
Потому что лес был очень далек...
Собрал Ахламон без долгих проволочек
Золото свое в тысячу бочек,
Да и велел министрам катить в море:
— От золота,—говорит Ахламон министрам,— одно только горе!..
Покатили...
Стоит царь Ахламон руки-в-боки, ноги врозь,
Глядит как министрам тяжело довелось:
Катют бочки, потеют,
Золото жалеют,
Карманы из бочек набивают,
А золото не убывает...
— Скрылки!—думает царь Ахламон...
Идет пастух мимо Ахламонного дворца,
С земли не подымает лица,
Согласно приказу:
Итти, не подымать и глазу,
А гнать стадо,
Куда тебе надо...
Идет пастух, в землю глядит, Ахламон его кличет,
В зубы не тычет,
Руку тянет, как милостыню просит:

— Отдай мне, пастух, сумку... Отдай, Христа ради...

Пастух испугался, схватил себя сзади,
Сумку отдал, а сам на утек...
— Отдай—кличет его Ахламон,—подожек...
Отдай дядя
Христа ради...
Пастух Ахламона смерть испугался, палку ему сунул,
Со страху в землю клюнул,
Лежит ни жив, ни мертв...
— Бросай,—говорит ему Ахламон,—пастух свое стадо,—
Получай мой дворец в награду.
И кинул на плечи пастуху,
Свою шубу на собольем меху...
Натянул царь-Ахламон сумку на плечи,
Раздавать уж было боле неча.
Взял он в руки палку, стукнул о камень,
Из камени пламень,
Из пламени галка...
Галка по небу летит, Ахламон по земле идет...
— Вот так палка!—говорит Ахламон,—вот так палка!
— За такую палку,—кричит ему с неба галка,—
И дворца не жалко...
Галка по небу, Ахламон по земле...

К вечеру Ахламон притомился, сел у дороги на кочку и думает:

Проведу-ка у кочки,
Ночку...

Сел он на кочку, а галка над головой, как на ниточке висит...

Снял Ахламон свою сумку, развязал на суме поясок,

Глядит, в сумке баранины кусок,
Нож да вилка,
Рюмка да бутылка,
Хлеба коврига белого, коврига черного...
— Вот сумка,—думает Ахламон,—просторная:
Бери, что тебе надо,
Чему душа твоя рада...

Водку из бутылки вылил, воды из ручья чистой налил, баранину волку в поле забросил, галке белую ковригу в небо запулил, а черную сам с'ел.

Водички из рюмочки попил, бороду травой придорожной вытер, „спаси Христос“ сказал да и спать залег.

Поутру встал Ахламон свежий:
— Никогда,—говорит галке,—я так и не жил!..
Галка по небу, Ахламон по земле...
Пришел Ахламон к вечеру в богатое село.
Хозяин выйдет, Ахламон поклонится,
С дороги посторонится,
А хозяин стоит да смеется:
— Не подаем Христа ради,

Иди к такому-то дяде...
— Спаси Христос...
— Здесь не валтрепные ворота,
Иди, спасихристосик, да работай.
— Спаси Христос,—Ахламон ему ответит.
И так кого не встретит—
Бедного иль богатого,
Жадного иль тароватого...

Проходил так Ахламон по земле тридцать и три года,
Перевидел много всякого народа,
Возлюбил он человечью породу:
И умных, и глупых, и добрых, и злых...
— В лесу живет лисица да волчица.

А в поле,—смекает про себя Ахламон,—синица да зайчиха!..

Обошел он кругом всю землю одиннадцать раз, все пути смешал, все дороги спутал, дорогу к Зазнобе Прекрасной потерял.

— Износил, я—говорит себе Ахламон,—сумку,
Разбил бутылку и рюмку,
Избил о дороги палку,
Осталась теперь одна только галка...
Ну, да теперь мне ничего не жалко:
Притомились мои ахламонные ноги,
Не знаю, где найти к Зазнобе дороги?..

Только это Ахламон подумал, глядь: галка с неба ему на плечо.

— Не горюхтайся, — говорит, — Ахламон, не серчай,
А все получше примечай...
Оглянулся Ахламон: Зазноба ему руку подает,
К озеру синему ведет.
— Понял,—говорит Зазноба,—мою задачу?..
Отвечает ей Ахламон:—а как же иначе?
— Посмотрим, — говорит Зазноба, — отвечай: что ты потерял?
— Что иметь—отвечает Ахламон—не надо
Ни человеку, ни гаду.
— Та-ак,—говорит Зазноба,—а что ты нашел?
— Что надо иметь,—отвечает Ахламон,—чтобы в утробе матери не умереть!
— Верно,—говорит Зазноба, — погляди на себя в озеро, как ты постарел!
Испугался Ахламон,
Что очень постарел он,
В женихи не годится.
Подошел к озеру и глядится:
Стоит на берегу такой витязь,
Ну куда вы все к шуту, ребята, годитесь:
В кудрях шелк,
В речах толк,
Что стан, что рост,
А уж как про-ост!..
Идем,—говорит ему Зазноба,—идем Простота-Витязь в мой терем,
Теперь мы с тобой в одного бога верим,

Одно и тоже знаем,
Одного и того же желаем,
И себе, и людям,
И птицам, и зверям.
Так пойдем же в мой терем,
Да вместе жить и будем...

* * *

Сказка на то и по свету бежит, бежит по свету, людей ворожит, слепому с глаз смертную пелену снимет, глухому в ухо настежь дверь откроет, богача одарит, бедного озолотит, веселого рассмешит, печального утешит, сиротину приголубит, на погосте свечку родителям поставит, чорту хвост оторвет: за то-то ее и любит, за то-то ее и славит простой народ!..

— Хорошая рассказка,—сказал тихо Иван Палыч,—как раз по нашему рылу... выходит, значит, что мы ни хлопочем, ни ищем, а всякий, промеж прочим, ходит нищим...

Пенкин набил заново трубку и ничего ему не ответил...

ГЛАВА ВТОРАЯ

МОКРЫЕ ОКОПЫ

АКУЛЬКИНА ДЫРКА

Покатилось наше окопное житье-бытье день-за-день, как водичка с околицы. Сидели мы больше по блиндажам, где днем и ночью солдаты чаще всего спали, как после угарной бани, а кто не имел этой привычки, тот лежал, выпяливши глаза в потолок или в спину соседу. Что каждый в таком положении думал—одному Богу известно. Только за долгую бессонную ночь, когда начинаешь боков от пролежки не чувствовать, передумаешь все. Про всех вспомнишь, всех родных и знакомых переберешь, словно в гости ко всем сходишь. А уж по дому передумаешь все до самой последней тонкости: где что теперь надо бы починить да поправить; двор в мозгах новой дранкой покроешь и перемшишь, амбар подрубишь и перепаклишь, забор под окном новый, тесовый поставишь,—устанешь, думавши, хуже, чем, бывало, на работе в страду!

А уж когда придет твой черед, да Иван Палыч в наблюдалку нарядит возле акулькиной дырки

стоять (окно в наблюдательном пункте так у нас прозывалось) да за немцем смотреть, просунувши в дырку винтовку, тогда совсем всю голову за ночь-ноченскую переломаешь. Стоишь, как дурак на погосте, сесть ни-ни, сидя хуже заснешь, да солдат хитрее начальства: он научился, как извозная лошадь, спать на ногах!

Стоишь так, бывало, упершись в окно, перед глазами Двина чешуится, за Двиной по крутому берегу у самых сосен и елей тянется, обрываясь в окне, с той и другой стороны глубокая песчаная складка, словно морщина, а за этой морщинкой, знаешь, немец также стоит, просунувши пулеметный хобот или винтовку в бойницу, и тоже на твой берег смотрит. И до того доглядишься за смену, что, кажется, немца-то этого увидишь. Стоит он всегда такой толстый, плотный, усы хвостом, борода клином, стоя пиво немецкое пьет, покрякивает и шоколадом закусывает:

— Что, дескать, взял: ты вот сухарики на манер белки грызешь, а я шоколад уписываю: оттого мы вашего брата, Исакия, и лупим...

— Ну, дескать,—ответишь ему,—наш брат, Исакий, бывает всякий: у нас народу в осударстве, что картошки у хорошего домохозяина в подполице— всех не перелупишь!

Разговор даже такой с ним, с пивным немцем, заведешь, и будто этот немец—как на картине нарисованный перед тобой, вот так-таки перед глазами

и стоит, только куда сам захочешь, туда его и повернешь, что захочешь, то и скажет...

Так и проговоришь с ним весь вечер, и хоть не немец (бог с ним совсем, какое мне до него дело!), так время убито.

* * *

Тяжелей всего было не задремать в ночную смену, когда с полуночи заступишь. Над Двиной месяц плывёт, как у святого на иконе, на месяце светится венчик. Выйдет из легкого облака месяц, все серебром, золотом окатит, а под месяцем низко, над водой, туман белый курится, вода как остановится, будто тоже задремлет, изредка только рыба какая плеснет, или сом на месяц погреть выставит брюхо. Кажется, в эти часы из акулькиной дырки до немецких окопов рукой подать, берега близко придвинутся, на берегу все ясно-ясно, только все как-то по-другому, нежели днем...

По началу зорко смотришь на месячную реку, не крадется ли где лодка с разведчиками, да не плывет ли где какой храбрец вплавь через воду на наш берег, чтобы забраться нам в затылок, посмотреть, как на этом затылке у нас волосья лежат... Смотришь так, смотришь, ин в глазах лодка покажется, ин голова из воды вынырнет, моргнешь— нет ничего!..

Потом все пропадет: и немец с шоколадом, и окопная морщинка на берегу будто сотрется под

месячным светом, и Двина уж будет не Двина, а наша тихая, темная, заросшая на берегу ивняком и осокорем, трубачом да хлыстьями, в зеленой ряске, с белыми по ней, словно вышитыми цветами речных лилий и с желтыми бубенчиками, наша лесная красавица, под месяцем с легким ночным шопотком бегущая в Волгу—Дубна...

На дубенском зелено-муравном крутом берегу встанет в полночь наше большое село Чертухино, разойдутся избы перед глазами по берегу, отойдут в сторону сараи, сараюшки и вся холостая постройка, в тумане белом потонут и дыме наши овины. Над Чертухиным распушатся по небу столетние липы, березы, серебристые тополя и ветлы, и тогда похожи они в своих расшито-зеленых кисейно-туманных уборах на наших дородных чертухинских баб, которые смотрятся с берега в реку, охорашиваются и оправляют на себе дорогие наряды...

Будешь смотреть и даже разглядишь грачиные гнезда в ветельных сучьях на самой вершине,— кажется, кажный листочек видишь отдельно, и кажный листок словно живой...

По-за-селом, в стороне, из-за ветел и лип, в березах вся, в тополях, поднимет к небу высоко-высоко наша сельская церковь, туда, где проходят облака-полуночники, синих пять куполов, и звезды на них смешаются с звездами в небе, и будет тогда и купол церковный, и синее-синее под месяцем небо—одно.

Слышно все и видно в эти часы куда лучше, чем на яву.

Каждый разглядит свою крышу, увидит свой дом, в каком бы порядке он ни стоял, а если уж очень тоскливо в тот день было на сердце, то привидится плачущая жена у крыльца, а возле нее куча играющих в салки ребят...

Хорошо в такие часы в наблюдалке, хорошо прильнуть лицом к акулькиной дырке и, просунув в нее винтовочный штык, заснуть на ногах, засмотревшись на немцев, и во сне-полуяви увидеть родное Чертухино на другом берегу...

Тогда не поймешь, где ты в такие минуты—с винтовкой стоишь на позиции и наблюдаешь за немцем, или плывешь с острогой на плоту по Дубне...

В первое время, как мы возвратились из резерва в окопы, у нас редко-редко кто затеет стрельбу: днем почти никогда не стреляли, и в заводу не бывало, а ночью только с постов да пикетов. Зачнет ночную стрельбу часовой, продравши, должно быть, глаза не во-время: то ли разбудит его криком ночная сова, усевшись где-нибудь в стороне на обшарпанных сучьях прибрежного дуба иль вяза, то ли сыч-ухач, прилетевший пить на Двину, вспугнет его с полусонья, то ли проголодаются вши под рубахой, а эта тварь и мертвеца поднимет из гроба,— только вздрогнет, проснувшись не в час, часовой, прильнет к акулькиной дырке и видит, что никакого в самом-то деле Чертухина нет, что перед

носом немцы сидят, жрут за обе щеки шоколад и пьют баварское пенное пиво. Тряхнет солдат солдатской сумой с вечерним пайком, просунет подальше винтовку в акулькину дырку и начнет палить, как угорелый, без перестану, пока перед утром туман другой берег совсем не завесит...

Чудно, что и у немца была та же повадка...

Верно и их с шоколаду да пива клонило в дрему, и они в полудремоте свою фатерию видят: смерть перегнется в окоп, защелкает на своих веселых кастаньетах, и их разбудит сухое цоканье пуль об окопы и гулкое эхо от выстрелов вдали по воде, вскочут они, как и мы, и ответят раскатистым треском двух или трех пулеметов, и посыплется к нам на козырьки над окопом частый свинцовый горох.

* * *

Но на первых же порах нашего возвращения из резерва на линию, на наблюдательном пункте случилось такое, от чего у многих у нас шевельнулось под ребрами сердце, и в голову ударила муть...

В тот день Иван Палыч не хотел долго копаться в нарядном чередовом листу, назначил сразу, тыкнув пальцем, в наряд старшего Морковкина, кого-то еще из безыменных и Голубкова—нас разводить. Морковкин Василий был приземистый, словно его в землю уперли, неразговорчивый и угрюмый от природы мужик; поглядел он на меня,

как рублем подарил, дескать, что же не скажешь, что мы недавно были в наряде, что нашей глисте-то шут, что ли, глаза подменил, но я ничего Иван Палычу не сказал, не все ли равно, где провожаться, да к тому же, видно, было так уж и надо, чтоб Иван Палыч перепутал черед...

По дороге на наблюдалку мне, как бы ненароком, Морковкин сказал:

— Что-то, братец, больно сердце знобит...

Я поглядел на него: сильный, крепкий, с места не сдвинешь, как дубовый комель, на плече целое блюдо поставишь, только в глазах меркотно, паутина висит, а на шее проступили синие жилы...

— Седни письмо от Василисы пришло, пишет: соскушнилась больно...

Я ему ничего не ответил, дакнул только невольно, потому что и все мы получили такие же письма... Правда только, Василию было всех тяжелей: женился, как известно, он на второй, взял Василису, молодую, здоровую девку, а свадьбу сыграл почти совсем накануне, как приехал к нам старшина и прочитал приказ о наборе. Часто, должно быть, Василий, за день не сказав никому ни полслова и день весь деньской пролежавши на нарах вниз головой, допивал хмельной и душистый свадебный мед, утирая спросонья губы о жесткую полу серой шинели и вспоминая Василисину крепкую грудь.

Когда Голубков повел Морковкина в смену, в лице у него, в хмуром и темном лице, показалось

мне, под темной, угрюмою бровью блеснул огонек, как в осеннюю пору в ночном, когда в отсвете костра вспыхнут вдруг лошадиные рыжие гривы...

— Ну, брат, Василий Василич, гляди,—говорит Голубков, тыкая пальцем в акулькину дырку,—что-то ноне больно туманит... Мотри, как бы немец карасем не подплыл...

— Слушаю, г. разводящий,—сказал тихо Морковкин, сунул в дырку винтовку и словно застыл.

Все было как и всегда, немцы спали на том берегу, мы на этом; изредка только где-нибудь стукнет лопатой или киркой неосторожный сапер. Большой стрельбы не было, а на постах баловство шло, как и всегда. Но на небывальщину нет никакого закона или уж есть какой-то особый закон: как бы, кажется, немецкой пуле в акулькину дырку попасть?.. Сиди немец на том берегу хоть месяц и меться с рогатки—не попадет, а тут вот и без рогатки попала...

Должно быть, ему под винтовку нечистый подставил рога, немец спросонок его помянул, схватил винтовку и, не целясь в нашу сторону, бахнул...

* * *

На свету повел меня Голубков Василья сменять; открыли мы дверку в наблюдательный пункт: Василий Морковкин лежит на полу, раскинувши руки, акулькина дырка забрызгана кровью, на паутине в

углу, словно на ниточках, висят человечьи глаза, а на неотесаных бревнах стены засохли мозги. Сняли мы свои картузы: головы у Василья как не бывало, от разрывной немецкой пули вместо головы остается лепешка...

ДВА ДЕНЩИКА

Дело было простое: для того и живем!

Недели через две или три после похорон Василья Морковкина, немец опять подшутил над нами злую и ненужную шутку...

У зауряд-прапорщика Зайцева был, как и у всех офицеров, денщик. Мы его как-то не замечали, да и сам он был незаметен, но как раз вот к слову пришлось помянуть и пожелать ему лебяжьим пухом землицы.

Взял его Зайчик из одиннадцатой роты, потому что так распорядился наш капитан после „зауряддичка" Ивана Палыча. По фамилии был он Анучкин, звали же мы его просто: Анучка. И вправду, было что-то похоже в лице у него на онучу: как чисто не мойся, а все на щеках и на висках такие желтоватые пятна, как на онучах в пропотелых местах или на пятках. Но, несмотря на эту невзрачность, Анучкин парень был очень приятный, тихий, лишнего слова не скажет, только все „так-точно", да „никак-нет".

Встретишь его, бывало, и спросишь:

— Анучкин, хорошо, брат, небось, в денщиках?..

А он сейчас ногой об ногу бураками прихлопнет и:

— Так точно!—на вытяжку...

— Не хочется, Анучкин, в роту назад, к землякам?..

— Никак нет!..

И опять каблуком об каблук.

Поглядишь на него: дурак не дурак, а так: задуреная голова, должно быть, у человека.

С ним то вот и случилась история. Глотнул он, должно быть, с вечера болотной, некипяченой воды или по какой еще там причине, только начало к свету Анучку гонять. Зайчик в это время без задних ног спал в блиндаже и не видел ничего и не слышал. Сходит—полежит, сходит—полежит, потом, когда разбутрело да кверху туман подобрало, видно, немец его подглядел пивными глазами, взял ненароком на мушку и под елочками спать навсегда уложил.

* * *

Утром, в тот час, как Иван Палыч крикнет на всех: вставай!—вбежал Пенкин в блиндаж, лица на Прохоре нет:

— Ну, братцы, не будет у Анучки ни дочки, ни внучки...

— Что такое? — недовольно спрашивает Иван Палыч.

— В отхожем лежит: нос в дерьмо!

Ахнули мы от такого гостинца все сразу. О Морковкине мы позабыли, в акулькиной дырке Васильеву кровь выели мухи, и мыши с деревом сгрызли, только в списке у Иван Палыча, против Васильева чина сбоку похилился криво поставленный крест, да прошла черта через фамилью и имя: в этот день мы не ходили на двор, а мочились возле порога в блиндаж.

— А тебя, — спрашивает Иван Палыч Пенкина, — ничего... не тронуло?..

— Должно, не видал! Теперь наладит: на двор пойдешь, на тот свет придешь, — ответил Пенкин.

— На тот свет пойдешь, заставы не встретишь, — миролюбиво говорит Иван Палыч, — к вечеру уберем: все равно мертвый!

Позвонил Иван Палыч Зайчику: звонил, звонил, не дозвонился и плюнул: пускай, коли, дрыхнет!..

Под вечер Иван Палыч отрядил Голубков за Анучкой, но они вернулись пустые назад, — навалились на Анучкина черви и страшно было смотреть на него: кости от тела отстали. Зарыли его неподалеку. Пенкин крест сколотил (по нему дня три немец лупил по утрам, принимая, должно быть, крест издали за солдата, на кресту остались от пуль ржавые дырки, и стоял он, как знак, что солдату только там и молиться, куда добрые люди ходят на двор)...

* * *

Похолодело у нас, у всех, на душе, рано спать залегли, когда еще совсем и не смерклось, да развеселил нас Сенька, денщик командира...

...Только Иван Палыч из блиндажа вышел к Зайчику доложиться, тут ему, чуть не под брюхо головой, так и сунулся Сенька-денщик, Бог весть откуда уж пьяный.

— Тише, ты, каша нерасхлебаная,—цыкнул на него Иван Палыч, хотя здорово Сеньку вообще побаивался,—Ну, и денщики: одного кокнуло, неведомо где, а этот пьяный, неведомо с-ча.

Мы слышим, что Сенька: к дверям, стоим слушаем.

— Иван Упалычу все наше почтение,—захрипел Сенька, сделавши сперва слабое движение козырнуть.

— Сегодня, Сенька, Анучку убили...

— Вот те на!.. Царство ему небесное... Как это его, дурака, угораздило?

— На грех мастера нет,—Иван Палыч на отхожее рукой показал.

— Что ты?..

— Видишь, скапутились на-бок...

Поглядел Сенька на густо уставленные елочки и верно, у двух елочек головки на-бок, словно пригорюнились, а одна низко нагнулась и раскинула верхние ветки, как ручки, на землю. Почесал Сенька в затылке и, засмеявшись, сказал:

— Посидишь немного, а поверишь в бога...

— Как есть... Ну парень губастый, садись да хвастай!

— Какие хвасты, коли поджали хвосты... Вам их-высок наказали беспременно притти, а также и этого зауряд-зайца с собой привести...

— Ты бы, зюзя, потише языком-то плел. Давно ли командир пожаловал?

— Утрысь!..

— Злой?

— Уж что: весь язык обломал!..

...Сенька рыгнул и желтую слюну вожжей сплюнул:

— У-у-ж и было разговоров...

— Что, пока на ногах?

— Как полагается: честь честью! Только вошел прямо мне: Сенька, ты, дескать, пьян? Нет, говорю, никак нет,—это, дескать, вам кажется, потому что вы сами маленько выпимши. Он знамо в шею: где ты, говорит, стервяжий сын, без меня мог надрызгаться?

— Ну?..

— Ну, как же, говорю, а иначе? Сами же вы, дескать, ваш-высок, когда в отпуск уезжали, так наказывали мне четвертную с можжевелкой блюсти и на окошке держать... Я ее, дескать, как малое дитя все время с собой таскал, а тут, как пришли из лезерву, так я ее на окошко и поставь сдуру...

— С чего ты все это, Сенька, мелешь,—перебил

Сеньку Иван Палыч,—выходит, он же сам велел поставить...

— А ты слушай, тут-то вот и все дело заело: четвертной то все-таки, когда их-высок давеча приехали, на окошке не оказалось.

Сенька отставил ногу и поглядел на Ивана Палыча, как на дурака смотрят: как же, де, это так могло произойти, не знаешь ли ты, фефела длинная?

— Ну?..

— Вот тебе и ну!..

— Выпил, что ли?

— Выпил!?—Сенька презрительно посмотрел на сапоги Иван Палыча,—выпил то, знамо, выпил, да главное дело, кто выпил!

— Ну?

— Немец выпил!..

— Городи изгороду, не пройти народу...

— Совсем даже ничутельки: четвертная эта, чтобы ей пусто было, видишь, на окошке стояла. Онамеднись, только мы ввалились в нашу фатеру, дзинь: пуля в окошко! Гляжу, горлышко на полу, а из четвертной сама можжевелка лезет и настойка течет...

Ишь ты... А он что?

Да известно: я, кричит, ялдой тебя пополам на две ровные части расшибу, да распротаку-твою гриву на валенки сваляю, да твоей жене-кобыле на память пошлю... А теперь, говорит, за то, что хорошо немецкую пулю отлил, давай обнимемся и выпьем со свиданьем...

— Ну, вот видишь, все и утакалось,—с завистью сказал Иван Палыч.

— Как нельзя к лучшему: подошел, да со всего размаху подскулину и порснул.

— Ну-у?

— Ну, да. А потом сели за стол, как ни в чем не бывало, и выпили...

— Ну, вот и ладно. Значит: вдрызг?

— Спать лег, а меня выгнал и сказал, чтобы вы его через час с их блавародием пришли и разбудили,—закончил Сенька, как-будто и действительно не он, а немец пулей можжевеловую настойку выпил.

Он уж не качался и глядел на Иван Палыча, весь подобравшись, будто ожидая, что фельдфебель сейчас его за непочтительность тянуть будет...

— А жаль, Иван Палыч, Анучку: хоть и дурак был, царство ему небесное, с головы до пяток...

Иван Палыч пошел доложиться.

СТАРАЯ ГАЗЕТА

...Перед тем, как итти к командиру, Иван Палыч зашел за Зайчиком. Зайчик спал, как ребенок, раскидавши по сторонам руки, и так крепко, что Иван Палыч долго не мог его добудиться.

— Ты, Иван Палыч?..—сказал Зайчик, протирая кулаком глаза,—что случилось?..

— Да так, кой-что, ваш-бродь... Добрый вечер вашему благородию... Анучку убили!..

— Как убили?.. Когда убили?..—вскрикнул Зайчик, оглядывая блиндаж.

— Утрысь, в отхожем!..

Зайчик перекрестился...

— Как же я это проспал человечью смерть?.. А?.. Иван Палыч?

— А что, разве вы помогли бы...

— Да ведь, и верно: чем тут поможешь?..

— Ну, вечная ему память, только и делов: другого возьмете...

— Нет уж я, Иван Палыч, лучше один... Мне одному даже удобней...

— Ну, это как знаете... Командир приехал, ваш-бродь.

Зайчик вскочил, словно иголкой его шкнули, и стал натягивать брюки.

— Вы, ваш-бродь,—говорит наставительно Иван Палыч,—командиру о Пенкине, ни гу-гу...

— А что?

— Да рта тогда ни мне, ни вам не даст об отпуске раскрыть.

— А, ведь, пожал-что, Иван Палыч!

— А вам завтра очередь!..

— Да, да, конечно, в рот воды набрать.

Едва успел Зайчик сапоги обуть да волоски, во сне растрепанные, пристроить, как Палон Палоныч сам своей особой в блиндаж и входит.

— Ждал, ждал я вас обоих,– сердито он начал еще в двери,—да, ведь, ждать да догонять нет ничего хуже. Думаю, дай я тогда к ним сам пойду, коли они ко мне не идут...

— Здравия желаю, г. капитан, — тихо сказал Зайчик, подавая первый руку Палон Палонычу.

Иван Палыч вскочил с табуретки и кочергой встал в угол у входной двери.

— Здравствуй, Иван Палыч, — полуобернулся Палон Палоныч к фельдфебелю, в то же время пожимая Зайчикову руку,—распаляции были?

Иван Палыч кадыком только екнул.

— Никак нет-с, г. капитан,—заторопился Зайчик,—Морковкина только... да Анучку сегодня...

— У меня еще с вами, г. зауряд, будет разговор... А впрочем, если вам уж так угодно, так давайте с вами сначала: отзвоним, да и с колокольни долой, как Суворов говаривал... Прошу, господа. садиться... Ну-с, начну, г. зауряд, с того что отныне вы... (Палон Палоныч, очевидно, нарочито долго закуривал трубку, наслаждаясь, как у Зайчика меняется лицо: то побледнеет, как поблекнет, то так и запышет, как кумачевая Василисина кофта), что отныне вы в лице... моем... (клуб прямо Зайчику в нос)... моем обрели, так сказать, вашего пылкого почитателя и, так сказать, читателя (снова клуб, у Зайчика на лбу высыпали потинки) статеек о вас и ваших стишках, а также, так сказать, и самих стишков ваших.

Тут Палон Палоныч остановился, очевидно, довольный, что он так ловко и кругло наворачивает, достал из-за пазухи питерскую газету, очень усаленную и наполовину рваную, рыгнул и от него вдруг сильно понесло перегаром...

— Можете себе, г. зауряд, вообразить, — в чем вы как раз не нуждаетесь, чтобы вам помогали, ибо, судя по вашим стихахушкам — вы простите меня за это явное искажение, но я, как Щедрин, право, не вижу смысла в этом занятии и тем более пользы (это уже вдобавок к мысли сатирика) — пользы отечеству и армии — так судя по всему, говорю, и прочему, фантазией обладаете геркулесовской и потому сами легко об'ясните, как этот клочек газетки от 15-го года попал в мои руки...

Тут капитан опять остановился и опять сильно рыгнул. У Зайчика, как у впрямь настоящего зайца, сердце комочком свернулось, ушки сложило на спинке и так и ушло в холодную снежную ямку. Иван Палыч стоял попрежнему кочергой и стал еще больше похож на нее...

— Так вот-с, говорю и повторяю, что при всей своей фантазии вы такого романического стечения обстоятельств совсем даже и не предполагаете... Вы, конечно, знаете, что во всяком культурном центре есть такие особые... особые... как бы это сказать... места... да... особые места, куда всякий ходит и не может не ходить. Ну, так естественно, пошел и я... Сижу, видите ли, наслаждаюсь, я, ведь,

очень по натуре большой эпикуреещ, держу в руках вот этот драный листок наготове и что ж: бац, знакомая фамилия, знаколицомое, как Лесков это любил перевирать и очень хорошо это делал...

Тут Палон Палоныч вдруг встал и совсем другим тоном, строгим и властным, спросил Зайчика:

— Это про вас написано?

— Так точно, г. капитан, — тихо произнес Миколай Митрич, — про меня...

Эту статейку мне Зайчик показывал, когда мы еще были в Хинляндии. Написал ее один его питерский приятель, с которым Зайчик все пивные в Питере обшаркал: до того они с ним дружно жили да любили друг дружку. Приятель Зайчиков даже портрет ему свой в портсигар вставил, вроде, как на память: коли будет Зайчик папиросами угощать, так он из его портсигара всегда длинный, длинный нос высунет: больно уж длиннонос он видно был от природы, кажется, окромя носу, ничего у этого Зайчикова приятеля и не было. Иван Палыч, как увидал у Зайчика Зайчикова приятеля в портсигаре, так я помню, даже поближе показать попросил, долго разглядывал и, наконец, произнес:

— Я бы, говорит, с таким носом непременно удавился!..

Ну, да Иван Палыч в таких тонких делах был совсем даже глупый человек. Одним словом, расхвалил Зайчика Зайчиков приятель в этой газетенке за мое почтение, а самое главное, даже как

бы богатырем, ероем выставил. Мне Зайчик показал тогда эту статейку, до половины и дочитать не дал, вырвал у меня ее да за пазуху:

— Ты, — говорит, — прочтешь, смеяться надо мной будешь...

Стало быть, что же это только творилось с Зайчиковым сердцем, когда эту самую газетку Палон Палоныч Зайчику из Питера привез.

— Вы, — сказал капитан и, в знак окончания всяких разговоров, взялся за картуз, — вы, г. зауряд, на каком хотите месте, но зарисуйте так, чтобы долго потом не забыть: все эти ваши стихахушки с сего числа вы будете представлять мне, и после моего одобрения уж я сам буду их направлять в дивизию, и только после разрешения... ну, я думаю понятно... Всех!..

* * *

Зайчик как столб стоял и, кажется, мало что понимал из того, что ему поет Палон Палоныч. Иван Палыч так кочергой и застыл, только, кажется, глаза совсем вылезли и повисли над встопорившимися кверху усами, как два мыльных, мутно-зеленых пузыря...

— В трехдневный срок, — кричит ему Палон Палоныч, уже стоя в дверях на выход, — в трехдневный срок... в письменном виде... подать записку и все распаляции и распекации изобразить в наилучшем виде-с!..

— Капитан, капитан, — закричал вдруг не своим голосом Зайчик, — капитан! Я не буду, я не могу!.. Это даже и не я совсем...

Но Палон Палоныча в блиндаже уже не было, и Зайчик смутно разглядел мыльные пузыри в углу, хотел шагнуть в угол, но зашатался и, как сноп, повалился на пол... Зайчик лежал ничком и тихонько всхлипывал. К нему подошел Иван Палыч, хотел, должно быть, нагнуться и сказать что-то ему, но потом вдруг сжал кулаки и махнул ими в воздухе над плачущим Зайчиком...

— Эх, ты: я — не я и лошадь не моя! Тюря! А, да ну вас всех к растакой твоей баушке...

Махнул еще раз и опрометью из блиндажа бросился вон...

ПРОБА НОВОЙ БАТАРЕИ

...Памятен мне этот вечер, — последний вечер у очень многих из нас, когда Иван Палыч, вытирая словно срезанный кверху лоб шинельной полой на ходу, перед сумерками показался в дверях блиндажа с приказом в руках. Приказ этот все мы с нетерпением ждали, чтобы поскорее узнать, кому в эту очередь в побывку ехать. Но двенадцатую в этот раз обошли, потому что писарям ничего не дали, и только в самом конце приказа, по описке что ли, стояло:

...Прапорщика Зайчика с сего числа исключить с ротного котла и полагать во временном отпуске.

— Да, — сказал Иван Палыч, свертывая приказ, — пожалели коровью ляжку, а волк всю корову в растяжку!..

— Ничего, Иван Палыч, — засмеялся Пенкин, — мы теперь на имянины Пек Пекычу на этой точке (писарь у нас такой в полку был) дерьма в конверте пошлем по почте.

Но не до смеху всем было, никто Пенкину и не улыбнулся, а Иван Палыч собрался и, несмотря на устаток—к Зайчику.

Только он из блиндажа вылез, а Зайчик как раз тут, у двери:

— Я, Иван Палыч, — говорит,—пришел вас проведать.

— Назначение в побывку имеете, ваш бродь, — подал Иван Палыч ему приказной лист, — так что имею честь поздравить и пожелать вам дорожки на обе ножки...

— Значит, едем, едем, Иван Палыч, — схватил Зайчик Иван Палыча за руку.

— Кто едет, ваш бродь, — говорит печально Иван Палыч,— а кто на тарантасе колесами кверху сидит...

— Так, значит, и впрямь надо было складчину устроить да писарю дать.

— То-то и оно-то: кабы знал, отчего лысина у Федота, так и плешивым бы не называл.

— Ах, Иван Палыч, дружище ты мой, как же это такое програчили?

— Ладно, ваш-бродь, где наше не пропадало. Вы вот письма-то наши доставьте, не забудьте...

— Ладно, ладно, — спешит Зайчик, засовывая за обшлаг, — прощайте, Иван Палыч.

— Куда теперь спешить, ваш-бродь, вот смеркнется совсем, тогда впрямки можно, а то ходами-то, почитай, втрое будет!

— Э, Иван Палыч, немцы, поди, спать ложатся! Прощайте!

Зашел Миколай Митрич к нам в блиндаж, пожелал всем остаться целым, и только его мы и видели: выбежал от нас и впрямки через поле, которое, как ладонь, черную, мужицкую, с редкими мозолями бугорков, протянул наш заливной, отлогий берег Двины под самые глаза немцам.

Иван Палыч хорошо знал, какой храбрец Зайчик. Бывало обходят это они с ним окопы, посты на ночь поверяют, Иван Палыч всю дорогу все себе в козлиную бороду смеется: только где пуля поверх бруствера цокнет, Зайчик за фуражку, оглянется виновато на фельдфебеля, будто этим взглядом сказать ему хочет: пуля-то, де, не телега — зацепит, так не отцепишь. Ты про меня там, что хочешь, насчет геройства думай, а цела фуражка, ну и слава богу.

А тут: на вот! К тому же Иван Палыч и сам был не из храбрых. Да зря и толочь языком нечего, есть ли они, храбрые, кто смерти не боится? Разве, вот, только мертвяку не страшно. А чтобы живой

человек, да смерти этой не пугался — так этому совсем и поверить трудно.

Глядит Иван Палыч и дивуется, как это Зайчик решился?

— Это оттого, — сказал Пенкин, как бы сам с собой рассуждая, — когда зверь в свою берлогу идет, так у него глаза лучше видят и другого зверя он меньше боится.

Смотрим мы все вслед Зайчику, впереди на закате большая звезда, как материна слеза, повисла, на дальнем взгорье, где немцы сейчас шоколад свой за щеки убирают, заря раскрасная-красная лежит, словно сушится это после праздника красный Василисин сарафан, — так одной полой на ветру и полощет, а с другого боку синем-синё, большая туча грудью землю надавила, а из-за тучи розовый, словно из бани выскочил, большеротый месяц перегнулся к нам за окопный козырек, смотрит, одна губа, как у мерина старого, вниз свесилась, будто вот так сказать и хочет: эй, вы, там, шушера низкорослая, не видите, что беда на туче в гости к вам едет.

Едва Зайчик с сотню шагов отошел, как из-за Двины бухнуло — немцы совсем за плечами у нас новую батарею, должно, к этому времени сварганили и на Зайчике попробовать бой ее захотели. Палон Палонычу доложили, он, известно, пьяный валялся и Сенькины лясы, чтобы заснуть лучше, слушал...

Бежит Миколай Митрич по полю, полы у шинельки подобрал в руки, фуражку под мышку, чтобы

на бегу не потерять, к земле весь так и пригнулся в три дуги,—словно тарантасное колесо по полю в сумерках катится,—а вверху, слышим, ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж, и видно по этому жужуканью, что прямо этот шмель Зайчику на голову сесть хочет. Вдруг видим впереди Зайчика землю так и взмыло. Зайчик в ямку. А с батареи опять: бух! ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж...

И опять земля впереди кверху.

Глядим Зайчик цел, комышком опять в новую ямку катится. Палон Палоныч стоит и от смеха так весь из-под бороды и фукает, как опара в квашне под черной дерюгой:

— Ерой-то наш, ребята?.. А?..

И сам фук-пых-фук-пых на всех.

Иван Палыч поддакивал да улыбался Палон Палонычу сначала, а потом поглядел опять на Зайчика, который в это время в новую ямку впереди себя ткнулся, так и под'елдакивать перестал: как-ни-как, а человек, да еще с письмами Иван Палыча за обшлагом под смертью находился...

* * *

Так, почитай, до самой сутеми немцы по Зайчику и продули, вдруг, как затемнит сразу, и не только Зайчика не стало видно, а такая сразу чернота на землю пошла, как копоть: видно, недаром меринову губу месяц из-за тучи показывал. Добрался ли Зайчик до штаба в этот вечер или его все же

так и зажалил немецкий шмель в ямке, — никто у нас в тот вечер не мог догадаться. Спустя же, потому что уж не до Зайчика самим в эту ночь и следующее утро всем было, при первой получке приказа узнали, что Зайчик в штаб не заходил, рапорта об от'езде в отпуск не подавал и вообще пропал без вести, ибо на месте обстрела Зайчика немцами даже и лоскутинки от Зайчиковых брюк не нашли. Да и кому в нашем быту была тогда большая охота искать?!.

НОЧНОЙ КОМАНДИР

Повалила ворохами темень на землю.

В такую темь в деревнях, бывало, тревожно коровы мычат, задравши на спину рога, и, как оголтелые, путая ворота, мечутся в выгоне овцы,— скотина чует черный час лучше, чем человек.

Только на этот раз и у нас у всех захолонуло в сердце—уж очень сразу стало темно.

Месяц с отвисшей губой, как у старого мерина, нырнул куда-то в черную прорву, и за ним не осталось даже следка, ни бисеринной звездочки с кики, ни красной тесемки от Василисиной сарафанной зари: навалилась туча под вечер на землю, как бурый медведь на охотника в темном лесу.

Забрались и мы в свои блиндажи.

Иван Палыч, когда уходил поверять постовых,

долго крестился на угол, где висела у Прохора Пенкина грудная иконка, круглая, как коровья слеза, и наша ротная икона над нею, образ Федора Стратилата, вонзившего в землю огненный меч.

Хотел он было сначала с собой Прохора для повадки позвать, да потом взглянул на оконную дырку, которую словно кто заслонил с улицы черной ладонью, подумал, подумал, в башке почесал, махнул рукой и сказал:

— Ин ладно, управлюсь один. Прохор, коли что, за меня.

Пенкин мотнул ему головой, на дырку тоже взглянул и в сокрушенном раздумье промолвил:

— Темно, как в солдатской душе!

— У ведьмы под юбкой светлее,—подтырил ему Иван Палыч.

— То-то и оно-то! Ты, Иван Палыч, наш ночной командир, ну, значит, забота по чину!

Иван Палыч поглядел на него, как лошадь смотрит в запряжке через оглоблю, куда бы ловчее пятой садануть, потом на дырку опять поглядел и ни слова ему не ответил.

Вышел Иван Палыч, прикрыл за собой блиндажную дверку и руку вперед протянул, чтоб не задеть за что кадыком. Начал он вспоминать каждый колышек, каждый уголышек на знакомом, каждонощном пути и все же скоро стукнулся лбом обо что-то, отчего искры полетели из глаз, и глаза запорошило мелким песком.

— Ишь, ты, нечистая сила, какая темень стоит!

Протер Иван Палыч глаза рукавом, послюнил корябдые пальцы, а слеза из глаз так и бьет: обидно Иван Палычу и досадно.

— Не поверить, значит, не спать! Постовые первое дело!

Плюнул Иван Палыч в окопное дно на кладинку и думает сам про себя:

— Посижу здесь немного и доложу, что поверил: все равно у трубки Сенька будет стоять и под'еферивать басом, будто и вправду это не Сенька, а сам командир.

Набил Иван Палыч трубку покрепче и высек огниво: поплыл светлячком в глазах огонек, а дыма от трубки и трубки во рту не видать, ровно и нету.

Ощупал Иван Палыч себя, вроде как цел, а где брюхо, где сапоги, и об какой это торчок, — уж не о чортовы же рогули Иван Палыч наткнулся — разглядеть невозможно:

— Чорту здесь нечего делать...

Курит Иван Палыч трубку, чтобы спать не хотелось, да не было скучно, когда в голове словно в брошенном доме: один только сор на полу да в углах паутина, — чтоб не было скучно, думает о разных ротных делах.

— Зайчик верно... того... жалко... а, может, и увернулся—парень шароваристый!

Жалко, коли что, Иван Палычу писем. Не дойдут куда надо, будут бабы зря сумлеваться, наду-

мывать разную всячину, да попу раньше срока деньги за панихиду носить.

— Авось уцелел? А не уцелел, так туда и дорога!

Иван Палыч пыхнул, закашлялся было да вспомнил, что он не в окопе на кладинке сидит, по турецки подправивши ноги, а поверяет посты, зажал рот бородой, чтоб кто-нибудь его не услышал, и кой-как в нее продохтился.

Что в это время по небу несло, Иван Палычу и взглянуть было страшно... Висело оно черное, низкое, лохматое, как овчинный тулуп на изнанку, и буйный ветер метался в его черных лохмах, и казалось, саму землю хотел заворотить, как подол... Неприютно ныло у Иван Палыча сердце...

— Как был жулик, — для отвода глаз подумал Иван Палыч про Сеньку,—так и остался.

Недавно Сенька от Палона крест получил. Удивительно это было для нас, словно чудо. А Сенька сам с нами над этим смеялся, говорил, что дураков больше нет, да и быть на войне не должно бы.

Сенька нам об'яснил эту историю так:

Напился как-то Палон Палоныч с полудня. К вечеру заговариваться стал и замолол такое, что и Сеньке даже понять невозможно. Потом взял будто командир помело, Сеньку в углу по швам растянул и стал ему внушать артикулы. Сенька командует, Палон исполняет, а как собьется с команды иль Сенька нарочно скажет:—Не так, ваш-высок!—так по хайлу помелом.

— К но-о-гип!—Сенька орет, а Палон на плечо.

— На пле-е-чо!

А Палон Палоныч по роже.

Мучились, мучились так оба они, потом их-высок и спрашивает Сеньку:

— Сенька, ты как понимаешь: герой твой командир али нет?

— Так тошно, ваш-высок,—Сенька ему отвечает.

— А, тебе тошно? Тошно? Тошно стало, сукин сын!.. Значит по твоему: нет?

— Никак нет, ваш-высок?

— Ага-га! Никак нет?!.

Никак не подладится, выбился Сенька из сил: нужно б сказать никак нет, а выходит так точно.

— Ну, брат, я тебе покажу, какой это такой никак не-ет!

— Так тошно, ваш-высок!

Совсем спутался Сенька, должно быть, тоже от мухи.

— Исполняй приказанье,— кричит командир,— спать укладай, сам спать ложись, а к утру вынь да подай мне десять аршин немецкой колючки: поглядим, как ты сам есть герой?

— Слушаю, ваш-высок!—выпучил Сенька глаза.

— А не достанешь,—кричит их-высок,—обе ноги в рот запихаю!

— Слушаю, ваш-высок.

Снял Сенька с их-высок брюки, стянул сапоги и в походную кровать повалил, как борова на

опалку. Захрапел Палон Палоныч в обе ноздри, а сам в сонной руке крепко держит бутылку, побоялся на столе на ночь оставить, как бы не вылакал Сенька.

— Вы, ваш-высок, пробочкой, а то подумаете опять на меня...

Прильнул Сенька к горлышку; командир ничего:

— Не пропадать же добру,—Сенька ему говорит и пробку в горлышко сунул.

Сел Сенька о-за-край командирской кровати и задумался о солдатской судьбе. Хватануть нешто ему тоже метлом? Теперь на нем до утра молоти— не проснется.

— Ишь, што с пьяна придумал.

Хорошо знает Сенька, что Палон пошутил, да Сеньке теперь не до шуток: хочется ему командира в дураки усадить!..

* * *

Утром проснулся Палон; глядит: Сеньку митькапрял. Нет Сеньки.

Сапоги стоят нечищенные, а на брюках лежит помело. В руке, смотрит, бутылка, в горлышке пробка, а в бутылке нет ничего.

— Сенька,—кричит их-высок.

— А я,—рассказывал Сенька, хитро прищуривши глаз,—с колючкой, десять аршин, отбил камнем с намотки, за дверью стою, дверь припер сапогом и

сам хоть бы хны. Подошел их-высок, хвось в дверь пустою бутылкой:

— Сенька! Мошенник!—кричит,—отпирай!

Как бы не так, посиди, Сенька портки выжимает от двинской воды. Промучил так я его часа два, инда жалко уж стало... Слышу в трубку дудит,— догадался, я в блиндаж, их-высок ко мне с кулаками, а я ему проволоку тычу под нос.

— Приказание ваше исполнил, ваш-высок.

— Что ты, смеешься, кобель?

— Никак нет,—говорю,—выш-высок приказали.

— Да ты, дурень, принял нешто в сурьез?

— Так тошно,—говорю,—видите мокрый...

Ну и начал я ему Петра Кирилова заправлять, какие у немцев окопы на том берегу, да как вода холодна в этой Двине, да как страшно к немцам ходить, хотя у них в окопах один человек на две версты. В полухмеле поверил.

— Ну, ладно,—говорит их-высок,—другой раз в зубы получишь, а сейчас приставлю за храбрость к кресту, ставь заливуху,—вспрыснем награду!

— Теперь, брат ты мой,— всегда прибавлял Сенька, тыкая в беленький крестик,—меня только царь разжаловать может и то если с музыкой, а без музыки даже никак невозможно: потому кавалер!

— Жулик ты, Сенька, а не кавалер,—сказал тогда ему Иван Палыч.

— Иван Палыч, дураки чай пить пошли и нас с тобою позвали.

Иван Палыч взял Сенькин крест и себе приколол.

— Идет,— Сенька ему говорит,— как цепочка купцу...

Намекнул было Иван Палыч Палону на счет того, что Сенька крест получил незаконно, да Палон так на него поглядел, что Ивану Палычу вспомнить чудно, и сейчас он хорошо не знает, что это Сенька все врал, аль и вправду он за Двину за немецкой колючкой полночью плавал?

— Сенька хоть жулик, а все же не трус!—задал себе Иван Палыч задачу.

Должно до полночи так промечтал Иван Палыч и забыл совсем, что сидит на кладинке в окопе. Вскочил он только, когда в стороне вдруг словно скрестились две огненных пики, словно это наехал казак на мадьяра и пики у них на скаку перевились концами, а над головой разорвалась большая граната. Ветер так и хлестнул под затылок. Фуражка с головы сорвалась и полетела кверху, в темную муть, ворот сам у шинели поднялся, как шерсть на спине у собаки, и Иван Палыча кубарем покатило к блиндажу. Насилу дверь в него отворил, ветер так и свистит, так и крутит и хлопает громко шинельной полой и задирает ее, как юбку у бабы. Еле вошел в блиндаж Иван Палыч.

— Тебе, Иван Палыч, Сенька два раза звонил,— говорит ему Прохор, выставя бороду из-под шинели,—просил передать, что у него никаких происшествиев нет.

— Жулик,—Иван Палыч сказал. Лег рядом с Пенкиным и тяжело, словно лошадь, вздохнул:

— Спокойного сна Прохор Акимыч!

— Спокойного сна, Иван Палыч!

По блиндажу, слышно сквозь земляной трехаршинный настил, забарабанил град-барабанщик в тугой барабан, засвистал в отдушину ветер, и на оконной дырке на стеклах в зеленом отсвете зарницы, распластавшей крылья в полнеба, повисли дождинки, как слезы на мутных, безумных глазах.

РОГАЧ

Долго не мог Иван Палыч заснуть. Мельтешатся в голове какие-то крючки да заковырки, о чем и голову то трудить бы не стоило, потому что сам Иван Палыч не в силах понять их и разрешить. Вертится с боку-на-бок Иван Палыч, а не может заснуть.

— Перед бедой что ли,—думает Иван Палыч и на оконную дырку глядит: полыхает в дырке зеленый петух и бьется зеленым крылом и, разгребая песок возле окна, песчинками стучит в стекла, и по мутному стеклу стекают дождинки и светятся призрачным светом. Солдаты поленницей лежат на нарах рядами, серые шинели на них, как валуны под дорожною пылью, только в изголовьях из-под воротов выпячены бороды, и бороды словно тихий ветер колышет и перебирает руками, заострились, как у мертвецов, кверху носы, а в ногах торчат грязные, вымазанные желтою глиной сапоги,—по блиндажу

идет задушенный тяжкий храп, и с храпом мешается булькающий свист из ноздрей.

— Один только я не сплю,—думает Иван Палыч,—будто мне надо больше другого. Вот чортова служба... Теперь, уткнувшись в бабу, спал да спал бы на печке.

Рядом с Иван Палычем—Пенкин, лежит, словно связанный, не всхрапнет, не перевалится с боку-на-бок, только изредка с его стороны из-под шинели слышится глубоко задержанный вздох.

— Прохор Акимыч,—тихо спрашивает Иван Палыч,—Прохор Акимыч, не спишь?

— Сплю, Иван Палыч, сплю и тебе того же желаю.

— А мне что-то не спится. Лезет в голову разная фальшь, никак не могу отвертеться.

— Сходи, помочись, небось чаю надулся.

— Нет, я на ночь пью осторожно. Как ты думаешь, Прохор Акимыч,—скоро?

— Что, скоро?

— Скоро Бог о нас вспомнит, сукиных детях?

— Вон ты о чем, Иван Палыч... Об этом солдату думать не надо: можешь мозги сшевельнуть!

— Уж больно, братец ты мой, надоело.

Иван Палыч сплюнул, не подымаясь, через шинель, губы отер бородой и к Прохору опять повернулся.

— Ты, Прохор Акимыч, вот что скажи, ты в писаньи гораздый: там что, об этом нет ничего?

— Спроси вон у Тихона: он с библией спит.

— Что Тихон: дня по три в книгу смотрит, а видит в книге одни фиги-миги. Ты бы вот, Прохор Акимыч, что мне сказал!

— Про писание?..

— Да!

— Человек за писанием стоит кверх ногами.

— То-есть, как это, Прохор Акимыч?

— Понимать надо, значит, под титлом.

— Под титулом?

— Да, наоборот!

— А ты, Прохор Акимыч, сам как смекаешь?

— Я, Иван Палыч, понимаю все пополам: одна часть мне, часть благая, а другая—рогатому чорту.

— А ведь есть чорт, Прохор Акимыч?

— Существует!

— Откуда только он взялся, ведь Бог его не творил?..

— Чорт сам завелся!

— Должно, Прохор Акимыч, это он и выдумал всю эту штуку?..

— На войне дурь из народа выходит, как дым из трубы.

— Выйдет! Хошь бы я, что мне—надо больше другого?

— Ты, Иван Палыч, начальство,—не в счет! У тебя эна нашивка одна чего стоит.

— Язвило ты, Прохор, с тобой и поговорить, как с человеком, нельзя: на одном слове стушуешь!

— Ты сам, Иван Палыч, кадыком любого проткнешь!

— Дался тебе мой кадык! Но коли так: ты, Прохор—на дверь, а я—на окошко.

— Пятки вместе, ножки врозь!

— Не задевай, когда говорят с тобой, как с человеком.

— Я сплю, Иван Палыч, сплю, и тебе того же желаю.

— Па-ошел!..

От обиды даже привстал Иван Палыч. Нащупал трубку под головами и долго прилаживал, хмурясь в Прохоров бок, кремень и огниво, потом высек сердито, положил жгут на махорку, запыхал и через трубку на пол глядит. Трубка ли то запыхала, оттого, что шибко тянул в нее Иван Палыч, полыхом ли то полыхало в оконную дырку, отдаваясь по всем углам блиндажа и освещая на миг спящих солдат не живым призрачным светом,—только показалось Иван Палычу, что посреди блиндажа будто ходит сама, низко над земляным полом, его, защитного цвета, фуражка и мигает ему кокардой, словно глазком.

— Что за шут,—сперва подумал про себя Иван Палыч.

Фуражку Иван Палыч всегда клал в ноги под нары, а сапоги не скидал почти никогда, а если и скинет, так непременно в изголовье положит, чтобы, в случае тревоги, не перепутать с чужими. Глядит

Иван Палыч пристально, трубку изо рта уронил на колени:—фуражка так вот и кружит вьюном, а рядом с фуражкой тоже кружат два сапога, друг на дружке у них голенища, а из голенищ портянки торчат, как заячьи уши.

— Сапоги вроде как Прохора, у него лишняя пара, а фуражка моя,—опять думает Иван Палыч,— глаза—как лупленые яйца, руки, как у вора, на голове жидкие волосенки на лысине кто-то перебирает холодной рукой.

— Прохор Акимыч, а Прохор Акимыч?—шепчет Иван Палыч,—вставай: дело-то, братец, неладно!

— Что ты еще, полуночник?—из-под шинели сердитым шопотом спрашивает Прохор.

— И сам не пойму, что такое: по блиндажу ходят твои сапоги, а с ними моя, должно быть, фуражка!

— Чорту впору все уборы! Ложись, Иван Палыч, да спи.

— Брось, Пенкин, глянь, ради бога.

— Ну?

— Такого еще не бывало от роду!

Прохор тихонько привстал, полыхнул в оконце петух зеленым хвостом с синим отливом, и Прохор из-за ворота смотрит, куда Иван Палыч ему кажет рукою.

— Батюшки!—шепчет и Прохор.

— Видишь?

— Вижу!

— Чтобы это такое?

— Рогач!

В оконце опять полыхнуло с размаху; оба они, и Иван Палыч и Прохор, вдруг стукнули в лбы, Пенкин—двуперстием, Иван Палыч—щепотью, и друг дружке в глаза поглядели, а глаза у обоих, как монетки, когда ими ребята в орлянку играют.

— Видишь?—еще раз спросил Иван Палыч.

— Да, вижу.

У Прохора под подбородком борода шевелится, и в рыжих усах стукают зубы. Вдруг Пенкин схватил Иван Палыча за руку и не своим голосом закричал:

— Тонем, ребятушки, тонем!

Иван Палыч первый, от страху ли, от крику ль, с нар соскочил и упал и впрямь в холодную воду ухнул, окатил брызгами нары и скоро тоже заорал что есть духу:

— Заливает, ребята, вставай!

Вскочили мужики, спросонок кто куда тычется, в глазах темно, в блиндаже темно, ничего не разберешь, кто куда лезет, кто прямо в воду, не зная еще хорошо, что случилось, откуда вода, коли тут был сколько времени твердый глинистый пол, кто, поджавши колени, завернулся в шинель с головой и выл под шинелью, как осенью волк на дороге. В беспорядочных криках и воплях, в цоканьи затворов винтовок и лязге штыков отчетливо слышался только голос Прохора Пенкина, который перебежал

уже, бултыхая в воде, к двери и с приступок громко кричит:

— Ребята, спасайся!

— За мной!—кричит рядом с ним Иван Палыч.

Прохор, Иван Палыч, Голубки, Каблуки, Морковята, Абысы и все, кто лежал по этому ряду на нарах, бросились к двери, а со ступенек вода так и журчит, и слышно, как за дверью бьется она немного повыше скобы. Отстегнул кой-как Иван Палыч крючок и дверку хотел оттолкнуть, а ее и не сдвинешь, словно кто с улицы плечом на нее навалился.

— Вода не дает,—кричит Иван Палыч,—ребята, дави на меня!

Собрались солдаты гужем, надавили, дверка чуть подалась сначала, потом расхлебястилась настежь, и в блиндаж, с недовольным говором, хлынула буйным потоком вода.

— Немного еще бы и крышка,—кричит Иван Палыч, с трудом вырываясь наружу, за ним, как привиденья, солдаты в мокрых шинелях, без фуражек, из голенищ при каждом движении струей выбивает вода.

— Теперь жители!—радостно говорит Пенкин, стряхая воду с шинели...

— Кум королю, одно слово!—подхватил Иван Палыч.

Выбрались мы, и сначала никак не поймешь, где река, где наши окопы, по лугу, где недавно Мико-

лай Митрич бежал, пена ходит барашком, на небе ни тучи, смотрят частые звезды, мигая словно в дремоте, должно быть, скоро будет светать, а вдали, теперь совсем на другой стороне, стоит большой бурый медведь с длинною шерстью, с которой искры так вот и сыпят. Стоит он, повернувши голову книзу, будто смотрит на нас, и держит в зубах с краю надломленный месяц, и месяц теперь уже не красный, а изжелта-белый: только попрежнему губа у него свесилась вниз, а глаза на окопы уперлись:

— Что, шушера, напилась двинской водички?

Иван Палыч посмотрел на него, показал на медведя Прохору Пенкину и, хватившись трубки с кисетом, погрозил медведю кулаком.

СРОЧНЫЙ ПРИКАЗ

К свету вспучило Двину. Как опару на новых дрожжах, вышибло из берегов. Вода еще с полночи, должно быть, подошла к самому основанию наших окопов. Должно быть, вздумала она разнимать нас с немцем, что, дескать, стоим друг против дружки, не шьем, не порем, только груди ей побережные солдатскими сапогами топчем,—вздумала видно по хорошему разнять, подальше от берега прогнать, да и запрудила наши окопы и многих скрыла с головкой. Случиться это

могло гораздо и раньше. За последние дни у нас, как придут постовые, был не раз разговор, что вода стала в реке подыматься, мутнеть, видно в верховьях прошли большие дожди. Да после и о том мы узнали, что у нас недели уже три лежала бумага с тремя сургучами из дивизионного штаба, которую сунул, было, как рассказывали тишком писаря, полковой ад'ютант, тихий, смирный, воды не прольет, до всего наплевать, штабс-капитан Гусев нашему полковому, да тот не с этой ноги в это утро поднялся, распылил штабс-капитана, что он всегда лезет к нему с пустяками, и не только вовремя не распорядился, а даже и внимания обратить не изволил:

— Нахлестались, небось, коньяку, ну и кажется с пьяна, что тонут.

— Слушаю, г. полковник, — скрепил штабс-капитан Гусев и бумажку в архив.

Исполнение же бумажки шло своим чередом. Нам самим хоть и приходило не раз в голову, что окопы может залить, однако, заботы мало об этом, все равно смерть локтем почитай каждый день задеет: пойдешь за нуждой, а от скуки и лишний раз сбегаешь к елкам, засидишься, обрадовавшись тому, что один, а тут тебя шальная пуля и причешет над самым дерьмом. Да и не смотрел бы совсем на эту проклятую реку. Кажется, уж и время мы потеряли, и по колено в землю вросли, и как живут добрые люди — забыли. Только и

смотришь, коли Иван Палыч в черед поставит на наблюдательном, ну, да и тут, если не будешь смотреть, так могут, пожалуй, немцы насыпать!

Как бы то ни было, а к свету от ливня Двина надулась, как сердитая баба на глупого мужа, по воде закружилась пышная белая пена, — поглядеть: вода бурлит за окопом, проволочныя заграждения в воду ушли, только и видно верхнюю нитку, да и та по середине по воде чертит колючкой и часто-часто дрожит, словно тоже чего-то боится...

Изредка, у самой воды стояли кусты, ивняк да какие-то лозняки, каких в наших местах не увидишь, а теперь вода им по брюхо, а у иных над водой одни только макушки, на которых набита белая пена, как шапка. В окопных ходах поднялись кладинки на четверть, а где и на пол-аршина.

— Только верши бы ставить, да рыбу ловить,— говорили друг дружке солдаты.

Ранним утром, когда месяц совсем побелел, а туча медвежьей тушей свалилась за немцев, в небе стало синё и прозрачно и как-то не по всегдашнему празднично-тихо. Хорошо было посмотреть на Двину: любит мужик разглядеться на шуструю воду, а тут хоть и из воды на воду мы любовались, да было после ночи как-то ничего уж не страшно. Иван Палыч, как кругом поглядел, так кадыком и заекал:

— Словно на пасхе!

— Теперь бы к бабам да яйца катать, — поддакнул Пенкин.

Тихон Наумыч поглядел на них на обоих, головой покачал и отвернулся. Хотел Иван Палыч спросить у него, забыл он из-под изголовья библию взять или нет, да кругом поглядел, послушал, как бурлят двинские воды, и раздумал.

— Вот что, ребята,—деловито сказал Иван Палыч,—давайте разделимтесь на пополам, одна половина—сюда, другая—направо. Надо снять постовиков, проверить все блиндажи и сосчитать, сколько утопло нашего брата. Пенкин или Голубков,—выбирайте людей.

Разделились мы пополам, Пенкин повел свою партию вправо, где вода залила луг в затылке окопа и журила в иных местах чуть не через. Мало думали все, кто, как и кого может спасти, если там не спаслись еще так же случайно, как мы.

— Как-то теперь их-высоко? — сказал Иван Палыч.

— У них, господин фельдфебель, наверно еще не залило.

— А если залило, кто будет отвечать? Скажет тогда их-высоко: распро-сукин ты сын, а не фельдфебель.

— Ну, если утоп, то не скажет.

Иван Палыч поглядел исподлобья на старшего Каблука, собрал на лбу морщинки гармошкой и про себя усмехнулся, но ничего не сказал, а только подумал:

— Ведь и в самделе? Вот было бы ладно!

Мы, да и Иван Палыч, не очень спешили, да и спешить было бы трудно, то и дело сорвется с кладинки нога, зацепит холодную воду за голенище, а под сердцем так и помертвеет, когда из-за окопного козырька шибанут пенным брызгом кипучие двинские сусла.

— Ишь, как ей рожу-то всю разнесло,—говорит Иван Палыч, косясь на Двину,—к вечеру не пришлось бы совсем выбираться.

— Устынет!

— Вот только немец не стал бы палить...

— Не тронет! Нешто водой окатит!

В это время донесся до нас истошный задушенный крик; кто это кричал, и с какой стороны шел этот крик, сначала было понять невозможно. Все мы остановились на месте, руки козырём к ушам приложили и слушаем:

— А ведь это, братцы мои, Сенька орет,— прошептал Иван Палыч, кадык у него посинел, нос заострился, и белковина из глаз словно вывалилась в бессонницу из припухлых век.

— Надо спешить.

— Чего спешить, господин фельдфебель, орет, как под ножем, значит жив. Теперь хорошо завернуть бы!

Иван Палыч строго на нас поглядел, и мы зашлепали дальше. Скоро, за небольшим поворотом, где возле окопа стояли чахлые обдерганные пулями и осколками от разрывов кусты, словно нищие или

слепцы присели на корточки около окопов и испуганно заглядывают в них: куды же нам, людям слепеньким, дальше иттить!—скоро увидели мы нашего каптера, сидящего с козьей ножкой во рту на большой куче сапог, а из-под сапог винтом журила вода и гнала вниз по канавке разную мелочь: доносные книжки, листы, с поименованием на довольство, списки на выдачи, лопаты и сумки.

— Каптер,—кричит ему Иван Палыч,—как, дружище, дела?

— Заливает!

— Ну, и чорт с ним... Давай-ка нам сапоги, а старые запиши себе в поминанье.

Каптер, увидя нас, приложил к козырьку козью ножку, а другой рукой протянул кисет и список на желтой бумаге в раскурку:

— Слава богу, все дома!

— Как Тимонин?—спрашивает Иван Палыч, заглядывая в цейхаузный блиндаж, куда тонкая струйка изогнула черную спинку и словно поет про себя, сбегая по досчатым ступенькам.

— Ну, Иван Палыч, чуть с ума не сошел: сапоги-то только вечерась доставил.

— Да провались ты в кобылью дыру с сапогами! Как, что там выше?

— Пробегал: ничегось!

— Постовые стоят во второй наблюдалке?

— Ни мышки, ни мушки не встретил!!

Иван Палыч на нас посмотрел, мы ничего не сказали, наше дело с горошину.

— Много воды?

— Да, воды-то хватает!

— Проходил мимо Сеньки?

— Вот те хрест, бежал словно лось по болоту: мне и ночь-то все снились одни сапоги!

— Да пропади они прахом! Надо бы тронуть! Ну, поднимайся, табашная рота!

— Погоди, погоди, Иван Палыч, вы покурили и нам бы не плохо!

Обернулись мы, а это Прохор из-за угла выходит, бледный, как смерть, и на бледности этой еще рыжей горит борода, а в бороде на губах повисла кривулей усмешка, и сама борода от холоду немного трясется. Иван Палыч нахмурился, оглядел Прохора, сколь у него мокры шинельные полы и не обманул ли его Прохор, только постояв за углом блиндажа...

— Как, Поохор Акимыч, квасы?

Прохор махнул только рукой...

— Прошли шагов возле триста, а дальше плыви!

— А люди?

— Ни душинки!

— До Зайцева блиндажа не доходили?

— Бесперечь не дошли: видели только на крышу ему насадило песку да каряг нанесло, словно на крыше у него возятся черти.

— Ну, значит, тут крышка!?

— Могила, если, как мы, не вубегли!

— Во-время, значит, наш Заяц в отпуск поехал!

— Где найдешь, где потеряешь: так всегда!

— Надоть теперь-б к их-высоко иттить!?

— Дай хоть покурить, Иван Палыч: все равно спеши не спеши, медаль на ляжку теперь не повесят!

— Ну, нет уж, брат Пенкин, в дороге покуришь... Рябята, забирай сапоги...

Но не прошли мы и полтораста шагов, как опять все остановились, невольно улыбнувшись друг другу: неподалеку от нас впереди, очевидно, шел, не торопясь, Сенька, надо быть, в очень счастливом расположении духа, ибо не громко, но вдосталь внятно доносилась до нас ухарски закрученная песенка:

По такой-сякой погодке
Не пройти мне без калош,
Коль за пазухой на лодке
С парусами едет вошь.

Едут вошки, едут блошки,
Свеся ножки из воды,
Жалко нетути гармошки
Растуды-вашу-туды.

— Сенька...—Иван Палыч протянул руку в ту сторону окопов,—веселый малый Сенька!..

— Золото парень, —говорит Пенкин,—ничем его не проберешь!

— Да уж!—многозначительно собрал гармошку Иван Палыч и опять протянул руку:

По такой-сякой погодке
Я пройду и без калош,
В околодке нету водки,
Да воды за-то сколь хошь!

Еслиб водочки немножко
И поменьше бы воды...
Жалко нетути гармошки
Растуды-вашу-туды!

— Вот дьявол...

— Рубаха парень...

— Значит командир жив?

— Да куда он заденется?..

— Семен Семеныч!—крикнул Иван Палыч, привставши на цыпочки.

— Эй, кто там, здорово живете!?

— Катись, Сенька, сюда скорей, катись,—кричим и мы тоже.

— А это вы?—весело говорит Сенька, появляясь неторопливо на повороте,—мокрая рота!

— Сенька, жив командир?—строго спрашивает Иван Палыч.

— Не дивись коль скачут блохи,
Значит, водки напились,—
Коли нет попа Ермохи,
Значит, богу помолись!—

...в полном здравии, господин фельдфебель.

— Ну, слава богу!

— Известно!..

— Залило?

— Как полагается!

Смотрим мы на Сеньку, и самим нам веселее, как будто и беда случилась за неумелую шутку...

— Пьян Сенька, — думает каждый, — иль нет... его не поймешь... у него зады и переды—все вместе...

— Н-но?—недоверчиво говорит Иван Палыч.

— Известно... Выбег я—эна—гляжу... река течет чуть-чуть не по крыше... Ну, думаю, если это у меня не от перепива, то надо будить их-высок... Будил, будил, устал будивши, как каторжный: не встает, да и только, ногой только все норовит под брюхо ударить... Чорт, думаю, с тобой! Вышел опять посмотреть, а вода-то все выше и выше... Вернулся, взял метло да по заду, по заду: еле отходил! Поднялся, да на меня:

— Ты, что,—говорит,—собачий сын, разум что ли потерял?

— Никак нет,—говорю,—тонем! Вот и пакет с вечера лежит, будить вас не хотел.

Посмотрел бумагу их высок, схватил метло, да по мне, да по мне, возил-возил, и коже, и роже попало, потом устал, должно быть, и говорит:

— Ты что же, сукин сын, не разбудил?

— Да, разве,—говорю,—ваше-высоко можно тревожить?

Схватился он, братцы мои, за голову, плачет, в грудь бьет:

— Беги скорей к фельдфебелю... Гумагу кажи...

— Что за бумага, Сенька?—перебил его Иван Палыч,—подавай!

Сенька подал из-за пазухи синий пакет, Иван Палыч ноги расставил, на лбу гармошку развел и нараспев прочитал:

...Командиру двенадцатой роты. С получением сего приказываю вам в виду наводнения принять срочные меры и в случае надобности покинуть в порядке окопы и отступить...

Иван Палыч глупо оглянул нас всех и ни слова не молвил...

— Вспомнили, сукины дети!—прошептал мне на ухо Пенкин.

— Трогай, братцы, тогда по резервам,—нерешительно сказал Иван Палыч.

— Что теперь только будет? Один раз не поверил, да не доложился, и вышла такая история,— про себя Иван Палыч подумал.

Иван Палыч хмуро пошел впереди, а мы за ним гусем...

В это время, кажется, совсем рядом, там, где кончаются окопы нашей двенадцатой роты, взошло веселое осеннее сольце и обдало красным искристым светом наши помертвевшие лица, забросало золотом мутную воду у ног и кладинки, а на окопный загиб вдалеке надела мученический красно-терновый

венец, и из-под этого венца подняли коряги на Зайчиковом блиндаже кверху рогули, а вода под ними по верху, как подернута кровью. В это же время бухнуло с нашей батареи, и по середине Двины взметнулся скоро насквозь пронизанный солнцем столб из воды, как будто это встал из Двины водяной, вытянул длинную шею, посмотрел кругом водяными глазами и скоро, пустивши по речке пузыри, плюхнул назад в мутную воду.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

В ЦАРСТВЕ СИНЕЙ ЛАМПАДЫ

ПЕТР ЕРЕМЕИЧ

Смерть!

Нужна она, желанна она в свой час, и нет больше муки, если смерть в свой срок долго нейдет к человеку, уже сложившему в переднем углу на груди руки.

Тогда человечье сердце томится и тоскует по ней, как некогда оно томилось и тосковало, поджидая, когда черемушной веткой в окошко постучится любовь

Хорошо умереть, коли в головах у тебя и в ногах теплятся тихо путеводные свечи, а у дома, плечом прислонившись к крыльцу, терпеливо дожидается сосновая крышка!

Тогда смерть похожа больше на заботливую, самую младшую внуку, которая закрывает деду нежной ручкой сгоревшие веки, тогда умереть можно с улыбкой, с хорошим неискаженным лицом...

Как умирают все мужики, вернувшись с пашни или сенокоса!

Но ничего нет смерти страшнее, и как не ужаснуться, не облиться холодом и трепетом с кончика волосинки и до мизинца, когда над тобой беззащитным, жалким, несмотря ни на какую силищу, кажется, с самого неба занесен нещадный чугунный колун, под которым сама земля дрожит и расступается, разлетаясь пылью и прахом, тогда... ничего нет смерти страшнее, тогда если и струсишь—будет не стыдно, потому... есть ли они на самом-то деле, эти герои?!..

Или выдумали их генералы?!..

Вернее, что так!

* * *

Когда немцы прекратили стрельбу, Зайчик встал и отряхнулся.

Земля даже за ворот набилась, сползая щекоткой по телу, и пробкой сидела в носу,—ничего и никого вокруг было не видно, то ли оттого, что сразу так затемнило из тучи, то ли потемнели глаза и их земля запорошила—ни нашего штаба, ни немецких окопов на том берегу Двины, похожих на тонкую бровку над хитрым глазком,—все, все пропало, прикрытое черной пеленой предгрозовой пустоты.

Зайчику самому было в диковину, что большого страху он на этот раз под немецкими ядрами не испытал и даже про себя теперь счастливо улы-

бался, сладко поеживаясь и косясь в немецкую сторону, где уже привычно для глаза то и дело с одного и того же места поднимался кверху зеленый петух—оглядит, окинет далеко зеленым глазом, лопнет, и посыпется в разные стороны отливный хвост, и видно издали, как падают в темноту топыристые перья, а из-под самых ног у Зайчика, словно из земли, выпрыгнут темные тени и... в перебежку!.. И свежие ямы от немецких разрывов, с лосной, еще необветренной землей по краям, поглядят на него, как большие пустые глаза человека, забытого смертью.

Стал Зайчик в этом призрачном, неживом свете оглядываться и вспоминать, как на штаб итти, где ему нужно было выправить отпускные бумаги, да, должно быть, немец все же с разума сбил.

Проплутал он сам не знает сколько времени по низовине, часто в непрогляди спотыкаясь и падая на торчки и то забирая куда-то в сторону, то опять подходя к самым нашим окопам.

Опамятовался Зайчик только, когда сразу чуть не по колено попал в холодную воду.

В это самое время с немецкой стороны пополам разрезало небо, разворотило на обе стороны, и из черной пазухи тучи на минуту повисла вниз золотая нитка, бабахнуло, и до самых немцев перед Зайчиком зачешуилась вода, с Двины понесся шум, как будто стояла не осень, а ударил первый весенний паводок, когда на больших реках ломается лед, из

земли рвутся ключи, и вода юлит отовсюду, суетится бесчисленными ручейками и спешит притоками рек омыть поскорее после зимней спячки земное лицо.

— Вода?.. Откуда тут вода?— схватился Зайчик за сердце.

До боли в глазах уставился он в темноту, и показалось ему, что вода крадется в темноте, догоняет его и вон там в стороне уже обегает его, забираясь в те самые ямки, по которым перебегал Зайчик во время обстрела.

Сорвался Зайчик и опрометью, наобум, бросился напрямик, натыкаясь на кусты и деревья, в одиночку стоявшие за нашими окопами, к штабу, должно быть, только чутьем, внушенным смертельным страхом перед новой погибелью, выбрался на большую тирульскую дорогу, по которой и попал в проливной, какого в жизни своей еще не видал, ливень все-таки куда надо—на станцию.

Никого не расспрашивая и уже не думая о бумагах, мокрый до последней нитки вскочил Зайчик в товарный вагон и еще затемно укатил с одним приказом в кармане и солдатскими письмами за обшлагом.

Странное состояние было в дороге у Зайчика.

Сразу, когда он повалился в кучу храпевших отпускников, его бросило в жар, даже пригрезилась отцовская баня и покойная бабка Авдотья, со всего размаху бившая его голиком по горящим лапостям, а проснулся и... как ни в чем: обсушился солдатским

теплом, и только в голове туманило и ныло в затылке.

Потом всю дорогу шутил с солдатнёй и делал все, как и надо быть человеку с мозгой и смекалкой, деньги, какие были, зря не бросал, сдачу проверял и хоть натыкался неловко на людей и смотрел на них мутными чудными глазами, а все же благополучно добрался до нашего уездного города Чагодуя, где и нанял Петра Разумеева, чертухинского троечника, у которого в ин-поры пятнадцать лошадей в Чагодуй ходило, а из Чагодуя куда только тебе надобно!

* * *

Вскочил Зайчик в кибитку, в кибитке сено набито в сиденье, покрытое дерюгой из цветистых тряпок, внутри коленкором или ситцем с набивными птицами бока и верх околочен, и на ноги застегнут кожаный фартук, чтоб седока не марали ошметки с дороги:

— Сиди, как за пазухой!

...И Зайчик сидит, заправивши руки в рукава, и в глазах у него, оттого ль, что попал к Петру Еремеичу в тройку, оттого ль, что перед глазами побежали родные места,—прочистилось, словно разошелся туман и так далеко-далеко просветлело.

В глазах замелькало село за селом, за деревней деревня, и вертится поле в глазах, как в нашем Чертухине в Ильин день карусель.

У карусели синяя, из синего атласа, крыша, по карнизам висят осенние быстрые тучки, как будто и впрямь размотано кружево с большого мотка и привешено низко над желтой жнивой, над лесом, лежащим вдали золотою каймой, над прозеленелым покосом,—над черной, с лосниной на солнце морщиной мужицкой кривой борозды... Крива борозда от мужицкого плуга, как крива и морщина на лбу с бисеринками пота—от думы, висящей, как птица за кормом, над этой кривой бороздой!..

Кое-где промелькнет вдали бугорок, покатый увал, едва заметный для глаза, как девичья грудь под рубашкой, а то—все равнина, равнина, равнина, а как поглядишь в эту равнинную ширь, и глаз не хватит, потому что конца ей не видно и нет.

Проезжал нашим полем когда-то большой богатырь по прозванью Буркан—сын мужичий, потерял он, должно быть, на Киев дорогу, а ехал из города Твери,—проезжал по нашему полю и в поисках верной дороги поднялся на стремя: хотел его край увидать, и не мог богатырь дотянуться до края глазами и полевую даль, Чертухино, наши покосы и поймы от всей души похвалил!

— Последний разок посмотрю, побываю, а там, может, закаюсь на век!

Луга покошены, нивы пожаты, и только кое-где, как диковину, увидишь средь сжатого поля кресты из снопов, стоят они солдатской шеренгой, расставивши ноги, и то ль их солдатка увезть не успела,

то ль с горя, что мужа забрили в последний набор, об них позабыла совсем... стоят они, поджидая хозяйку, и с краю полос возле них—недожатый клин, свалявшийся с ветру и прибитый дождем, как грива на лошади, на которой катался всю ночь домовой.

— Идет на урон сторона,—думает Зайчик, глядя на эти кресты и на полосные борозды с краю,—идет на урон... Луга-то, Петр Еремеич, убрали?—кинет Зайчик вопрос на под'еме—когда ямщик дает лошадям отдохнуть.

— В сарае! А сено нонешний год—такое, только и есть самому!

Петр Еремеич ответит, спину ни на-кось, ни в бок не свернет и вожжи из рук ни на минуту не пустит, и спина перед глазами у Зайчика на облучке, как щит широкий и крепкий, который разве на большом ухабе качнется вместе с кибиткой, а так—ни туда, ни сюда!

Петр Еремеич ответит, только голову из ворота вытянет, повернув длинную шею, как гусь на кота:

— У нас, Миколай Митрич, теперь сено возят на бабах!

— Ну, скажешь ты, Петр Еремеич!..

— А ты что, не веришь?.. Мужиков да коней позабрали, остались кобылы да бабы!

— А как, Петр Еремеич, ты уцелел?..

Зайчик смеется, и Петр Еремеич чуть-чуть.

— Да я-то по косому об'ехал, кого на тройке, кого на катюхе гужом!

— Ладно, Петр Еремеич: хоть ты со скотиной!

— Ходят слушки, что скоро все заберут! Последняя.

Свистнет, ударит вожжой коренного по круглому заду, кибитку сразу так и сдернет с места, как будто оторвет от земли, а Петр Еремеич вперед протянет обе руки и вожжи напружит—всполохнутся и запоют колокольцы, и задымятся хвосты у пристяжек ..

...И кажется Зайчику, что Петр Еремеич с такой широкой спиной, с плечами во весь облучок, с такой нарядной курчавой кромкой под войлочной шапкой, что совсем он, совсем не ямщик, а старинный, чудесно воскресший гусляр, который присел на дороге средь поля и в обе руки бьет по четырем туго натянутым струнам невиданных гуслей!..

...И слушает Зайчик его, и слушает поле, и поле как будто вот, подобравши зеленый с желтым разводом подол, начинает кружиться, кружиться, и кружится лес за полем, поодаль, и машет вершинами желтых берез на опушке, и хлопает будто в ладоши, ссыпая с них ворохом желтые листья: сидит крепко Петр Еремеич и только слегка перебирает ременные струны!

Эх, чорт бы совсем распобрал, Петра Еремеича нет, а тройки вышли из моды!

Теперь, как слезешь с чугунки, так прямо-прямехонько—в лес; вытеши палку потолще да посукастее, чтоб не разлетелась об воровью башку, про-

сунь про меж ног, да и трогай! Хочешь шажком, а коль очень уж спешно, так можно с притрухом: ты сам себе кучер и конь!

Эх, Петр Еремеич!

ЧЕРТУХИНСКИЙ ТУМАН

...Нагрянул Зайчик в побывку, заранее даже и вести не подал.

В аккурат как-то под вечер все чертухинские солдатки так к окнам и прилипли, еще издалека заслышав, что Петр Еремеич кого-то везет, за грудь держатся, без платков бегут на крыльцо, наплевать, что в углу ребятишки горло дерут: все вестей ждут от своих, не дождутся!

Прокатил Петр Еремеич из конца в конец по Чертухину, инда только пыль на подсохшей дороге поднялась, и так никто и не разглядел хорошенько, кто это за пылью в кибитке.

А Миколай Митрич, радостный, светлый, словно видит впервые родное Чертухино, всем рукой машет и трясет боевой фуражкой, раскланиваясь, как именинник.

Встала тройка, словно в землю вросла, у самой что ни на есть лавки Митрия Семеныча Зайцева, так что коренник уперся высокой дугой в застреху домового крыльца; тут только и догадались, кто это нашим солдаткам в кибитке прибластился,

бегут со всех концов, словно опоздать боятся, словно гость так завернул, на минутку, а вот махонут кони хвостом у крыльца, и поминай его опять, как звали,— живо у крыльца бабы и девки сгрудились, локотками подперлись, то и дело ни с того ни с сего хватаясь и утирая глаза.

Вышел Митрий Семеныч на галдарейку, бороду гладит и не верит глазам, что сынок приехал, больно уж, де, не ждали да не чаяли!

Сестра Зайчикова, Пелагушка, из окошка высунулась—вот-вот упадет, а мать Фекла Спиридоновна как выскочила на крыльцо простоволосая, увидала, что Миколенька из кибитки вылезает и саблю в руке держит, так и уронила голову, как срезанную, в кубовый передник и на все Чертухино от избытка чувств заголосила.

Митрий Семеныч народ растолкал, бросился на Зайчика, словно бить его хочет, будто это и не Зайчик вовсе,—подбежал к нему с лицом страшным и радостным, положил ему голову на плечо и тоже заплакал...

* * *

Зайчик, как вошел в избу, в угол помолился, отвесил всем по поклону, и так, кажется, и поплыло все у него из-под ног, голову вдруг сильно закружило.

— Собери мне постель, матушка, в горнице,— сказал он Фекле Спиридоновне,—больно я уж умаялся.

Фекла Спиридоновна пугливо посмотрела на сына и побегла с самоваром за печку, а Митрий Семеныч мигнул Пелагушке на горницу.

— Сынок... ах, сынок, да Господи Боже!.. Вот уж не чаяли!

— Обыдёнкой, батюшка, вышло... я и сам-то не думал!

Постелила Пелагушка кровать в передней избе, а Митрий Семеныч чайный стол на маленьких колесиках к кровати подкатил.

— Ты, — говорит, — Миколенька, лежи, отдыхай с дороги, а мы с матерью около тебя посидим, чайку попьем да на тебя посмотрим: в кои-то веки видим тебя живого, слава Богу, да в полном здравии... В последние разы ты и писем-то не писал... а ведь что не надумаешь!

— Пристал я, батюшка, что-то,—тихо говорит Зайчик.

— Ну, если и пристал малость,—прибавил Митрий Семеныч, поглядевши пытливо в какие-то странные глаза сына,—так у матери под юбкой живо отудобишь!

Ощупал Митрий Семеныч Зайчика всего с головы до ног дометливым стариковским глазом: ничего попрежнему на вид вроде как здоровый, ладно сшитый паренек.

— Отудобишь,—довольно решил Митрий Семеныч.

— Отудобишь, отудобишь, Миколаша, радостно говорит Фекла Спиридоновна, внося самовар в гор-

ницу,—смотри, Миколенька, как наш старик-то старый тебе обрадовался: только успела отвернуться, а он так потолок весь паром и обдал!

Зайчик в кровати ноги расправил, чистое белье, словно перушком, тело замоделое гладит, от подушки травой-мятой пахнет—лежит Зайчик, как барин, и матери улыбается.

— Матушка ты моя милая, если б ты знала, как я по вас соскушнился!

Митрий Семеныч в середку стола сел, Пелагушка за самовар спряталась, а Фекла Спиридоновна расставляет на стол чашки, голубые любимые Зайчиковы кумочки, — похоже сейчас на то, что мать с чердака молодых голубят принесла в переднике— сейчас их пшеном кормить на столе будет...

— Сынок... сыночек мой!

Митрий Семеныч на блюдечко с золотым обрезом горячего чаю налил, локтем руку с блюдцем подпер, на блюдечко дует, а сам все на сына глядит— все глазам не верит—да блюдечком бороду закрывает, чтобы кто не разглядел, как по бороде нечаянная слеза катится.

— Жарко... инда потом пробило,—говорит он, заметив, что от жениных глаз скорей кошелек спрячешь, у самой Феклы Спиридоновны глаза помаргивают и теплятся, удерживая радостные слезы: не любил Митрий Семеныч глядеть, как другие плачут...

— Полно тебе, Митрий, седни и печь не топили,— тихо говорит Фекла Спиридоновна...

Митрий Семеныч через блюдце посмотрел на нее, дескать: дура!

— Что, Миколенька, каково на хронте?—спрашивает он сына твердым голосом, этой твердостью так и хочет Фекле Спиридоновне намекнуть: ошиблась, матушка, это у тебя глаза на мокром месте, по делу и по безделью всегда за глаза хватаешься, нельзя сапогом под бок ткнуть, а я слезой исхожу только, когда лук в тюрю режу.—Мы к газетам тут не больно привышны! Да к тому же и врут больше того!

— Мы, батюшка, теперь почитай-что на мирном положении, в позиции и в глубоких окопах под блиндарями... только вот вши больно едят, а то бы—все ничего... редко кого убьют ненароком!..

Фекла Спиридоновна—в передник, Пелагушка—за самовар.

— Это они, Миколенька, от страху заводятся!—говорит мать из передника.

Митрий Семеныч строго на передник смотрит, словно так и норовит без слов растолковать понезаметней: да не суйся ты, дура, когда тебя не спрашивают, если ничего не понимаешь, у человека чин как никак, на плечах эпалет с синей дорожкой, посередине с черной звездочкой, а ты о страхе каком-то канитель заводишь,—знай, дескать, передник, свое дело: ухваты да клюшки, пироги да ватрушки!

И трудно почему-то Зайчику признаться, что мать правду сказала.

Не потому, конечно, что хронтовика такого хотел из себя дома на печке изображать, а потому, пожалуй, что страху этого сам по-настоящему не раскусил и по правде не знал, что он-то сам, храбрый или трусливый.

— От поту вша заводится, строго сказал Митрий Семеныч.

Фекла Спиридоновна села за стол и оглядела мужа неразумными глазами.

— Полно, Митрий, уж то ли не потеет человек, когда землю пашет, а никогда и вошка от такого пота не укусит!

— Ну, разварилась картошка: сама с себя шинель скидает, —намекнул опять Митрий Семеныч, по мужицкой привычке не говоря всего спряма, но Зайчик понял с одного слова.

Выпусти-ка, — говорит он, матушка, меня с кровати слезти... Чтой-то я, приехал, а и на двор не выйду, на скотину не гляну...

— Поди, поди, говорит Митрий Семеныч охотно, поздравкайся!

* * *

Вышел Зайчик в одном исподнем в сени, а за сенями тут же двор, большой, широкий, под князьком на лохмотах соломы паутинка висит, и в ней играет вечерний, хилый лучик, скользнувший сверху из слухового окна, через которое голуби летают,

на дворе корова Малашка стоит у яслей, сено по целой рукавице охаживает, а рядом с ней мерин Музыкант,—уши расставил, и оба на Зайчика смотрят: молодой хозяин приехал!

Музыкант даже, показалось Зайчику, из темноты головой мотнул, словно, как и надо быть, с ним поздоровался...

Смотрит Зайчик, в углу петух на шесте: привстал, на ногах—сапоги желтые, на голове—корона царская, тоже на Зайчика глядит, и кажется Зайчику, что петух немало диву дается, что Зайчика видит: как это, дескать, такое выходит?..

Потом, видно, решил, что это он, петух, в своих петушьих расчетах сбился да спутался на старости лет и что так на самом-то деле и надо, чтобы Зайчик сейчас стоял тут у лесенки на накат, на котором по этому лету куры цыплят высиживали, стоял тут в полутьме и его сапогами любовался,—решил и вдруг громко захлопал крыльями: лоп-лоп-лоп-лоп-лоп, и так запел, как будто Зайчик и не слыхивал до сей поры, как деревенские петухи поют.

Прислонился Зайчик к лесенке, смотрит на то место, где он в детстве на перекладине домового видел, и думает сам про себя, куда это он за эти годы девался, даже и следка от его копытца в Малашкином шлепке не видать,—постоял так да и стоять до утра бы остался, вдыхая в себя коровью теплоту, смешанную с вкусным лошадиным потком, если бы не тронул его за плечи сзади отец и не

сказал ему строго, будто Зайчик — маленький и в чем-то уже успел провиниться:

— Иди-ка, Миколай, в горницу... да ложись спать в самом деле; завтра наговоримся!

Вошли они в горницу, смотрит Фекла Спиридоновна на сына: глаза красные, словно кто в них соли там в темноте насыпал, под носом помокрело...

— Ложись, ложись-ка — эк тебе глаза-то пылью, должно, с дороги набило... а я с радости и не заметила даве, — ложись со Христом... Ложись!

Засуетилась было Фекла Спиридоновна, но Митрий Семеныч отвел ее от постели рукой: дескать, убирай чашки и не верещи попусту — все равно фефя галицкая и что к чему — не понимаешь!..

* * *

...Зайчик остался один...

Пелагушка, пока он до ветру ходил в сени, снова пышно взбила перину, а в углу затеплила у самого носа Миколая-угодника две синих лампадки...

Такой от лампадок свет сразу пошел тихий да мирный, так тихо, словно боясь, что его услышат, сверчок зачиркал из-за лежанки, выставившей брюхо в темном углу...

...И поплыла в горницу тишина, как молоко густое, будто на всем белом свете теперь только и есть, как этот сверчок с ленивой песенкой да он, Зайчик, — и как-то сразу после первой же сверчковой

песенки на все тело Зайчика напала истома, а по рукам и ногам поплыло тепло: будто Зайчик, как бывало в старое время, когда у отца еще лавки и избы этой большой не было, а стояла у них на заднем выгоне лачуга о двух окнах у самой земли, в которой дождик всегда шел гораздо дольше, чем на улице,—вылез сейчас вот, напарившись перед праздником всласть пахучим веником из пузатой печки, и теперь лежит на ней, разбросавши руки и ноги.

Чувствует Зайчик, что связаны его руки шелковым поясом и он не дома у себя лежит, а в сказочной красоты терему, плененный навеки в стране безымянной и никому неведомой, но столь прекрасной, что и не стоит тужить и горевать об этом плене, а лежать так и лежать, качаясь в парчевой люльке, ни о чем не думать и терпеливо ждать своего часа, а что будет в сей час—жизнь или смерть—неизвестно!

А Зайчику надо бы знать!

Надо бы знать без ошибки!

* * *

Все сильнее и сильнее разгорается синий свет у лампады, так и заливает всю горницу, и сверчок так и исходит весь в своем стрекотании,—все тише и тише от того стрекоту в сердце...

И Зайчику кажется, что синяя волна бьется уже вот тут, совсем близко около него, около самого

сердца, но она не зальет, не затопит, и бояться ее нечего: это волна из Счастливого озера, она догнала его и настигла: ей жаль, что Зайчик покинул ее берега . . . .

. . . .

И плывет, плывет отцовская изба, как диковинный корабль, в далекое и блаженное царство, где люди живут и не знают, а самое главное знать им не надо: что жизнь и что смерть?

* * *

...Долго так Зайчик пролежал с широко открытыми глазами, не шевелясь и не смея пошевелиться.

Потом, вдруг словно тихий ветер прошел из-за двери, лампадка погасла, мигнула другая, и с нее слетел огонек куда-то в темь, за божницу... Сверчок нехотя чиркнул последний раз в темноте, заглотнулся и замолчал.

Зато так и забил свет из окошка, у которого поставила Пелагушка кровать, чтоб, как проснется усталый братец, так сразу бы увидел родное село...

А Зайчик сейчас уж к оконцу приник, прильнул к стеклу горячим лбом, загляделся, и, словно сноп спелой ядрицы, упал ему на рубашку месячный свет.

Смотрит Зайчик в окошко дремотными глазами, с которых сон наполовину свалился, дрожит под одеялом частой мелкой дрожью, и сладко ему от-

того, что стережет отцовскую избу высокий месяц с высоко занесенной в лохматое облако головой, а он покойно лежит у окна на кровати и до малости вспоминает свою прошедшую жизнь...

Колышется все перед глазами, преображается каждая мелочь, приобретая иное лицо и значенье, и будто в воспоминаниях этих, так чудесно перевитых с негаданным часом возвращенья под отцовскую кровлю, не он уж теперь, а чертухинские избы поплыли над землей, и крыши у них, как крылья у птиц на первом взмаху от земли.

Видит Зайчик: у крыльца, куда так и бьет месяц, так и сыплет горстью лучи, забирая все выше, ископытили кони Петра Еремеича землю, и из мокрой земли вода проступила, а первый зазимок сейчас ледок, как гусиные лапки, натянул в лошадьих следах.

— Значит,—думает Зайчик,—птицам пора улетать!

Глядит Зайчик на улицу, и нет ни единой души, и в окнах нигде огонька, только туман так и валит из-под невиданных крыльев чертухинских птиц, вдоль села так и стелет овчину и сбирает клубы на горке у дома, где живет отец Никанор,—чудится Зайчику, что там, у Никанорова дома, туман уже—не туман: это чертухинские девки ведут хоровод...

Платья на девках кисейные, белые, ленты в косах атласные — с отливом и ворсом и из белой березовой коры башмачки на ногах.

Ходят девки, не касаясь ногами земли, чтоб не портить обувки, ходят они, за руки держат друг дружку, и сыплет на них осохлые листья из чистого золота ясень, такой же старый, но еще бодрый, веселый, как и отец Никанор.

А посреди хоровода Клаша, дочка о. Никанора...

Не с ней ли Зайчик вместе в школу под горкой ходил?.. Не с ней ли венчался... в духе и свете?...

Такая большая поднялась за время, как Зайчик Клашу не видел, и теперь совсем не узнал: с лица ее веснушки словно кто смахнул платочком, как соринки, стала она выше и тоньше, и месяц сейчас бьет Клаше в лицо нежным лучом и вплетает сине-зеленую ленту в тяжелую косу:

— Должно что,—думает Зайчик,—замуж выскочит скоро... может, даже этой весной... Ужели ж забудет и не дождется?..

Клаша стоит середь хоровода, смотрит на небо, звезды считает, месяцу, пролетным осенним тучам, летящим на север за снегом, машет белым платком и—для кого—неизвестно—запевает песню на круг

Уж ты, Лель мой, Лель,
Люли-Лель!
Не ходи ты, Лель, воевать!
Ты не целься в лоб,
Уж ты в грудь не цель:
Не клади ты в гроб
Да чужую мать!

Лель мой, Лель!
Лель мой, Лель!
Люшеньки!
Не губи ты, Лель,
Душеньки!

Уж ты, Лель мой, Лель,
Люли-Лель!
Не ходи ты, Лель, на войну!
Ах ты, милый друг,
Не гони под ель
На усохлый сук
Молоду жену!..
Лель мой, Лель!
Лель мой, Лель!
Люшеньки!
Не губи ты, Лель.
Душеньки!

Кончила Клаша песню, а в сердце у Зайчика еще звучит хороводный припев.

Стоит Клаша в кругу, взявшись за сердце, из глаз ее катятся крупные, по горошине, слезы, отчего еще светлее у Клаши глаза,—две синих лампады, в которые сверху смотрит луна,—еще лукавей играют ямки у губ, и со щек так и пышет румянец, словно открыла она девичье сердце и горит, горит от стыда!..

Зайчик в подушку уткнулся, а месяц за тучу уплыл...

ЧЕРНАЯ ТЕЛЕГА

Чудно пахнет подушка сестрицы Пелагушки, насовала она под наволоку пахучей мяты и божьей травы, от которых приходит легкий сон к человеку, и Зайчик словно лежит сейчас в огороде, уткнувшись в окошенный вал у частокола, мокрый от частой росы, и солнышко, будто, вот только что за Чертухиным выкатило свой золотой глаз и с'есть еще совсем росы не успело.

Лежит Зайчик усталый, но крепкий, как песочный брусок, которым вот уж какой год все одним косу точит и никак сточить не может: по жилам кровь так и играет, и слышно за сажень, как она падает в сердце, будто с большого обрыва, и звонко стучит о самое сердечное дно, зароется там, отдохнет и снова заколет в лопатки и плечи и будит с зарею— гонит с постели бить рижскую косу на бабке, раскидывая по всему Чертухину уверенный радостный стук молотка, а потом скорей косить, скорей косить, размахивая косой во все плечи, пока роса на лугу, словно брызги, как будто по лугу ходил всю ночь с водосвятьем отец Никанор.

* * *

Долго ль так Зайчик лежал, мало ль — кто это знает?

Может, и осень прошла за это время, и зима пропорошила в околицу белым пушистым хвостом,— кто это знает?..

Время—не столб у дороги!

На нем все наши зарубки первый же ветер сдувает, и часто не знаешь: когда это было—вчера иль сегодня.

Иль когда еще сам на свет не родился!

Только от сестриной мяты да от плативой божьей травы так и наперло в нос Зайчику, поднял он голову, обсохла без солнца роса на подушке—Зайчик часто в последнее время плакал во сне—в окошко взглянул, потом обернулся на дверь: спаси Бог, не узнал бы кто про его огородный сон и про эту росу на траве, похожую больше на слезы!...

— Какие уж тут огороды... ведь скоро Покров!

И Зайчик сейчас и не помнит, куда он рижскую косу повесил, так и не кончив покос перед войной.

Пришлось последний лужок добивать казачихе!

Но крепко, видно, и Митрий Семеныч и Фекла Спиридоновна, умаявшись с этой проклятой торговли, хуже чем с пашни, спят за пятой стеной, а Пелагушка подавно: у девки еще и грудь не налило!

Спит—выдерни ноги, и то не услышит!

Глядит Зайчик в окошко, меж двумя облаками тихо за горку катится месяц и, ниже, ниже нагибаясь к отцовской избе, через силу с великой дремоты озирает вокруг, да и все на селе, кто на месяц в этот час ни посмотрит, у всякого слипнутся веки, и сам приоткроется рот, только вот один Зайчик поглядит на него, и еще шире станут глаза.

В тайне от сына берегла Фекла Спиридоновна его лунатные ночи, когда он мальчишкой лазил по краешку крыши и подолгу сидел на князьке, болтая ногами и упершись детскими немигающими глазенками в месяц над крышей.

Колдун ли снял на десятом году с Зайчика этот мечтунчик, само ли по себе прошло — Бог его знает!

Только еще и теперь часто Зайчика месяц будит, и он подолгу не может заснуть, пока всласть не наглядится...

— Месяц!—шепчет в такие минуты Зайчик,— месяц!..

Глядит Зайчик в окошко, но теперь уж нет никого у дома отца Никанора, рассыпался по избам девичий круг, словно бусы с порванной нитки, а Клаша — дочка отца Никанора — давно в летней светлице спит одна под самой крышей, держит сонной рукой крепкую грудь и грезит с улыбкой о том, что в палисаде, на старой антоновке, больно два яблока славно налились:

— Завтра проснусь, спрошу у отца позволенья,— сорву и кому-нибудь подарю на долгую-долгую память... а если отец не позволит—заплачу!

— Пожалуй, позволит,—думает тоже и Зайчик,— завтра пойду навестить отца Никанора!

И только это Зайчик подумал да опять в окошко взглянул, как вдруг из Чертухина, но только с другого конца, покатила большая телега, в телегу

впряжена большая свинья и хвост у свиньи длиннее, чем кнут у подпаска Игнатки.

Кто сидит на телеге—поначалу было не разобрать.

Потом, когда она поднялась на пригорок, Зайчик, приставивши руку к глазам, чтоб месяц глаза не туманил, и вплотную прижавшись к окну,—разглядел: сидит на этой телеге дьякон с Николы-на-Ходче, свесивши ноги, так что телегу всю покосило и колесо с этого боку чертит о накрылье, и на крутом повороте будто так крикнуть и хочет:

— Эй, сторонись, прохожий! Не видишь, а то задавлю, и мокренько не будет!—

...сидит на этой телеге дьякон с Николы-на-Ходче и по свинье староверской лестовкой бьет.

— Ох, этот дьякон,—думает Зайчик,—водосвятный крест пропил, ну вот у него теперь и гульба!

— Много ты знаешь,—будто отвечает Зайчику дьякон, повернувшись бочком с телеги,—да ладно: вот с'езжу на требу, человек за горой удавился,—вот оберну, господин охвицер, и тогда уж мы с тобой потолкуем!

Странно Зайчику: до дьякона будет верста, а слышно-о! А может даже больше версты!

Ночью все предметы ближе подходят, только меняют лицо.

—Должно, что по росе так голос приносит,—решил Зайчик,—ну и дьякон: коса больше, чем у отца Никанора!

Смотрит Зайчик, ничуть и не страшно!

Ну что ж из того, что под горой человек висит на осине?..

Мертвых Зайчик видал...

Столько их на войне... подумаешь тоже, какая нередкость...

Да и мертвые страшны не все, а первые три дня после смерти так и все мертвецы добрее и лучше живых!

— Невежа! А еще охвицер,—кричит ему с самой горки дьякон,—науку тоже прошел, а в голове нескладиха!—Зайчика пот пробил, и к ногам побежали мурашки, силится и не может понять, как же это: Зайчик только подумал, а дьякон уже услыхал...

В это время дьякон свернул с горки, снял с осины человека, должно быть, была это баба, а если мужчина, так наверно заезжий купец,—больно брюхо велико, у мужиков таких не отрастает,—снял человека, на горку опять махонул и... круто... на небо!

По небу грохот пошел, катится по небу телега, так тьма и растет...

От грохота падают звезды, месяц, совсем незрячий, за горку хотел укатиться, расплылись с дремоты и губы и нос у него по лицу, стал он похож на яичко, какие Зайчик с горки по Пасхам в детстве катал,—хотел укатиться, да дьякон вдруг телегу круто на него повернул и... раздавил, инда колесо так и скрипело, так и гремело:

— Э-эй, сторонись, сторонись! Задавлю как яичко!

Тьма повалила вниз и вверх от телеги, и только минутку колесный обод сиял яичным желтком, позолотил и потешил глаза хмуро-золотистый свет, а потом, попавши в колею, погаснул и... ринулась тьма на землю и небо!

* * *

Слышно только, как над самым селом катит телега и камушки с-под колес летят со свистом и падают на крышу, то тихо, то барабаня крупной дробью в железо.

Сколько времени пролежал так Зайчик,—Бог его знает!

Слышал только, закутавшись с головой в одеяло, только оставивши маленькую щелку для глаз, как под колесный скрип и визг от накрылья телеги хлопал на шесте крыльями старый петух и не вовремя пел, видно, хотел разбудить хозяев и пораньше поднять на-ноги...

Потом вдруг, будто над самой кровлей, раздался грохот и треск, должно быть, дьякон не в меру свинью разогнал, телега задела за придорожный пень и все: дьякон, телега, свинья и толстый купчина или баба—кто их там знает—все полетело под откос в овраг, с оглобель золотые тяжи свалились, вожжи, постромки, обшитые рясной парчой, разорвались на мелкие части, мелькнув только в окошко, заставив зажмурить глаза и схватиться за

сердце, долго-долго гудело в великой утробе земли и под застрехой высокого неба—потом все утихло, в окнах, будто развесили трепаный лен,—сбелело, за пряслом мутный день поднял белесую голову и взглянул растекшимся глазом в окно.

* * *

Зайчик с постели поднялся, глаза ломило, словно с долгой натуги, и на яву ли, в полусне ли увидал чуть приоткрытую дверь, из-за которой высунула к нему как снег за это время побелевшую голову Фекла Спиридоновна:

— Вставай, Миколенька, вставай!.. Мы с отцом уже попили чаю, не хотели тебя будить... уж и гроза сегодня прошла перед утром, да диво-то—в такую пору с молоньею и градом,—не запомнит никто!

— Затрещала сорока!—прогудел за ней Митрий Семеныч.

— Должно, что скоро, отец, выпадет снег!—обернулась Фекла Спиридоновна.

— Не загадывай срока, тащи лучше самовар поскорее, отвел Феклу Спиридоновну Митрий Семеныч от двери и вошел к Зайчику в горницу.

ЧАЙНЫЙ КОРОЛЬ

Зайчик вдруг почувствовал себя веселым и бодрым, увидя отца и мать с самоваром: видно, все же отдохнул в огородной ограде, отдышался от по-

рохового дыма на мяте и божьей траве, глотнувши всласть домашнего уюта и тишины.

Мать водрузила на стол самовар, как роту расставила блюдца и чашки, а посредине поставила блюдо, в котором по крутым краям взбирался Афон, нарисованный очень искусно, в блюдо положила печеных яиц, которые Зайчик очень любил, свежий ломоть душистого хлеба на яйца, сбоку поставила большую чашку снежной сметаны, а на спинку от стула повесила колбасиный круг домашнего изготовленья, сочный, душисто скопченный самим Митрием Семенычем и большой, как лошадиный хомут.

Смотрит Зайчик прямо в лицо самовару и в самоварной начищенной к такому случаю меди видит свое лицо, такое красивое, здорово-ядреное, но скорбное и нежное, затаившее где-то в глубине засиненных под черной ресницей глаз такую печаль и тревогу, которым, кажется, нет и не будет конца.

— Ну вот и дело, видишь, на лад пошло: ишь, Микалаша,—как огурчик с гряды, сказал Митрий Семеныч,—лежи... лежи... Лежа и чаю попьешь, а я начал за тебя положу.

— И то, батюшка, полежу!—улыбается Зайчик.

Митрий Семеныч встал под икону, подкинул к ногам подрушник, осенился, затрусил бородой на икону и скоро бухнул в землю три раза.

— Я, Микалай, каждый день сорок поклонов кладу за тебя... да мать тоже столько...

Улыбается Зайчик отцу.

— На старости лет ты бы спину себе не трудил,—говорит.

— Э, что за труд: родительская молитва со дна моря достанет,—подошел к столу Митрий Семеныч, потирая руки и оглядывая все повеселевшими глазами, ну, давай-ка колбаски!..

— Хорош у нас самовар,—говорит Зайчик.

— Король, одно слово,—гладит бороду Митрий Семеныч.

И правда: Зайчик взглянул на комфорку: корона!

Корона и есть!

И сам он пузатый король, и только кажется это, да так все говорят: поставь самовар!

Кажется всем: стоит самовар!

А в самом-то деле ведь он все сидит, да и встать-то не встанет, если никто не поможет, потому что у него короткие ноги и встать на них сам он не может, ну и ставит его Пелагушка или Фекла Спиридоновна, а он ведь... и сам бы поставиться мог!?..

— Ну вот убежать: это дело другое!—промолвился Зайчик, заглядевшись на самовар.

Пелагушка вошла, вся покраснела, застыдилась брата: как никак—охвицер, мать на отца поглядела, Митрий Семеныч на мать.

— От судьбы, Микалаша, никуда не уйдешь, нет, уж лучше терпи помаленьку да почаще Богу молись!—сказал вдруг Митрий Семеныч.

— Да, да, Микалаша, куда убежишь?.. В темный лес?—всполохнулась Фекла Спиридоновна.

— Да что вы такое подумали?—смеется Зайчик.—Я говорю, что самовар убежать всегда может, и вспомнил, как он скоро поспел, когда я приехал.

Отец закатился смехом, и все лицо у него обдало искрой:

— Коро-оль!

Фекла же Спиридоновна не подошла, а подплыла к Зайчику, схватила его за вихорки, притянула к себе и крепко припала к губам:

— Шутник мой, Миколенька,—нас только, стариков, напугал... А мы-то подумали...

— Нет, батюшка... оттуда я убежать не могу, не улыбнулся Зайчик, но на лицо просветлел.—ты знаешь, батюшка, где теперь эта книга, о которой нам говорил Андрей Емельяныч?..

Митрий Семеныч на Зайчика смотрит во все глаза, как будто не узнавая сына, Фекла Спиридоновна застыла с полным блюдцем в руке, Пелагушка уставилась прямо Зайчику в нос.

— Она там!..

— Мудреный ты, Микола, стал, да это неплохо,—сказал Митрий Семеныч.

— Все лучше, чем дурак или озорник!—прибавила Фекла Спиридоновна.

Пелагушка фыркнула неизвестно с чего, Митрий Семеныч огрел ее взглядом, все взялись за блюдца и... замолчали.

* * *

Зайчик блюдечко допил, держит в руках пустое блюдце и на окошко глядит:

Ах, боже мой, боже, какая прекрасная, светлая наша страна!

Какие по взгорьям ее, по полям и овражкам раскинуты тонкие-тонкие шали, с каким нежным-нежнейшим и замысловатым рисунком!

Вышивала, узорила их золотая рука, и краски все эти нашло и взлелеяло доброе, чистое сердце!

Кому непонятна любовь к ним?..

Кто может прожить без любви к ним?..

Кто может обойти их с презреньем, насмешкой оскаливши зубы, кто может насмеяться над этой сыновней любовью?..

Если уж есть у нас эта любовь, так березовой болоны она тверже,—тверже и крепче,—но зато растет на прямом стволу нашей великой судьбы, как болона растет на березе и самих нас уродит!

Насмеяться же над этой любовью,—пусть над этим уродством,—может преступник, лиходей поневоле или в душе душегуб по рожденью!

Как, как не любить, как не верить, как не ждать, не томиться?..

Не плакать подчас беспричинно: ведь плакать все больше и больше причины!

Куда подеёшь ты всех этих калек, уродов с румяными лицами, но без рук и без ног, привыкших

к земле и простору, а ныне гниющих где-нибудь в лазаретной помойке,—с широкою грудью, в которой сердцу большому, простому, мудрому, тихому, доброму, как ни у кого—осталось одно: уйти в темный лес и сделаться страшным разбойником!?..

...Думал так Зайчик и все глядел за окошко.

На одном глазу у него висела крупная слеза, но он опомнился, колыхнул плечом, будто сбрасывал что-то очень тяжелое с плеч, тряхнул головой, и слеза упала незаметно в пустое блюдце.

* * *

— Чтой-то, я, дура, сижу и молчу, у нас ведь новость какая,— первая заговорила Фекла Спиридоновна.

— Ну, пошла курица болтунов на чужом дворе высиживать,—сказал улыбаясь Митрий Семеныч,— ври, ври больше, чтобы верить дольше,—хотел еще что-то прибавить, пообиднее да посмешнее, да не сказал, не хотел, видно, обижать старуху при сыне.

— Да ты, ведь, и не знаешь, Митрий Семеныч, я и забыла совсем тебе поутру сказать за столом.

— Ну, полно клохтать... Что же за новость?

— Подожди, Митрий Семеныч... схожу за кипятком, долью старика, а то, как Микалаша сказал, и верно, что сядет на жопку!

— Мы, Микалаша, пьем всегда с подогревом,— гудит Митрий Семеныч.

— И радости всей-то у нас: ты, Пелагушка да вот: самовар!—говорит Фекла Спиридоновна, сокрушенно склонив на бок голову,—подождите-ка, вот подолью и все расскажу по порядку.

Фекла Спиридоновна льет в королевскую утробу горячую воду, король на левое ухо корону повесил, медную мантию с плеч приподнял и положил на Афонскую гору, запыхтел, засопел, как будто сидел на столе и крепко без просыпа спал, а тут вот его разбудили, но какие же теперь дела государства на старости лет: горячих угольев опять наглотался и снова, покамест его не разбудят—заснул!

Митрий Семеныч глядит на самовар и смеется:

— Король, а корона на дужке!

Зайчик тоже смеется, а Пелагушка так и не сводит с Зайчика глаз: уж больно братец чудён, и больно она его любит!

Зайчик, улыбаясь отцу, глядит в окошко, а перед оконцем все Чертухино как на ладони.

— Хорошо же наше село, Микалаша!—говорит Митрий Семеныч в раздумьи.

— Хорошо, батюшка... очень, потому что родное и такого другого нигде не найти,—Зайчик ему отвечает.

— Да и нету... Гляди, Микалаша, любуйся... на родное место посмотришь, и на сердце станет складнее и все кругом веселей!

И Зайчик любуется:

По засельным взгорьям рассыпано золото, лес за селом отряхает парчевую одежду, как будто кончился пир и веселье, теперь пора на покой до нового вешнего звону!

Над лесом голубой покров, и будто лес опрокинул себе на склоненную голову большую чашу, и из чаши льется голубое вино.

Льется оно, льется ему на разоблаченные плечи, на скошенный луг возле леса, на желтую ленту дороги, которой повязаны всходы на взгорьи, зеленые, яркие, как будто умытые первым зазимком, растаявшим с первым лучом из-за тучи, которая верно теперь в Чагодуе, а может и дальше, и из окошка только краем видна!

Из тучи бежит торопливое солнце: и верно, надо спешить—в овраге лежит белый горох ворохами, не время еще доставать белую шубу, еще Никита-Гусе-Пролет не вспугнул с озера уток, не пронес высоко над полем венцы журавлей и сам еще не уехал на первой туче со снегом, растянув и разбросив с нее по всему необъятному небу гусиные стаи, как плетеные вожжи с раскатистых дровней, для людского глаза похожих на тучу.

— Чудесная у нас, батюшка, сторонка!—говорит Зайчик в полузабытьи.

— Ворона и та свою сторону любит, не токмо что человек,—отвечает Митрий Семеныч, а Фекла Спиридоновна и Пелагушка смотрят на них и молчат.

* * *

Король на столе в короне, ему на корону забрался пузатый шут с длинным носом и разрисованным брюхом—его король хоть и любит не очень, но какой же король без шута? В королевстве подданных нет, живут все свободно, как будто и нет короля, и один только шут подставляет ему свой круглый рот дыру на затылке, и король, забавляясь спросонок, льет в затылок шуту горячую воду...

Да и шут не всамделишный, так себе: брюхо у шута слилось с головой и в голове у него не мозга́, а чай китайский заварен.

— Ну что ж... проживем и с таким,—шумит пузатый король,— ныне время настало такое!

Да, время тугое!

Сидит Фекла Спиридоновна и на блюдце дует.

Знает она хорошо старика, что хоть и корит он ее за болтливость, а самого парным молоком не пои, а сплетку какую-нибудь да сплети.

Нацедила она Митрию Семенычу новую кумку, подала через стол и смотрит в глаза,—что, де, на рот повесил фунтовый замок? Ты рот не разинешь, так я и подавно!

— Да уж, Митрий Семеныч, и новость... такое дело случилось!

— А мы, Микалаша, с тобой и забыли... Ну, ну, разевай да скорей подавай,—сказал Митрий Семеныч и губу о блюдце обжег.

— Ишь, разоспался старик,—щелкнул он по медному брюху.

— Говорить ли уж, нет ли—ты все равно не поверишь и скажешь, что дура... Да ладно, хошь верь, хошь не верь, после узнаешь, что правда,— начала Фекла Спиридоновна, а Митрий Семеныч опять перебил:

— Да вали под самый нос жито и овес: после разберем!

— Ладно, ладно, старик... так вот дело какое! Митрий Семеныч перестал улыбаться, Зайчик уставился матери в рот, откуда глядели два заячьих зуба, а Пелагушка так в мать и впилась: уж больно она любила рассказы.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

ПЕЛАГЕЯ ПРЕКРАСНАЯ

У ГОЛУБОГО КРЫЛЬЦА

Да не лучше ли нам самим рассказать, так будет складнее: и толку больше и правды.

Так вот вся история:

Пелагея Прокофьевна Пенкина, когда на войну проводила из дома мужа, сначала очень томилась, много плакала за печкой, чтобы свекровь не видала, запустила было хозяйство, а потом понемногу прошло.

В два года один раз Прохор Акимыч приезжал домой в побывку, но недолго пробыл: две недели прошли, как в угаре!

Качалась изба две недели, качались у окон столетние ветлы и липы, ходило в глазах все в избе, и за окном поутру, не глядя, что дело было по лету—стояло покосное жаркое время—висел голубой туман, все плыло вдали, не исчезая из глаз.

Справили вместе покос, набили сеном сарай, сараюшку и на задворках сметали два стога.

Глядя на эти стога, как они оттопырили брюхо к плетню, оглянет Пелагея тихо и жалобно свой

ровный и круглый, как причастная чаша, живот, привстанет незаметно от мужа за стог и скорее утрет сениной глаза.

Тяжела была ей эта пустошь в утробе.

Пелагея было приладила люльку к матице в первые годы, как вышла за Прохора. нашила малютке рубашек, накроила пеленок из новины, и все это роскошество вот уж семь лет лежит на дне сундука. А в прошлом, по осени, проточили мыши дыру в сундуке, ни мужниной шубы, ни порток, ни рубах, ни цветной полушалок не тронули, а сряду младенца изгрызли в клочья.

Пелагея тогда промолчала, но тоску глубоко затаила в душе.

А тут вскоре, только Прохор Акимыч уехал с побывки на позицию, свекровь захворала.

Недолго промаялась старая Мавра, в неделю исхудала в щепу и скоро перешла жить на кладбище.

Осталась Пелагея одна.

Свекор, правда, хоть и был еще жив, но ничего уж не видел, ходил под себя, про все запомнил, что было на долгом веку и даже, как звать Пелагею забыл.

Словом, остались живыми только два синих глаза в большом и обильном хозяйстве.

Пелагея пахала, Пелагея косила, сеяла, жала, убирала скотину, печку топила по полю и дому все так и кипело у нее в руках, а руки с этой работы становятся все крепче, грудь все круглее, туже, и в бедрах скопилась такая истома, что если б в

те-поры приехал Прохор, так уж наверно был бы сынишка.

* * *

Лежит так всю ночь Пелагея одиночкой, не спит по часам, а только заснет, глядит—рядом Прохор!

И так чудно ей, что Прохор зачастил приходить во сне, проснется, а рядом с ней никого, такая досада!

А уж то ли не был яров Прохор, не солощ до Пелагеи!

Бывало-ти за ночь всю так изомнет, истилискает, перевертит и искрутит, что на другой день туман в глазах стоит до полудня и ноги и руки как суслом нальются, а грудь так и прет из-под кофты, словно ищет сама детские губки.

Но хоть и яров был Прохор Акимыч, а не было что-то детей!

Прохор часто, перед тем как возиться с женой, подолгу молился!

Потому и в сектанты в свое время ушел, но задолго еще до Ильи, когда нас всех усадили в телеги и повезли на разбивку в Чагодуй, Прохор вышел из Ангельской Рати, отчаявшись найти сына в благодати поста и презрения плоти, нарушил обет, прорвался Прохор Акимыч, как буря, и в первую ночь возвращенья на землю едва на тот свет не отправил жену.

Заплакала Пелагея, сходя с голубого крыльца, взяла она с собой голубой сарафан с золотыми

бубенчиками на рукавах и на полах, и Ангельски Круг с той поры опустел: словно ветер задул огонек под его крылечным князьком!

Прорвался Прохор Акимыч, а под Пелагеиным сердцем попрежнему пусто и пусто, как осенью пусто в стрижином гнезде, когда стрижи уже улетели, а воробьи еще не успели в нем поселиться.

Потому даже с охотой пошел Прохор Акимыч на немцев.

В последнюю ночь стал было на молитву по старой привычке, ударил было сам себя сыромятиной по голой спине, но Пелагея затащила его на постель, взвалила на себя, как куль, туго набитый зерном, и всю ночь проносила в жадной и жаркой пустыне: в жадной и жаркой пустыне расцветает сокровенный сад, и на суку у высокого дуба в парчевой люльке под пологом тихой зари семь лет уже качается Прохоров сын, с того самого часа, когда Пелагея с Прохором ушли с земли по ступеням голубого крыльца.

Утром, в проводы, Пелагея шаталась, как тень!

Не выла, как другие бабы, и только, вернувшись домой, пролежала, не вставая, два дня...

* * *

Лежит и сейчас Пелагея одна, не дышит, а в грудь сердце так и бьет молотком: баба была терпеливая, верная, мало таких!

Привстала она немного с постели, казалась постель горяча...

На люди же итти за такой нуждой совсем непосильно:

— В бороде у чужого мужа заплутаешься хуже, чем в темном лесу!

Пелагея свесила ноги с постели, пятки как на сковородке горят, встала и заметалась в избе по углам, прижимаясь утробой к чему попадется — и к клюшке, и к дужке дверной, раскулямлило бабу!

Вдруг свекор чихнул!

Пелагее как гром этот чих в уши ударил, ринулась она к печке, схватилась за тощую ногу, свекра с печки в охапку и в постель, на себя! Свекор хрипит, сопит, кровь у него так и хлынула к сердцу от страху,—подумал старик, что дьявол с большими рогами во сне стащил его с печи и вот сует на лопате в огненный ад!

А Пелагея глаза закатила, мнет, тормошит, кусает ему и плечи и живот и хватается за причинное место: ничего Пелагея не видит в черном бреду!..

Аким скоро сопеть перестал, улегся спокойно, а Пелагея со спертой грудью забылась, проспала даже раннее солнце и сгоняла скотину на полдни, за церкву, куда коров из леса пригоняют доить.

Всю ночь Пелагее проснилось,—что рядом с ней Прохор, бородой рыжей Пелагею одел и нос ей щекочет усами.

Проснулась она поутру, глядит: рядом лежит Аким, только весь посинел, из носа висит красная нитка, губы в седой бороде запеклись, и в деснах закушен язык...

Так и обмерла Пелагея!..

* * *

И как все это случилось, право, думала мало Пелагея.

У всякой бабы дума об этом-таком гораздо короче, чем мужичья дорожка из церкви в кабак.

К тому же сны ей стали сниться в последки такие чудные, страшные.

То Прохор идет печальный такой, худой, высокий, борода по колено и желтая-желтая, словно рогожка... Присядет к ней на кровать, ни слова не скажет, словно немой, только гладит живот мозолистой лапой, иногда прижмется в колени, а сделать, что надо, как будто боится.

Глядит Пелагея на Прохора и бороду держит в руке:

— Хороша борода, говорит она Прохору, большого младенца завернуть можно!

Потом пойдут они в поле вместе с Прохором, Пелагея с серпом на плече, а серп словно полумесяц упал на плечи—Прохор же с такой светлой косой, что так вот и брызжет, так и горит и отдается своим светом в росистой траве.

Пелагея согнется в полосе, зажмет в руку колос, а Прохор уже кричит:

— До-мой!

Пелагея только положит серп на полосном краю, а Прохор уж тут.

Только это совсем не Прохор! Будто он, а будто и нет! На пятках копыта, борода полсажени али рыжая грива—хорошо не видно, а только окликнешь:

— Прохор, что ты как нарядился?

...сейчас же задом норовит ударить под живот—теперь уж вовсе не Прохор, а мерин, рыжий-рыжий, какой у отца Никанора издох прошлой весной.

Вскрикнет, проснется Пелагея, покстится торопливо в ворот рубашки на грудь и снова заснет.

Ин нет: полежит две минуты и снова опять!

Только будто теперь уже не мерин отца Никанора, а подпасок Игнатка стоит на том месте, где Прохор только что был, обернувшись в Никанорова мерина,—стоит и смеется!

В руках Игнатки борода полсажени, веревочкой привяжет—Прохор!

Отвяжет—Игнатка!

Инда чудно!

Только Игнатка смелее, трется об юбку, словно теленок, под юбкой щекочет травинкой и так лукаво туда поглядит, как будто уж и не видывал сроду, а у самого щеки горя-ят!

Пелагея тоже краснеет, крепко колени сжимает, и все норовится убежать, а ноги, как связанные

подгибаются сами. Пелагея валится в луг, и такая вырастает кругом трава, душистая, высокая, мягкая, такие большие цветы расцветают в этой траве, только и видно, что синее-синее небо, словно бельевая вода в корыте, да этот пащонок Игнатка.

Подпасок Игнатка, хоть было ему только четырнадцать лет—крепкий, высокий, с крутой грудью, с румянцем, обветренным в поле, приблазнился раз Пелагее, когда она однажды поутру коров выгоняла, немного заспавшись, и Прохор с полусонных глаз еще совсем не ушел...

— Помилуй осподи!— подумала баба.

А сама так и впилась в Игнатку. Игнатка же прошел мимо нее с длинным кнутом на плече и даже взглянуть-то не глянул: в ребячьих мозгах, как в чистой воде—все на донышке видно!

— Робенок,—решила Пелагея и, вздохнувши, вернулась домой.

Сама не поймет, с чего стала злиться, швыряет ухватами у печки, молоко пролила из подойника, клюшкой хватила по кринкам на залавке, а свекор лежит на печи и хоть ничего не видит, а мыслит сам про себя, всю жизнь в слепоте вспоминая:

— Эх, видно, неладно! Эх, видно, неладно!

Ну, так и случилось: стащила Акима невестка с печи прямо в огненный ад!

Что ж, такому умереть давно бы надо, не сто же лет ходить под себя и избу поганить.

* * *

Обмыла Пелагея деда Акима, достала ему чистую сменку, снарядила по чину, отченашинский пояс по белой рубахе повязала, лампадку зажгла и пошла сказаться отцу Никанору.

— К вечеру завтра,—сказал отец Никанор,—аль в полдень: живо сварганим!

Взял отец Никанор из рук Пелегеи беленое полотно и благословил ее, хоть и знал, что Пелагея три года была матерью божьей, застольницей в Ангельской Рати.

— Видно,—подумал он про себя,—пришло такое время: кто ни поп, все батька!

Потрусил на Пелагею бородой и усмехнулся.

— Ты могилу-то вырой поглубже,—прибавил он, взглянувши строго на Пелагею,—а то ноне роют: копнут, чтобы хвоста не было видно, и ладно!

— На славу, батюшка, будет,—ответила Пелагея с поклоном.

С утра, еще до отца Никанора, как только коров подоила и прогнала в выгон, Пелагея побегла на погост и вместе с Трифоном, сторожем нашего кладбища, выбрала место рядом с свекровью.

Трифон за гроб и крест принялся, а Пелагея юбку со всех сторон подоткнула и окопала заступом по мерке.

Показалась ей тогда суровая суземь кладбища твердой, как камень, но Пелагея кое-как растолкала

ее топором, сняла с трудом верхнюю твердую корку и в завтрак стояла в земле с головою.

Раз или два уперся заступ в чьи-то желтые кости, словно слитые с желтым песком, заступ не шел дальше в землю, будто чужие кости не пускали Акима к себе на житье. Но Пелагея, что было силы, хватанула по ним топором, и кости рассыпались в брызги, обдавши искрами руки и ноги.

— Ишь землю-то как утоптали,—крикнула она Трифону.

* * *

По смерти сила и мужичья крепость из гроба уходит в землю—потому так тверда земля на погосте,—жильная кровь подымается кверху, как молочный снимок, и там недрится в корнях трав и цветов. Потому то трава на могилах мягка, а цветы растут или красные, с шапочкой красной или с красной каемкой по краю, или ж на листочке, если его поглядеть на свет, всегда найдется кровинка,—глазная вода вливается в корни деревьев, растущих возле могилы, по древесным жилам взбирается к самой вершине, чтоб лучше видеть оттуда с самой высокой ветки родное село, где прожил век человек, и поле, которое он обработал.

Потому-то и тянет молодых парней в полночь побродить по погосту, у креста на могиле понюхать цветы, когда кончат хороводы и парень липучкой к какой-нибудь девке прилипнет.

* * *

Так Трифон об'яснял Пелагее, когда пришел к ней немного вздохнуть от рубанка, а Пелагея слушала Трифона молча, опершись подбородком о заступ. Слушала баба Трифона только в пол уха и, не отдохнувши как надо, снова за заступ взялась, забыла о нем и о смерти и желтым песком засыпала Трифону ноги, пока он сидел у могилы и что-то еще говорил.

— Некогда думать о смерти: надо могилу копать!—сказала Пелагея Трифону, когда он выбил трубку о камень и встал, чтобы итти достругивать доски.

— Ты, Трифон Иваныч, почище стругай!—крикнула Трифону Пелагея.

— Вымою... будет, что надо!

К завтраку смерила заступом:

— Эна... сажень!

Пелагея кликнула Трифона, Трифон подал ей руку, упершись босыми ногами о край, и Пелагея, приставивши заступ к стенке могилы, легко взобралась наружу.

— В земле, дядя Трифон, тепло, как в избе!

Смотрит Пелагея на Трифона, красная, потная, на щеках веселые ямки, а в золотых ресничках висят песчинки, песчинки набились и в косу, коса от работы разбилась и до пояса покрыла ей спину.

Трифон в могилу взглянул, заступом деловито смерил и начал Пелагею хвалить:

— Добрая горница... скажет Аким спасибо!

— Хороша?—говорит Пелагея с улыбкой.

— Чего же еще!.. схороним, уж не убежит!.. пойдем-ка, у меня осталось только крышку доделать!

Пелагея погладила доски у гроба:

— И верно, что вымыл: ни задоринки руки не слышат!

Сказала Пелагея спасибо и гроб, как перушко, взвалила на плечи.

После Трифон крышку принес и поставил ее к двери у входа...

* * *

Пелагея весь день хлопотала, не пила, не ела и в тот день не топила печь: боялась, как бы дедка Аким до утра из гроба не вытек!

В полдни опять смоталась к отцу Никанору: лишний раз попросить никогда не мешает. Долго Пелагея просила прийти завтра и справить свекра пораньше.

— Псаломной молитвы не будет?—спросил отец Никанор.

— Да нет уж, батюшка: сама почитаю!

— Как знаешь..

— Не на что, батюшка...

— Тебя учить только портить, шутливо сказал отец Никанор.

Пелагея вернулась домой и тут же достала с полки псалтырь, стерла с него передником пыль и

встала к свекру в угол, к окну: побежал псалом за псалмом, и в избу надвинулись тени.

БЕС-ОЧАЖНИК

...К вечеру, когда пригнали коров и в окна просунулись красные пики, расколовшись на мелкие красные брызги о гроб с дедом Акимом, Игнатка подпасок пришел домовать...

У нас пастухи в Чертухине ходят па ряду. Корова—считается ножка, летник подтелок—полножки, а четыре барана—черёд, идут за корову. Значит так: сколько пойдет копыт у тебя на выгон в Егорье, столько и чередов пастух будет жить и харчиться...

Пелагея совсем про черед забыла в хлопотне, а Игнатка пришел чуть ли не на две недели.

— Здорово, хозяйка,—крикнул ей громко Игнатка из двери.

Пелагею холодной водой так и обдало, потом бросило в жар, псалтырь в расплохе она Акиму положила на нос и к печке позвала Игнатку...

— Не обессудь, я сегодня и печь не топила.— шепчет ему Пелагея, усадивши его за залавок.

— Мы понимаем,—тоже чуть слышно Игнатка хрипит, вспомнив, что громко нельзя говорить, когда в избе есть покойник.

Дала Пелагея ему ломотуху черного хлеба, кринку с толстым верхом поставила, чашку и ложку с полки

достала, а сама, не взглянув на Игнатку, строгая, бледная, опять встала к свекру в угол и долго глазами искала псалтырь.

Читает Пелагея псалмы, еле шевелит губами, а в ушах так и хрюпают корки на белых зубах у Игнатки. Долго чавкал подпасок за печкой. Пастухи, убегавшись за день со стадом, любят за столом посидеть... И сыт уж как будто, а рот, как за ложку заденет, так разве отцепит один только сон. Игнатка уронил голову на залавок, посыпались пастушьи кудри, как ветки с подрубленной ивы, и рука с ложкой повисла с залавка.

Пелагея услышала храп, обернулась, и сделалось весело ей и смешно. Подошла она с псалтырем и долго гладила нежные, мягкие кудри Игнатки.

— Ишь, притомился, никак не добудишь! Игнатк, а Игнатка...

Игнатка чуть голову поднял, посмотрел на нее полуглазом, а потом опять опустил и опять захрапел. Только крепче ложку зажал и во сне, видно, все еще пил молоко и доедал ломотуху.

— Игнатка, да што ты в самом-деле, иди-ка ложись на постель...

Пелагея толкает его псалтырем и нос чуть в пальцах зажала.

Игнатка вскочил и выронил ложку.

— Ишь, как тебя развезло,—смеется ему Пелагея,—иди-ка, ложись, печь не топлёна, а я уж сегодня не лягу.

Игнатка кой-как, протирая глаза кулаком, добрел до постели, распутал калишки и полог закинул, чтобы во сне мертвеца не увидеть, кашлянул, чихнул, зевнул и скоро опять, как камень на дно речное пошел.

* * *

Встала солдатка снова под образ, лампадку оправила—больно дымила—и свекру в бороду смотрит.

Свекор лежит, как живой, только закрыты глаза. Стал Аким словно чище, белее на синем свету от лампадки, с носа сошли черные горки от грязи, что в поры набилась за долгие годы лежанья без умывки на печке.

И так он на Прохора всхож, вот только Прохор рыжей да моложе, а батюшка сед и нехорошей такой сединою: как будто борода у него долгое время в чулане лежала и покрылась серою пылью.

Стоит Пелагея, псалтырь не читает; и ей не страшно, и... страшно: будто все так уж и надо и иначе даже не нужно и быть не могло!

Только в полночь, когда по Чертухину перебоем петухи запели, смотрит она, что и дед Аким на нее тоже глядит.

— Ты,—так и пылит борода,—ты,—говорит,— молодуха, не бойся, греха на тебе я не вижу...

Пелагея глядит на Акима, Аким же глядит на нее.

— Кровь,—кровь,—пылит борода,—коли к сердцу подвалит, так в ней не волён уж никто!..

Пелагея дрожит, хотела крест на лоб положить, а рука надо лбом так и застыла: старик опять рот широко раскрыл, словно целит на ложку!

— Ты,—так и пылит, так и пылит, словно с веника пыль, борода, — ты, — говорит, — около меня много не майся, мне теперь хорошо, на двор здесь не надо ходить, и за мной выносить тоже не надо... Здесь я лежу в лебяжьем пуху, под головой у меня большая подушка, как облако, мягкая, а под кости подостлан некошенный луг...

Глядит на него Пелагея, а старик чуть с изголовья привстал, да пальцем Пелагею и манит.

— Ты,—словно пыль по дороге от ветра поднялась,—ты. говорит,—ухо поближе подставь: я тебе на ушко!

Нагнулась Пелагея и подставила ухо. Дует Аким шопотом, шелестом губ в Пелагеино ухо, и кажется ей, что меж ними течет сейчас большая река: она стоит на одном берегу, Аким—на другом.

— Кровь человека, как ветер пушинку, несет!.. Кровь баломутит!.. Уйди от стола и с мужем ложись... Рад я, что перед смертью сына дождался: теперь умереть мне за шутку!.. Иди-ка, ложись!.. Иди-ка, ложись!..

Сказал последнее слово Аким, лег опять на подушку и руки сложил на груди, как ему Пелагея сложила, когда убирала по чину...

* * *

Недвижен старый Аким.

Падает синий свет от лампадки ему на лицо, просветленное, тихое, бледное, словно с иконы сошел.

И где вот сейчас Никола-угодник, в гробу под божницей лежит или, как уж сто лет, смотрит только одними глазами с широкой доски с сусальным окладом,—что сон и где явь—понять невозможно!..

Только синий свет от лампадки колет глаза синей иголкой, щекочет ресницы и гонит слезу на щеку.

Приложила Пелагея к сердцу псалтырь, чтоб унялось, Живую Помощь прочла и долго лежала лбом на холодном полу. Потом встала и даже зевнула чуть-чуть—спать от устатка так и тянуло,—отвернулась от свекра и твердо пошла в другой угол у двери, где полог закинут и за пологом тихо: как будто там нет никого!

Подошла Пелагея к пологу, полог откинула, смотрит: Прохор лежит! Пелагея ни со страху, ни с радости кофту и юбку в клочки на себе разодрала: руки тряслись, словно ветки на листопадном ветру, застежки, крючки, как собаки сцепились,—рукой не разнять!

Что дальше тут было, об этом не знает никто, да и нам лучше тоже не знать.

Бес ли очажник над ней подшутил и на подбородок Игнатки напялил мочалку, иль все помере-

щилось бабе с устатку да горя,—что тут сказать, чужое горе, как густая каша—чем глубже ложка уходит, тем больше сала на дне!..

* * *

...Только подпасок Игнатка по утру коров выгонял и шатался, как пьяный, ин бабы смеялись, и так покраснел, когда с прутом Пелагею увидел, что кажется в небе так и заря не горит!

В деревне такие дела до людского глаза доходят несразу, никто ни о чем и думать не мог: все поминали добрым словом Акима!

Стали болтать языки, когда у Пелагеи юбка спереду стала короче и стан—словно у ели срубили верхушку, а сбоку оставили сук. Глядит и сама Пелагея, что дело неладно. От Прохора нету вестей, и слуху нет никакого...

— Ну, хоть на денек бы приехал, пока небольно заметно...

...Полощет она белье на реке, вальком на плоту по рубахам колотит, а сама то и дело на юбку глядит:

— Растет!

Бросит белье колотить и опять спорынью да малину пихать, куда надо, а помощи нету и нету.

— Приедет вот Прохор, пропала моя Пелагея!..

Думает так про себя и в воду глядит.

Из воды иль глубоко в воде синеют две потухших лампады, на осенней ряби двоятся, троятся, лицо в речной воде худое, испитое, бледное, не краше в гроб человека кладут!

Вдоль дубенского берега белые бантики лилий, большие, немного сжелтевшие, с отставшими в бок лепестками от первых зазимков — и так-то похожи они на повязки из атласной ленты, которой когда-то убрала тяжелую косу Пелагея, когда с Прохором шла под венец.

Качаются тихие лилии на тихой волне и понемногу листочки роняют на дно. Уронила слезу Пелагея в дубенскую воду, глядит на белые бантики, и молодость где-то проходит далеко-далеко, в окошко черемушной веткой стучит, с горки катится весенний месяц, а за ним в белой рубахе идет Прохор, у которого в ту пору только-только начиналась бородка.

* * *

...Как раз о ту пору с чертухинской горки поднялась на ветру и завилась в круг серая пыль по дороге. Не видно сперва ни кибитки, ни лошадей, ни дуги над коренником, и только звонки-невидимки звенят и звенят, словно это звенит роща со взгорья, стряхая листы с ветел, осин и берез на дорогу...

Ничего, никого за слезой не видать!

Кто это едет?

Может, Петр Еремеич катит чагодуйского купца, может, и вовсе не он, да и тройки—нет никакой, и купцу в эту пору к нам незачем ехать—разве лен собирать, так он еще не мят и не трепан и лежит вон, словно иконный оклад, возле реки, на самом раскатом берегу, у большого дубенского плеса.

Стоит Пелагея в руке с застывшим вальком на прибережной плотине, другой рукой под глаза; пыль отмело на другой бок на дороге, и тройка Петра Еремеича как на ладони: черный в корню, а с боков гнедая пристяжка!

— Он, он—Петр Еремеич!—долбит Пелагеино сердце...

Пелагея собрала поскорее белье, да к дому. Прогнал Петр Еремеич мимо нее лошадей по селу, и вот померещилось ей, что в кибитке сидят не один и не два, а целых четыре, но кто это— никак нельзя в пыли разобрать.

Сама же и крикнула Марфе-соседке с крыльца на крыльцо:

— Четверо!

— Наверно твой Прохор с Зайцем приехал!— ехидно ответила Марфа.

Пелагея ей ничего не сказала, вернулась в избу и прилегла в углу на залавок у печки.

А сердце так и колотит:

— Приехал Прохор!.. Прохор приехал!

Лажала она, знать, так очень долго, на улицу к бабам не вышла, а в полночь, когда над Чертухи-

ным стояла большая луна, достала с матицы плетеные вожжи, будто за сеном — принесть скотине беремя, чтоб в долгую ночь голодна не стояла, да, выйдя из дому, свернула к Зайцевской лавке.

— Пойду-ка, сама погляжу! Прохор, наверно, узнал и нарумянился с Зайчиком пьяный!

Прокралась Пелагея, как тень, по селу, на селе в такой час трудно и так кого встретить, но Пелагею безлюдье и тишь еще больше пугали.

Добралась она до дому с вожжами в руке и прильнула к окну. Сквозь мутные стекла видит: в углу лампадка горит, в постели кто-то лежит под лоскутным одеялом, а рядом на стуле сидит ее Прохор: головою поник, руки на обе коленки, думает, будто свое горе никак ни понять, ни измерить не может.

* * *

А сидел это Митрий Семеныч, в постели храпела Фекла Спиридоновна, ничего ни во сне, ни на яву не видя с устатку да радости: Зайчик в побывку приехал!

Митрий Семеныч не спал, да и спать ему не хотелось: не сразу уложишь день в голове по порядку!

Думает Митрий Семеныч о сыне:

—Неладно, неладно, — шепчет Митрий Семеныч,—неладно все это скрутилось!

Уставился Митрий Семеныч в окно, в которое ветки склонила рябина и будто с месяца тянет поспевшую кисть.

Не разглядел Пелагею Митрий Семеныч в окне, может, Пелагеины красные, пылавшие в жару и бреду, округлые щеки принял за грозди рябины и не заметил воспаленных страхом и тревогою глаз.

Пелагея же так и прилипла глазами к его бороде. На Прохора Митрий Семеныч с лица хоть и не схож, да все мужики с бородой для бабы всегда немного похожи. Только Прохор с сильной рыжиной, а Митрий Семеныч черный, словно цыган, несмотря на лета.

В мутном стекле, где мухи кружками уклались на осень спать и паук растянул над ними паутину, чтоб с первым их пробуждением весной они и его разбудили, сквозь паутину и мушьи дорожки едва ли могла Пелагея, окромя бороды, еще что разобрать.

— Прохор!—сказала она и от окна оторвалась. Рябина над нею качнулась вершиной, ветер отбросил ветки и вверх заломил,— нарвал листьев с самой верхушки и всю Пелагею осыпал — взвил юбку и холодом обдал живот...

Скрылся месяц за тучу и все: звезды, Пелагею, бакалейную лавку, рябину, простершую косы и руки на ветер, Чертухино, избы и церковь поодаль села — накрыло черной рукой.

ВИДЕНЬЯ ДЬЯКОНА ОТЦА АФАНАСИЯ

Странные подчас штуки творятся с людьми. Так все кто-то запутает, свяжет концы и начала, что жизнь станет похожа на длинную нитку, очень долго лежавшую на дне большого кармана, и если ее вынуть оттуда, то и на нитку она не будет похожа,— станешь распутывать и не распутаешь ниточный катушок, пока не положишь его в воде полежать, выпустить усиком кончик, откуда и весь узелок.

Так и в истории с Пелагеей Прокофьевной.

Много прошло времени, и много воды утекло, пока из под вешнего снега на будущий год не показался разгадный конец, который держала Пелагея в застывшей и посинелой руке, лежа на опушке чертухинской рощи под кустом горькой калины.

Слухи же шли про Пелагеин конец всю осень и зиму.

Не знаю, кто их, как мух за оконные стекла, напустил в бабьи пересуды и толки, только можно теперь сказать без ошибки, что пошли они действительно от нашего, своего села Чертухина, дьякона отца Афанасия...

Отец Афанасий в тот день ездил в город Чагодуй за овсом.

Прослышал он, что там на четверговом базаре очень дешев овес, а в полночь с хмельком, но без овса и без денег возвращался чертухинской рощей

домой, уткнувшись в передок телеги и душу свою поручив в этой дороге бывалой кобыле Гнедухе.

В тот же день и Зайчик приехал.

Отец Афанасий разминулся с ним, должно быть, в дороге потому, что выехал еще утром рано и гнал Гнедуху так, что на ляжках у ней набилась в пути белая пена: приехал он в Чагодуй, когда еще и базар не открылся.

Походил отец Афанасий, пошнырял, кой-кого расспросил, видит, что вовсе не так уж дешев овес.

— Ишь, ведь, что наплетут,— горько думал дьякон,—вовсе незачем было гнать за десять верст за дорогим киселем.

Видит ошибку свою отец Афанасий и решил ошибку эту разгладить, чтоб было покойней на сердце и выгоды больше.

Встретил он на базаре, как раз уж теперь и впрямь не во сне, как это с Зайчиком было, а в самом живом его виде, рыжего дьякона с Николы-на-Ходче, который шел шатаясь, как жердь на колодце, по базару и, видно, тоже кого-то искал.

Известно, что бывает у двух дьяконов, которым церковь давно надоела, как нашему брату репа за чаем, да притом же: один шел и шатался, а другой приехал овес покупать, прослышав дешевые цены, а цены-то были, напротив, тугие...

Долго ходили два дьякона рядом, прицениясь ради важности то к тому, то к другому, друг на дружку при этом остолбенело глядели:

— Не купить ли, отец Афанасий... хомут? — таращил глаза дьякон с Николы-на-Ходче.

— Да мне бы... тоже надо седелку! — не раз уж заботливо отвечал ему отец Афанасий.

Но, видно, на хомуты и седелки цены были неподходящи, а потому забрели оба дьякона на базарный приселок и туда потом загнали подводы чтобы вместе животину поставить и досмотреть ее на постоялом дворе.

Что дальше тут у них было, из скромности дьякон отец Афанасий по возвращеньи ни гу-гу не сказал, а только под вечер оба они: дьякон с Николы-на-Ходче, как приехал в пустой телеге, так и поехал дорогой на Ходчу, значит—одною дорогой, а дьякон отец Афанасий с пустыми мешками—другой, в ту же сторону, только много левее, на наше Чертухино,—у дьякона отца Афанасья бездонный из розовой байки карман долго болтался наружу, пока отец Афанасий его не заметил и не запрятал, сказавши, теперь уж тоже немного шатаясь, отчего—неизвестно:

— А седелку-то зря, говорю... зря не купил... овес—тот очень дорог!

Так рассуждая, отец Афанасий кой-как выправил лошадь, подтянул супонь, проехал приселок, твердо сидя в телеге, а как увидал, что Гнедуха пошла, словно сонная, шагом, свесивши морду и с морды губу с зеленой от сена слюной, так и лег в передок, накрывшись с головой ватною рясой, и дальше, что было в дороге—не помнит.

* * *

Гнедуха была дорогая кобыла.

Знала она эту дорогу лучше, чем дьякон отец Афанасий псалтырь, и шла всю дорогу спокойно, ни разу нигде не трухнув, ни о что не задев, и к нашей чертухинской роще поспела, когда уже смерклось...

Заря завалилась под облак над лесом, Гнедухе показался тот облак похожим на очень большие ясли, набитые доверху сеном, кошеным в дурную погоду и потому не зеленым, а исчерна-желтым и дух полевой потерявшим, а заря — на нее самое, но только в самые ранние годы: помнит она, как однажды, катаясь на спинке широким двором, чтобы размяться, она завалилась ногами под ясли и так до утра пролежала, а утром дьяконица Марфа Петровна и дьякон отец Афанасий долго тащили ее за хвост из-под яслей. В таком размышлении Гнедуха почти всю рощу прошла, едва переступая с ноги на ногу, и только, когда засветлела опушка, она вдруг уши подняла торчком, потом опять приложила, потом опять подняла, потом, вытянув их, как у зайца, спугнутого с лежки возле дороги, вдруг отпрянула вбок с храпом и прытью, для ее лет небывалой.

Дьякон отец Афанасий сковырнулся сразу с телеги, так как за долгий путь из передка от'ехал к самому краю, и долго стоял, протирая рясой глаза и не видя, где — в какой стороне дорога, где Гнедуха и эта телега, с которой он повалился и носом попал в колею...

Разобрался во всем дьякон отец Афанасий, когда вдруг за Чертухиным такая из туч пошла перегромка, какой и средь лета не слышал никто.

Потом сквозь сучья на самой опушке сверкнула ярко-зеленая пика, воткнулась в пашню острием и в землю ушла.

Будто это перед утром на черном-черном коне, а не на белом, как на иконах рисуют, ехал чертухинским вспольем Георгий и гнал по нему пикой черного-черного змия.

Дьякон отец Афанасий крест хотел на лоб положить, да так щепотью лба и не тронул: впереди шел человек...

Человек был высокий, гораздо выше кустов, стоявших сбоку возле дороги, с большим животом, и шел он не по дороге и ноги на землю не ставил, как все, а шел аршина два над дорогой, а сам за веревку держался, правда, не двигаясь с места.

Веревка свисала со старой осины, которая протянула сук на дорогу, как руку с широкой ладонью, а в ладони звенят на ветру пятаки и семитки, что ей набросали за долгий век купцы из Чагодуя, проезжавшие к нам чертухинской рощей, и богомольцы, что в Бачуринский монастырь сходились в Петровки в старое время без счета...

Дьякон отец Афанасий направил Гнедуху опять на дорогу, под гривой у ней погладил, чтоб не пугалась, окликнул два раза того, кто шел над

дорогой, держась за веревку, потом, раскумекав в чем дело, Гнедуху повел под узду.

Глядит дьякон отец Афанасий: никто и не шел по дороге, да мало ли ночью что померещиться может, — а висит это баба, совсем почти над самой дорогой и, если не снять ее с дряхлой осины, так даже, пожалуй, совсем не проедешь в широкой телеге, — в том месте возле самой дороги стоят высокие пни и коряги от сваленных в бурю когда-то деревьев, и дорога идет коридором по зарослям, мелким и частым, как нитки в непочатом стану.

Привязал дьякон отец Афанасий Гнедуху на повод, а сам стал искать, где кончик от этой веревки, на которой болтается баба.

А кончик был на стволу у осины, немного повыше, как в пояс ему, и был он завязан умелой и твердой хозяйской рукой.

Дернул дьякон отец Афанасий за конец, осина немного качнулась, и хрустнули сучья, Гнедуха рванула с испугу вперед, а баба в то время упала с веревкой на шее прямо в телегу.

Дьякон отец Афанасий едва успел вскочить на закорки да вожжи в руки забрать от Гнедухи, чтоб в колесо на скаку не попали и на бок старой дуре башку не свернули. А Гнедуха несет и несет и бьет копытом по оси.

Еле сидит дьякон в телеге, ряса разметалась на ветер крылом, так ему в бок и полощет, а тут еще град посыпал, стуча по телеге, по бабе с большим

животом, по Гнедухе, которая словно в конец ошалела на старости лет, сбилась, видно, сразу с испугу с дороги и понесла, сначала по пашне вдоль чертухинской рощи, а потом заломилась где-то в кусты, зацепила, должно быть, за пень, свернула на бок телегу и снова бабу сначала свалила, а на бабу потом полетел и дьякон отец Афанасий.

Кой-как дьякон отец Афанасий телегу от пня отцепил, Гнедуху под гривой погладил и взял ее опять за узду, а баба—то ли забыл назад ее положить на телегу отец Афанасий, то ль не хотел,—осталась лежать под кустом, положивши под голову руки, которые у нее сами так подвалились, когда она упала с телеги.

Проплутал так с Гнедухой своей на узде дьякон, должно быть, до самого утра, об'ехал как-то кругом все наше село и, на самом рассвете, на еле шагавшей Гнедухе ввалился в Чертухино, но только с другого конца, чем это было бы надо.

Как тут носило его—и понять невозможно.

У нас есть такие места, куда и днем-то свернуть не каждый решится...

Только в'ехал дьякон в село, только крыльцо свое разглядел, как с него, заждавшись дьякона с чагодуйским овсом, дьяконица Марфа Петровна вышла и поплыла навстречу супругу гусыней...

Какой у них был разговор, никто не слыхал, потому и рассказать о том невозможно.

Дьякон потом все это, как только можно было подробно, об'яснил отцу Никанору, а тот своей попадье, а попадья уж потом по селу распустила язык...

Попадья каждый раз от себя прибавляла все новые, с каждым рассказом, прибавки, одна другой почуднее. и в середине зимы, незадолго до святок, когда в долгий вечер сидят и не знают, что сделать, чтоб покрепче, поскорее заснуть и до бела не проснуться, у ней эта история была хоть куда.

И все это так выходило:

Когда Марфа Петровна подошла к своему дьякону, так немало сначала сама испугалась. В телеге не видно не только мешков, набитых дешевым овсом, но и самих-то мешков было не видно. Дьякон сидел в телеге без шляпы, и хвостик косички был весь в какой-то липучей и мерзкой грязи, ряса вся тоже, а сзади телеги тащилась большая веревка, и на веревке болталась мертвая петля.

Марфа Петровна, будто, на улице слова ему не сказала, видит, что с дьяконом что-то случилось, и даже подумала, что дьякон совсем не в полном рассудке и смотрит на Марфу Петровну, как видит впервые, проживши с ней сорок три года...

Расспросы начались у дома.

— Дьякон, где же овес?

Дьякон долго молчал, глядел исподлобья, потом вдруг весь просиял и Марфе Петровне на вопрос ее, будто, так отвечал:

— Марфа Петровна, дорогая супруга моя, говори слава Богу, что дьякон твой отец Афанасий вернулся живым и теперь стоит у дома, слава Богу, родного...

Тут он Марфе Петровне все рассказал по порядку: как он с утра в Чагодуй собрался, как в Чагодуе ходил по базару и искал дешевый овес,— сначала, де, все дорожились, потом цена схлынула, как с поля вода по весне, обчистил он с мерой какую-то дуру и, овес погрузивши в телегу, напился чаю на постоялом дворе, а напившись чаю, тронулся в путь.

Но не проехал он и версты, как колесо обломилось,—вернулся, значит, назад, починил колесо у кузнеца Поликарпа, что держит кузницу у самой дороги, отдал ему два мешка овса за работу и к вечеру только тронул обратно.

Но тут-то все и случилось.

Только он чертухинской рощей проехал, только в опушку Гнедушка вошла, слышит:

— Стой!

Стоит какая-то баба с веревкой и за узду держит Гнедуху.

— С чем едешь?—спрашивает баба с веревкой.

— Овес везу,—дьякон с перепугу ответил.

— Врешь!—говорит баба с веревкой, да веревку петлей дьякону прямо на шею, — фальшивые деньги везешь!

Вот, пес ее раздерет, откуда у дьякона фальшивые деньги?..

Дьякон, конечно, кричать, веревка кричать не дает, Гнедушка начала бить с перепугу в телегу пятами, баба Гнедушку за хвост, Гнедушка от бабы, ну и катались так у опушки, пока дьякон не догадался и овес с телеги сам не свалил прямо на землю под ноги бабе.

Баба тотчас отстала, взвалила себе три мешка сразу на плечи и, шут ее знает, куда понесла, а дьякон стал охаживать лошадь и дорогу искать.

Искал, искал, да вот и нашел ее, только с другого конца.

Марфа Петровна диву сначала далась, жалела и охала, холодную воду в волненьи пила, а потом, когда дьякон заснул на кровати, словно убитый, она подошла и понюхала, чем это так разит от него из-под самого носа.

О чем говорила с ним дальше Марфа Петровна, нам неизвестно, но тут в руках у нее осталась одна половина косички, а у дьякона отца Афанасия от неизвестной причины под глазом повис большой синий фонарь.

Так у нас на селе, положим, не только одна попадья, а потом и все говорили,— но где Пелагея, никто до весны и не сведал.

Ходили искать — не нашли: уж больно боялись этой веревки с мертвой петлей на конце, с которой дьякон поутру сзади телеги в'ехал в село.

А пока изба Пелагеи стояла пустая, на окнах сосед доски набил, на которые часто поутру взглянет подпасок Игнатка, постоит немного у окон, а потом отвернется и стадо погонит на выгон, щелкая длинным кнутом.

АНТОНОВСКИЕ ЯБЛОКИ

Проходил этот день Зайчик, как в тумане, из угла в угол по горнице... Письма матери велел разнести, а сам отговорился нездоровьем. Несколько раз заходил в горницу Митрий Семеныч. Войдет, сядет на табуретку и ничего не говорит, в руках ключи от лавки держит, словно боится их потерять, и Зайчик ничего не говорит—только по горнице ходит, о чем-то кумекает, а Митрий Семеныч сидит, молчит и смотрит на сына.

— Ты, Микалай, пожалуй уж теперь-бы до Чагодуя дошел, – скажет только заботливо Митрий Семеныч,— полежи-ка лучше, ноги еще пригодятся.

— Нет, батюшка, я ничего, — ответит Зайчик, а самого так темной пеленой и подернет.

Не хотелось Зайчику, чтобы хоть догадкой узнал отец, какие ему сны стали сниться. И страшно Зайчику от этих снов, и знает Зайчик, что будет холодно и пусто в душе, как в глубоком колодце, если уйдет из этих снов Клаша, если порвется нить, идущая от явного сна к яви.

Путает эта нить концы и начала в жизни и делает ее похожей на сон.

Митрий Семеныч без слов понимал, отчего это такие круги у него под глазами, словно кто под ними углем прочертил: известное дело, присуха! У парня выхватили, можно сказать, девку из-под самого носа.

— Ты, Микалай, себя береги, — сказал Митрий Семеныч и вышел, так и не чуя, что долго теперь он не увидит любимого сына, не сядет с ним чай распивать, и Чайный король не будет спешить поутру устроить Зайчику пышную встречу в своем королевстве.

Вскоре и Зайчик вышел на улицу, ничего никому не сказал, а мать, хоть и встретил, так кинул ей на ходу, что идет навестить отца Никанора и так, вообще прогуляться... Да так на самом-то деле и думал.

— Поди, поди, погуляй, ветром голову лучше раздует, как рукой снимет устаток,—пропела ему Фекла Спиридоновна вслед.

* * *

Зайчик идет, немного шатаясь, немного согнувшись, в глазах избы так и клонит к земле, и еще больше похожи серые кровли на крылья, которые птицы сложили, севши средь поля на корм, но при первом сполохе готовы их снова расправить, хлопнуть ими три раза и подняться высоко-высоко, куда ни стрела, ни копье, ни пуля уже не достанут...

Теперь не узнаешь Чертухина...

В этот час раньше на улицах всюду сидят молодые мужики под окном, ребята в свайку играют иль дуют в лапту, парни и девки на выгоне ходят хороводами, а тальянка Ваньки Комкова так и задыхается своей бумажной сборчатой грудью.

И избы как-будто слушают, как молодые хозяева песни поют. Слушают избы ушами застрех и крылечек, радуясь их молодой и беспечной судьбе, заранее зная и чуя ее немудрую тайну: вот отцы сыновей переженят, выдадут замуж девчат, и тогда все пойдет по-другому.

— Молодость, молодость... Всякий бывал молодым... Знать и дана ты только на то, чтоб потом, когда все уже минет, о тебе вспоминать и жалеть, что прошла ты и назад не вернешься...

На улицах безлюдье.

Не видно даже псов и свиней, которых раньше в Чертухине много водили.

Встретился Зайчику дядя Прокоп, но Зайчик еле-еле узнал, кто это ему шапку снимает.

— Микалаїі Митричу, с приездом,—говорит бородатый Прокоп, идет с ним рядом, толкует ему, что старшего сына убили, второй провалился сквозь землю—ни духу ни слуху вот уж три года, а третий — где-то там на Кавказе, куда и на лошади трудно проехать: писал он недавно, что жив, а что будет дальше—страшно сказать и страшно подумать...

— Известное дело — убьют, — сказал Прокоп Зайчику, а тот вперемежку и думал и слушал Прокопа и только, когда последнее слово Прокопа услышал, так хорошо разглядел, словно до этого вовсе не видел, что рядом шагает Прокоп, в одной руке палкой чертит по дороге, а другой держит его за рукав и чай пить зовет завернуть.

— Нет уж, Прокоп Парамоныч, пойду в лес погуляю... Так неужели и Ваньку Комка?..

— Да, Микалай Митрич, глушат, как рыбу по льду... Слышали, матерь-то божья?.. Накинула петлю и с петли в лес убежала... Чудно...

Зайчик вырвал рукав у Прокопа, ничего не ответил ему, но очень опять побледнел и зашагал от него, словно тот оскорбил его чем и обидел.

Прокоп постоял, клюшкой своей по земле почертил, посмотрел вслед, ничего не понявши в этой поспешности Зайчика, отвернулся и равнодушно зашагал домой, краснея в вечернем закате красной дубленой шубой из новой овчинки.

Издали Зайчик на миг обернулся на старого дядю Прокопа, а он уж стоял под окном и говорил со своей невесткой и горько качал головой, показывая вслед ему палкой...

* * *

К дворовым воротам, резным крылечкам, на завалки под низкими окнами изб так и било вечернее солнце.

Пожелтелая, чуть трепетавшая в тихих ветровых погудках листва, нехотя будто, падала к окнам и дверям, сучья выше поднялись, сбросивши листья, и только изредка кой-где на самой вершине, на веточке, как нарисованной в синей прозрачной осенней прохладе, листок:—аль это поздняя бабочка села и крылушки греет и крылушками так и трепещет, словно хотела бы вот улететь, да уж поздно: скоро наступит зима...

Зайчик идет по селу.

С гумен за селом так и тянет дымком от снопов, пропотелых на жниве и в скирдах, сбоку села стоит большая сельская рига, у риги ходит с Серком дяди Прокопа их Музыкант, вертят они машину, под навесом клубами вьется пыль от зерна, а солома так и валит щетинистым валом на ток,—ходом идет молотьба, выдался урожайный год, и все поспешают скорее с поля убраться, зерно на базар отвезти и сыновьям и отцам отослать побольше гостинцев в окопы.

Смотрит Зайчик на эту работу, у самого давно нетруженные плечи так и зудит.

— Эх, теперь бы складать солому в ометы, ток по заре огребать, да ворочать мешки на телегу: выправить кости, спину размять!

Не до того теперь стало, сердце облито угрюмой думой, и смерть, словно сторож, и здесь не отходит от сердца, все время, как сторож, стоит и гремит своей колотушкой.

Зайчик прошел по гумнам, за гумнами видна ограда по скату, а сбоку стоит дом отца Никанора, дом обнесен резным палисадом, окна в налишинах, хитрых и тонких, как кружева, наплетенные в приданое Клашей, — дом красной краской окрашен и тесом обит, а по тесу налишины—белой.

В окнах солнце заходит, а у припертых ворот в палисад лужу ледком затянуло, и по ней так и брызжет вечернее солнце: словно под'ехал вот к попову дому витязь чудесный и знатный, сбросил поспешно у входа свой шлем и щит золотой, пику к косоногой яблоньке приставил, а коня в серебряной попоне в лужайку подальше пустил— там над Дубной на пологом уклоне к воде затевает осенний туман ворожбу, густеет вода, чернеет под вечер, как стоялое сусло, готовясь подернуться к утру по берегу тонкою кромкой...

Зайчик вошел в палисад.

Отец Никанор сидит с своей попадьей под яблоней в самой яблонной гуще на желтой скамейке и, только его увидал, взглянул на попадью из-под шляпы с большими полями и поднялся навстречу.

— Зравствуй, здравствуй, гость дорогой.

— А мы вот сидим с отцом Никанором и о тебе говорим: чтой-то, де, к нам не зайдет... приехал, чин получил и носу не кажет, совсем уж наш Коля зазнался...

Зайчик руку отцу Никанору пожал, попадья подошла и по лбу ему языком провела: Зайчику так

показалось, у попадьи были всегда словно мокрые губы.

— Неможется очень. То ли с дороги, то ли не спал.

— Да и верно: круги под глазами, и цвет у лица нехороший... За ворот не льешь ли без меры?

— Не пью!.. Много не пью!..

Зайчик вздохнул, достал папиросу, отцу Никанору одну протянул и долго не знал, о чем бы спросить и как бы спросить незаметней, узнать и поскорее уйти...

— А мы третьеводни Клашу проводили,—говорит попадья и на Зайчика смотрит...—Ты ничего, ведь, не знаешь?..

— Слышал,—тихонько Зайчик отвечает.

— Ну, и ладно—значит, дело обмялось,—весело говорит отец Никанор, положивши на плечи Зайчику руку:

— Такой молодец да красавец... Да я, Микалай Митрич, и чьхнуть-то подумал бы...

— Полно, отец, и Клаша наша небось не урод...

— А я разве хаю?.. Вот, я говорю, что обмяться пора...

— Пора бы,—вздохнув говорит попадья,—почитай третий год уж идет.

— А муж кто у Клаши?—шепчет Зайчик и в землю глядит.

— Супруг совершенный,—гудит отец Никанор и снова пыхнул папиросой.

Яблонька низко нагнулась, свесила ветку и прямо отцу Никанору в колени на рясу сронила два крупных яблока, налитых с краев душистым соком, и с легким, едва уловимым, румянцем... Зайчик смотрит на яблоки, смотрит на этот румянец и вспоминает далекие годы, когда от стыда и смущенья, что на щеках непривычный первый пушок, и в зеркало страшно взглянуть,—а взглянешь, увидишь чужое лицо: в первых порывах сердце сторонится всех, таится от посторонних глаз и от себя самого.

Зато в лесу где-нибудь можно глядеть и глядеть на себя, сколько захочешь...

Там никого не стыдно, и румянец на щеках в темной воде похож на скрытый румянец созрелых антоновских яблок, его никому не видно, его заметит лишь тот, кто яблоко первый раскусит...

Глядит Зайчик на яблоки, себя вспоминает года четыре назад, ходьбу с Клашей по ягоды, по грибы и робкую первую тайну, теперь очевидную всем и может даже смешную для всех, потому что едва ль ее у кого не бывает.

Только она теперь для Зайчика страшная, страшнее напасти и смерти, ибо раскушенный яблок на ветку назад не повесишь, а две половинки не склеишь: большего горя у юности нет и едва ли бывает!

— Хорошо еще,—думает Зайчик,—что не рассказала всего: а то уж и посмеялся бы, наверно, отец Никанор!

— Муж Клашин купеческий сын... Из хорошего дома... Два дома в Чагодуе и самых-то лучших... Два в Питере...

— И четыре в Москве,—басит, взявши бороду в рот, отец Никанор,—богатей!

— А какой речистый: так вот и льет,—говорит попадья, расставив перед Зайчиком руки.

— Поставный... Поставный... У Клаши, ты знаешь, двойня была...

— И тоже, должно быть, опять: была у нас так с утра до самого вечера, что ни поест, все наружу...

Зайчик стоит, повернуться не может, не может уйти, смотрит то на попа Никанора, то на попадью, Марью Иванну.

— Нет, нет,—думает Зайчик,—все это неправда, и может ли это случиться, хоть все и за то, что никто не приврал и полслова.

Но странно, и раньше, как только Зайчик узнал обо всем стороною, он сам себе так и сказал: не поверю! Да и как тут поверить?!

Для него попрежнему Клаша гуляет в белом со сборками платье, смеется лукаво ему где-нибудь из угла, в глаза поглядит, улыбнется, и Зайчику больше не надо ни знать ничего, ни расспрашивать,—он верил, что Клаша не может так ни себя, ни его погубить, тайно повенчавшись с ним в свете и духе, на вечную любовь и вечную верность!

— Не верно,—шепчет Зайчик и глядит в глаза отцу Никанору и рядом с ним—попадье. Попадья

глупо заморгала на отца Никанора глазами, взяла два яблока, упавших с антоновки, и ему в карманы сует, один даже в конверт завернула:

— Уж больно налился, так губы и тонут...

— Прощайте,—Зайчик сказал, приложился к фуражке по-военному, как-будто не поп Никанор перед ним, а наш ротный, и это не Марья Иванна в темном платочке и с мокрой губой, а гнедая кобыла капитана Тараканова Палона Палоныча—Щука,— слез он с нее, треплет по гриве и строго на Зайчика смотрит:

— Ну, что, господин зауряд, дела, видно, совсем никуда не годятся?

— Милости просим еще,—попадья говорит, отец Никанор одною рукой за шляпу, другую—ему, но рука у него так и осталась недоуменно висеть, потому что Зайчик уж вышел в калитку...

Чудесный витязь коня из Дубны напоил, шлем золотой и золотой щит с земли подобрал, пику от яблоньки к стремю приставил и вон уже скачет теперь по опушке чертухинской рощи, машет на ветру белой покрышкой коня, и конский хвост и конская грива о деревья полощет, да и сосны и ели, березы и ивы, словно нагнулись над дивным конем и его седоком лучезарным, тянут сами ветви к нему, кидают охапкой листья на шлем и на латы...

Зайчик на поле вышел и большими шагами направился к роще.

ЗОЛОТОЙ ПОКРОВ

...Зайчик подошел к чертухинской роще, когда на небе в синий облак уткнулись большие рога от зари. Зайчик снял хронтовой картуз, того же цвета, как и сохлый луг под ногами, и долго стоял непокрытый на лесной перекличке. С березы, немного сбежавшей с опушки на луговину, рябиновый дрозд окликал, мотая строго хвостом и кивая довольно головкой:

— Хорошо, хорошо, что за день остались все целы.

И кажется Зайчику, что сейчас он совсем не в лесу и что береза с дроздом на верхушке,—совсем не береза, а на ротной поверке стоит это Иван Палыч в желтой гимнастерке, только не строгий, а заботливый, тихий, и лес построен сплошными рядами и задних рядов не видать.

— Зайчик,—кричит рябиновый дрозд.

— Здесь!—Зайчик ему отвечает.

Дрозд на него посмотрел искоса с вершины березы, три раза мотнул хвостом и головкой, а потом отвернулся и дальше зачастил.

Потом дрозды все сразу поднялись, повились немного над этой березой и с радостным криком упали в лесную утробу.

Зайчик фуражку надел, улыбнулся и дальше пошел по тропе, по которой старый леший Антютик когда-то прогнал крупных зверей на новое место.

Идет он заклятою тропкой, с лица у него долго не сходит улыбка, а с неба заря как-будто тоже не хочет сходить.

Пылает заря все ярче в полнеба и облак, недвижимо повисший над лесом, то золотом весь обольет, то обовьет его зеленою, синей, бордовою лентой с узором прозрачным и еле заметным для глаз.

Зайчик так счастлив, что сейчас в лесу нет никого.

Никого он не встретит, никто не увидит его, и он никого не увидит.

А шел он посидеть немного под густою елкой, где Фекла Спиридоновна, сбирая когда-то малину, в малине его родила. Хорошо у своей колыбели, под этой густою елкой, посидеть ему и подумать: до края наполнено сердце, и жизнь вся разломлена, словно краюха, на равные половины: одна половина у Клаши в белых руках, а другая... Зайчик об этом сейчас и подумать не в силах и вспомнить страшится!

Хорошо итти по тропе и вспоминать, что по ней пробегли когда-то медведи и лоси, за ними с большой дубиной в руке—леший Антютик...

* * *

На небольшом повороте опушки Зайчик вдруг услыхал, что кто-то, кроме него, тоже по лесу идет, но только другою тропинкой.

Ходят по этой тропинке девки и бабы за первозазимошной клюквой на Светлые-Мхи.

Зайчик присел на пенек у тропы и стал дожидаться: в лесу—не на улице в городе, все интересно, кто идет, кто прошел, — ждешь человека, издалека учуя шаги, ан выйдет тебе на дорогу навстречу такой, как Антютик,—не зверь он, не человек, не мужик и не баба, а вместе как будто и то и другое.

К тому же Зайчик, услышавши шорох в лесу на куманичной тропе и вспомнив рассказ поутру Феклы Спиридоновны про Пелагею и нашего дьякона отца Афанасия, сперва немного струхнул, а потом охрабрел, заслышав в вечернем шорохе леса унылую, тихую песню. От этой песенки у Зайчика сразу пошли круги пред глазами, а в сердце полилось тепло.

Зайчик не раз мне говорил, что он сам эту песню с тоски да скуки придумал, а запеваха-Марфушка ее переняла у него; может быть, Зайчик сам ее где-нибудь, шатаясь по белому свету, услышал, запомнил и в нашу округу пустил—почем знать, да и знать нам не очень уж нужно:

Я ли да у мамоньки, как в ночи луна.
Как луна высокая и всего одна!
Я ли лен не выпряла, не доткала стан?
Я ль дружка упрятала от тебя в чулан?
Спрятала, расстрогала, довела до слез—
Много слез у мамоньки, а у ночки звезд.

Дочка ты у тятеньки, как в ночи луна,
Ночка чернокосая и всегда одна!
Ты и лен-то выпряла и доткала стан,
И дружка не прятала от меня в чулан:
Твой дружок с позиции нам письмо привез—
Много слез у мамоньки, а у ночки звезд!..

Зайчик смотрит на Марфушку сквозь ветки и сучья, пригнувшись к земле: идет она теперь вдали по дороге в село, и у ней за спиной большая севальня, полная первым морозом тронутой клюквы и яркой, как бусы, брусницы.

Марфушка эта—рябая, кособокая девка с большими ногами, шили ей сапоги на одну колодку с отцом, к тому же лицо у Марфушки было такое, как будто вчера за него задела телега и все налево его своротила.

От Марфушки, как от чумы, бегали парни, хотя она и не липла, хорошо разглядев свой вековушный шесток. Одна была украса у этой Марфушки: звонкий и нежный – поищи по округе другого, не сыщешь—девичий голос.

Не заслушаться им, не загрустить от него было нельзя никому...

Хотел было Зайчик Марфушку окликнуть, клюквы попросить и сказать ей, что больно она поет хорошо, но раздумал — не хотел бедную девку конфузить; идет она, согнувшись старухой, казакин весь в отрепьи и перехвачен толстой веревкой, а на ногах, завернутых в тряпки—коты...

К тому же, и в самом деле в семье у них было неладно: отец с полгода тому, поехавши в отпуск, домой не приехал, куда подевался неизвестно, как в воду пошел, пропал человек: ни слуху ни духу.

Зайчик поднялся с пенька и к заветной ели пошел по тропинке.

— В песне,—думает он,—черноокая, в жизни—кособокая...

И кажется ему, что и сам-то он похож на эту Марфушку: за него тоже задела телега, и Зайчик проходит в человечьем лесу, на одно ухо лишь слыша и видя на один только глаз—но так он больше видит и слышит.

* * *

На крутом повороте ели и сосны уходят в густую чащу, и на опушке толкаются, упираясь сучьями в пышные бедра и груди друг другу, лесные вековухи — голенастые липы, шумихи-березы, ивы-плакучие вдовы и с знойным румянцем на щёках солдатки осины. В ветвях, то грустно опущенных с самой вершины, то заломленных в безысходной тоске и отчаяньи кверху над головою, глубока-глубока синева.

И не поймешь: ветки ли это уплыли, оторвавшись от сучьев, как от причала, в бездонную синь и и там в глубине листву отряхают, иль синева на

ветви упала, не удержавшись в непостижимой выси на листопадном ветру.

По лесу идет шум и затаённый звон, как будто в чаще густой и далекой стоит невидимо для глаз лесная обитель, где сейчас отходит лесная вечерня, и старые колокола, висящие на суку у столетней сосны, чуть колыхнул ветерок...

И старцы на паперть выходят, и посох в руке их ведет беседу с подсохшей землею, стуча об нее острием, и староверский люстрин на подденках у них шумит на ходу, как осенние листья.

Скоро будет густая елка.

Зайчик к ней подоспеет еще до последней зари — заря висит осенью долго потому, что солнце с неба падает вкось и не сразу в землю уходит, а катится, как колесо, по хребтине, где край у земли, а за краем небесная пустошь и голубой луг с золотыми цветами: в полночь цветы срываются с веток на тихом запредельном ветру и падают сверху на землю, чертя над землей золотую дугу.

И странно Зайчику, что сердце так беспокойно. Прыгает сердце в груди, как белка по игольным сучьям, завидевши в наземных ветках воронье гнездо — охотничью шапку.

Предчувствует сердце само лихую минуту, в эту минуту оно вздрогнет и обольется кровью сверху донизу.

И сердце вздрогнуло...

* * *

Зайчик хотел сперва закричать и бежать назад на дорогу: невдалеке, в стороне от опушки, под низкорослым кустом лежал человек.

От неожиданности или испуга Зайчик не мог разобрать, мужик это лежит или баба, но потом, когда в глазах прояснилось, он робко увидел открытую грудь в разорванной кофте и юбку в причудливых клочьях, взбитую возле белевших колен, словно черная-черная пена.

Стал Зайчик вглядываться и опасливо подходить, но лицо было закрыто растрепанной по сторонам косой и веткой, положившей на лоб румяную, как на огне раскаленную, кисть.

— Пелагея!—невольно вскрикнул Зайчик, откинувши косу.

Но никто ему не ответил.

То ли по лесу еще тороплывей листья падали с деревьев, шурша, то ли дышала высокая грудь Пелагеи во сне—не поймешь: вдали прокатился его отголосок:—Пелагея!—и замер в барсучьей чаще.

— Пелагея,—шепчет Зайчик, будто не хочет уже разбудить, понявши, что впрямь, может, ночью сегодня дьякон отец Афанасий встретил ее на дороге в чертухинской роще, но только совсем по иному все было, ничем, как рассказывал дьякон.

* * *

На Пелагеиной шее, которую в ин-времена держала она словно лебедь на озере,—синим кольцом завилась змея. Мертвая петля эту змею повязала на белую кожу и в давешней тряске сперва разошлась, а потом совсем при падении скинулась с шеи. Остался только кровавый подтек, как змея—след от петли, да во рту был прикушен немного язык, и в пушистых ямках у чуть посиневших губ застыла смертная пенка.

А так Пелагея лежала, словно живая.

Глаза были закрыты; брови пушились, как две сережки с плакучей березы, и золотились ресницы в еще неугасшем свете зари. И только на белых коленях, у ляжки, зияла припухшими складками рваная рана, и в ране с янтарною кровью смешалась колесная мазь,—дьякон отец Афанасий, когда выправлял телегу с Гнедухой, задел Пелагею, должно быть, скрененною осью и острой чекой от оси оставил о ночной встрече с чертухинской божьей матерью глубокую мету и след.

Прикрыл Зайчик колени и вздутый живот разорванной юбкой, повернул Пелагею лицом на зарю, а руки так и оставил под головой: так больше на то походило, что спит Пелагея под горькой калиной на пожелтевшей осенней траве, а вот—отдохнет немного—и встанет сама, и вер-

нется домой, и сядет чинно под окна, чтоб видели люди живот и промежь себя говорили:

— Пелагея родит...

Чтоб думали все про себя, что Пелагея вернулась на землю, сошла с голубого крыльца, пришла к родному дому и хочет быть матерью не в бесплотном сне и уединенной молитве, а перед людьми, на яву...

На лице Пелагеи покой и страданье, свет неизбывный и неизбывная скорбь.

Зайчик на землю припал и заплакал.

Плакал он долго навзрыд, крепко прижавшись к земле головой и кусая землю зубами, чтоб кто-нибудь, проходя по дороге, не услыхал и не набрел на него с Пелагеей.

Вспомнил Зайчик ее с венцом на голове, наподобие того нимба, которым сияют с тяжелых окладов в молельне святые, в голубом сарафане с парчевой полосой на груди и по подолу, с бубенчиками по вороту и на рукавах — в одеянии Матери Ангельской Рати.

И как тут не плакать, как не сронить слезу в глубокую реку, где свет — как песчаное дно, но тьма и туман над рекою: как не плакать, живя в такой серой, туманной, печальной сторонке! О, где ты, пресветлый Иордан, в который смотрятся избы под тайной полуночной звездой!

Теперь Пелагея на изумрудном дне лежит, недолго она прожила на его берегу, так и не

раскрыв, не разгадав чудесного сна о матери божьей, сошедшей на землю по семи ступеням смертных грехов и смертных соблазнов, чтоб принять муки рожденья в плоти, но бесплотного сына.

БЕЗУМНЫЙ ИКОНОПИСЕЦ

Зайчик стал собирать охапками листья. Листья шуршали в руках, топорщились сухие ветки под ними крючками, мешая побольше захватить. Забросал Зайчик ими всю Пелагею, не видно ни черной юбочной пены, ни белых колен, на лицо же ветром снова качнуло калину, и на него упала красная кисть, закрывши сережки бровей и золотистые пряди волос около скорбного лба, теперь посеревшие, будто тоже выцвели к осени вместе с травой на лугу...

Теперь так похожи эти тонкие кольчики и завитушки под веткой калины на кудреватые струйки, плывущие с трубки, которую Прохор, может, в то же самое время курил в блиндаже, любуясь Пелагеей, висящей на сырой стене блиндажа:

— Загляденье мое... Пелагеюшка!..

Не знал Прохор и мог ли за тысячу верст угадать, что сейчас лежит Пелагея Прокофьевна на опушке чертухинской рощи в золотом осеннем покрове, более пышном, цветистом и ярком, чем тот, которым попы покрывают мертвеца, пронося

его по селу на кладбище, — приняла Пелагея причастье из чаши бездонной и скорбной...

Была только в груди у него лихая ломота в том месте, где сердце лежит...

Такая ломота раньше бывала только в руках в покосное время.

Думал Прохор Акимыч, что это с того так и ломит, что нет тяжелее работы, как лежать дни и ночи на нарах и не видеть конца ни этим нарам ни дням...

— С этой работы и есть нет охоты, — говорит Прохор Акимыч, выискивая возле коптилки рубашку и белея брюхом, как березовый пень.

— Да, братец, кто кусает локти, а кто чистит ногти, — из угла ему басит Иван Палыч...

— У нас вошь о вошь, у них грошь о грош, — отвечает Пенкин.

— У кого грош, тот и гож, — подъелдакивает Сенька.

— Слушай-ка, пенка с горшка, толщиной два вершка, — небось наш Стратилат теперь чертухинским бабам письма читает?

— Достает лапкой, что не покрыть шапкой, — сохальничал Сенька, по обычаю пьяный.

Иван Палыч так и заекал кадыком от удовольствия:

— Гляди, как бы твой Стратилат сам не залег с Пелагеей: он ведь только тихоня: чужое не тронет — свое не отдаст!

Весь блиндаж нахмурился, словно была у всех одна бровь и под бровью один глаз и у каждого рта одна и таже щелка-морщинка, в которую видно всего человека насквозь.

— Ты, Иван Палыч,— отвечает ему Прохор, не то печалясь, не то смеясь,— ты в Бога-то веришь, видно, как и не я же: тольки у елки, из-за которой тебя ни Богу, ни немцу не видно... А Микалай Митрич человек правильный...

— Эх, Пенка, на наших бабах теперь, небось, пастухи стадо пасут,— намекает ему Иван Палыч на историю с Игнаткой, о которой у нас в роте совсем незадолго узнали из слухов, которые, Бог весть, какими путями докатились до нас: должно быть, приносит их с ветром!

Прохор же к большему удивлению всех нас не огрызнулся, а сел в темный угол, только часто хватался рукою за грудь, словно и впрямь, как подшутил над ним Иван Палыч, боялся кошелек потерять.

— Ты, брат, держи кошелек-то покрепче, а то сам из-за пазухи выпрыгнет, — издевался Иван Палыч...

Знал Прохор Акимыч, про какой кошель говорит злой кадык, водя своими мыльными пузырями по его голой спине, по которой так и пролегли вшивые тропки - накуски, но Иван Палыч и не ведает, какое в этом кошельке у Пенкина сейчас богатство лежит и как он и в самом деле

боится его потерять: не прошла даром сыромятная молитва, и ныне Прохорова люлька уже не будет пуста!

Странно, что Игнатке Прохор не уделил никакого внимания в мыслях, когда получил от Поликарпа письмо: он верил в свою Пелагею, как в гору!

— Неужели? — Прохор шептал по ночам и тайком под шинелью крестился.

Он рисовал себе в уме Пелагею с большим животом, тугим и упругим, и в тысячный раз решал в темном мозгу одну и ту же задачу: неужли ж... неужели?

* * *

Вспомнил и Зайчик сейчас Прохора Пенкина, сунулся за обшлаг у шинели и вытащил с самого дна письмо в четвертушку, смятое, со стертым адресом — едва рассмотрел: село Чертухино, Пелагее Прокофьевне Пенкиной.

Все письма матери Зайчик отдал по утру, а это, должно быть, забилось в дороге на самое дно и осталось в его рукаве... Да все равно было поздно. Пелагея теперь стоит на самой последней ступеньки голубого крыльца, оттуда ей видно всю землю, а ее не видать никому...

Зайчик конверт разорвал и стал читать письмо к Пелагее...

Сперва шли поклоны, поклоны тому, поклоны другому и даже тому, кому и совсем посылать их не нужно: на позиции всякого вспомнишь, и хочется всем из окопа рукой в письме помахать, потом шли успехи в делах и хозяйстве, по дому и полю, а также здоровье, которое больше богатства и прежде всего.

„Береги,— Прохор писал Пелагее,— береги, Пелагея, здоровье, в работе спину не очень труди — как заломит, сядь отдохни, работа от рук не уйдет... К тому же прослышали мы, писал мне о том Поликарп, что ты ходишь с грузом и скоро будешь родить. Не думаю я ни про что, что мне плетет со зла Поликарп, всему, что ни скажешь — поверю, а чего не доскажешь—узнаю потом по глазам... Приеду наверно в Покров на побывку, тогда и кума выберем, а ежели что, может и правда..."

Трудно было дальше письмо разобрать, в этом месте оно все истерлось, и только внизу под карандашною мутью стояло:

„Прохор Акимов, муж ваш по плоти и духу"...

* * *

Смотрит Зайчик на это письмо, и сейчас у него перед глазами стоит наш окопный блиндаж, как живой. По нарам, свесивши ноги, сидят чертухинские мужики в шинелях в накидку, в углу у самого входа винтовки свалены в кучу, как хлам,

в оконце, только руку просунуть, льется вечерняя муть из двинского болота, и лица у всех восковые.

Видит Зайчик солдат, как живых.

Похожи они сейчас в воспоминании его на икону Всех Святых, только у каждого есть что-то в лице, что искажает задуманный образ и заставляет от него глаза отвести...

Словно писал Всех Святых безумный иконописец, в середине работы заменивший пособье в работе — пост и молитву — пьянством и диким разгулом.

Смотрит с этой пьяной иконы на Зайчика насмешливый Прохоров взгляд, улыбка, словно колючка с чертовой тещи, висит в его бороде, а глаза затаили и спрятали свет, которым ночью только горят кошачьи зрачки.

А что у него теперь на уме, никому хорошо не известно, только губы очерчены горькой чертой завязаны около нее узелочки морщин, как на память, чтоб не забыть чего-то до смерти, — да по лбу наискосок хитро изогнулась морщина...

На какой же иконе не найдешь глубоко проведенных морщин?

Только там они прямы, как борозда после старого пахаря, который кладет борозду к борозде, как страницу к странице, а на блиндажной иконе они у всех покосились, скривились, сошлись и смешались, потому что, видно, писал ее разгульник-

живописец не для того, чтоб на стену, пропахшую ладаном в тихом притворе повесить, а для того, чтоб на столб, крашеный в черную краску, прибить в знак, что в этом месте широкой дороги царит разбой и убийство:

— Ходу прибавь, пешеход! Ямщик, подхлестни лошадей!

— Берегись!

— Берегись!

— Берегись!

ГЛАВА ПЯТАЯ

РЯБИННАЯ ЦЫГАНКА

ЯГОДНЫЙ БУКВАРЬ

К вечеру, когда Марфушка вернулась с клюквой из лесу, по Чертухину ходили самые черные слухи...

На Марфушку смотрели, дивились, что девка жива и что баба с веревкой у ней не отняла лукошко с брусницей и клюквой, как это случилось с чагодуйским овсом нашего дьякона, избежавшего чудом петли. Марфушка, ушедши по ягоду с утра, не знала всех этих историй, и сама немало дивилась страшным рассказам, но приврать еще ничего не успела, должно быть, со страху и говорила на выгоне бабам и девкам, что никого не видала—тихо, дескать, в лесу, как в церкви, на ключ запертой.

Солдатки решили, что Марфушку уже так, по-сиротству, не тронула баба.

Одни говорили, что баба эта похожа на Пелагею, а другие напротив.

Пелагея не баба—картина, а у этой нос большой и кривой, и похожа она, как две капли воды,

на последнюю нашу колдунью Ульяну, которую тому назад лет пятнадцать в лесу рыскучие волки загрызли, а она все это время сидела в волчьей утробе и вот теперь в войну об'явилась и верховодит в лесу...

В лесу у нее, в непролазной чаще, есть тайный ход в самую землю, возле барсучьей норы, завален сучьем он, малиной высокой и частой оброс, будешь нарочно искать—не найдешь.

Этим-то ходом с Ульяной-лешихой Пелагея в землю ушла, чтоб родить не на глазах у людей, как добрые люди, а тайно.

Ульяна туда же стащила чагодуйский овес, чтоб из овса делать ребеночку соску,—Пелагея родит, плод оставит лешихе, а сама вернется и будет в Чертухине жить и Прохора ждать, как ни в чем не бывало...

Да тут еще к вечеру, когда потемнело совсем, пошли еще новые слухи, что вместе с ней и Зайчик ушел, набредши случайно, гуляя по лесу, на эту барсучью нору: будет Зайчик теперь Пелагеина сына качать, ходить за ним и баюкать, потому что так Зайчик решил: лучше приблудыша киликать, чужого ребенка пестовать в руках, чем винтовку:— душе от того больше приволья!..

Пошло тут одно к одному: Пелагея, дьякон, чагодуйский овес, Зайчик, который отказался чай пить итти к дяде Прокопу и чай пить домой не пришел, хотя за ним Пелагушка несколько раз, уткнувшись

в передник лицом, моталась к отцу Никанору, но Зайчик оттуда давно уже ушел, а куда—сама попадья разводила руками...

Все это спуталось, набилось в мозги, как мякина в сенную плетуху, и никто не знал хорошо, как все и по какому порядку случилось...

* * *

Митрий Семеныч сидел на крыльце до самых сумерек и смотрел на след от сыновних сапог:

— Нет, видно, Андрей Емельяныч правду говорил, что книга потеряна в темном лесу... а кто искать пойдет, не найдет и назад не вернется...

Чуяло старое сердце беду...

Погасла заря, разливши по полю холодную кровь, по улице ветер сгонял желтые листья, подметал их под заборы, а на небо покатился за крайней избой над самым прогоном круглый поднос с нарисованной рожей, немного скривленной набок... месяц—не желтый, не красный, а словно из прокаленной, кованой меди.

— Видно, в сам-деле убег,—подумал еще раз Митрий Семеныч...

Фекла Спиридоновна с глазами, словно упавшими в черную яму, с краснотой под бровями и с пухлым мешком у ресниц, возилась на кухне, переставляя ухваты и клюшки без дела с места на место, как часовых в перепутанной смене, а рядом пухтел

самовар—пузатый король и трубил в длинную трубу, надев ее себе на корону...

— К горю, Митрий Семеныч,—говорит Фекла Спиридоновна,—целый час глотает уголья, как вату, воет и никак не может поспеть...

— Не каркай, само постучит у окошка... давай сапог, я ему брюхо продую...

Фекла Спиридоновна достала из-под шестка голенище, сняла корону и раструбом надела сапожный бурак на самоварную глотку: из-под ног королевских посыпались искры, сердито треща, завилась зола, король вздохнул облегченно, уселся еше тверже на двух кирпичах, и скоро забил из него под матицу пар, и на пол вода побежала...

Сели второй раз за стол вечерять, дули долго на блюдца и, не глядя друг на друга, молчали...

После девятой чашки Митрий Семеныч щелкнул по медному брюху и сказал, не обернувшись к жене:

— Долей, может, скоро Микалай подойдет...

— Ох, отец, чтой-то он нонче словно в свисток задувает...—косится Фекла Спиридоновна королю на короткие ноги...

— Убежал, вот и свистит,—Митрий Семеныч ей отвечает, строго глядя тоже на эти ноги...

— Кто убежал?.. Куда убежал?...

— Кто убежал: самовар!.. кому же у нас еще убежать: скотина вся на дворе...

— Ох, как бы, отец, беды не стряслось: найдут!..

Намеднись искали этих дезиков, нашли, говорят, на болоте, и тут же всех вспороли корьем...

— Да будет тебе: Микалай, небось, ходит по лесу, сосны считает... Придет: не впервые!

А сам глядит, как медный король скроил ему рожу, забивши бороду в рот, брови раздвинув и будто высунув желтый на—медном—язык...

* * *

...А Зайчик и верно лежал в эту пору под густою елкой на мху, накрывшись серой шинелью, и думал давнишнюю думу:

Идет старец из пустыни, черноризец, слезно плачет,
А навстречу ему сам Господь Бог:
— И о чем ты, старец старый, плачешь,
— И о чем ты, старый старец, воздыхашь?..
— Как же мне-то старому не плакать,
— Как же старцу мне не воздыхать:
— Уронил я ключ от церкви в сине море,
— Золотую книгу потерял во темном лесу...

Да, видно, золотая книга в лесу.

Читают ее теперь пушистые зайцы, неразумные дети, у кочки умявши траву, листают их лапки золотые страницы, мелькают пред ними заглавные буквы, заставки с хитрым и тайным рисунком, и встает перед открытой, нежно-звериной душой скрытый за строками смысл... величавый, как мир

пред зарею, и пугливый пред людским глазом, как пуглив только заяц перед хитрой лисицой, учуявшей на полуночной росе воздушный заячий след...

А может, книгу давно размыли дожди, страницы оборвали ветрà-непогоды, и страницы легли цветной луговиной на лесные поляны, а буквы рассыпались в мох,—на мху теперь для чертухинских девок и баб заглавные буквы в красную краску растут куманикой и клюквой, строчки повисли на пьяничные и черничные ветки, а точки-знаки, где вещей кончается смысл,—ткнулись в колючие иглы можжевеловой гущи, и ест их одна только вещая птица: глухарь!

Ходят бабы и девки по ягоды в лес и по складам читают великую книгу: ягодой пичкают малых ребят, посластиться дают старикам, и старики каждый год и не знают, что проходят, вместе с внучатами, премудрого мира букварь...

* * *

Потому-то и мудр простой человек, и речь его проста и цветиста!

ПОД ЗАВЕТНОЙ ЕЛЬЮ

Потерял Зайчик черту, где начинается сон, а явь и виденье из-под ног уплывают, как песок на крутом берегу.

Протекают сны в этих крутых берегах, как прозрачные воды реки, не знающей дна: стоят в ней города и селенья, и те же люди и звери живут, которых мы видим и днем перед глазами, только соткано это все из лунной кудели, нежно, воздушно и, должно быть, правдивей, чем на яву...

Мудр и правдив человек, когда спит...

Широко раскрываются очи, когда слипаются веки и тело тонет на дно.

Только где эта память, чтоб видеть, что видим во сне: человек ее давно потерял, променяв на науку и опыт, замечтав улететь на луну— прародительницу тайны и снов... Потому-то можно человеку почесть себя за счастливца и можно его за счастливца принять, если он помнит при пробужденьи, с кем и где пролетела последняя ночь.

Потому-то мужик и привык ложиться, как потемнеет, чтоб с первым лучом итти на работу, а барин, который стал умнее себя, в эту пору зевает и зря только жгет керосин...

Из этой барской зевоты родилась наука, скука ума, камень над гробом незрячей души: плавает в этой науке человеческий разум, как слепой котенок в ведре...

Придет в свой час строгий хозяин, начнет разметать духовную пустошь, увидит ведерко, и вот тогда-то котенок и полетит на луну!..

* * *

Не может Зайчик понять, что он: спит или не спит, видится это, иль видит он сам и не может не видеть того, что стоит перед глазами:

— Хочешь, молодой хозяин, погадаю, а хочешь, на гитаре сыграю...

Стоит перед ним цыганка под густой елкой, тонок стан у этой цыганки, как тонок он у рябины, тянущей Зайчику зрелую гроздь...

Одета цыганка в цветистую юбку и кофту, и в юбке и кофте, в цветах и разводах по яркому ситцу, как будто сразу две пышут зари: заря перед ночью, когда вечер погас и золотую голову уронил на колени, когда вдруг под синим покровом будто вырастет мак и тут же завянет, и только от лепестков по земле прольется слабый тайник—полусвет... и рядом тут же в другой полосе или сборке горит и пылает другая заря,—заря, когда ночь—цыганка сама—еще не ушла, но у ней уже подогнулись колени и с плеч ее катятся звезды за полупрозрачный шелк на груди и она хмурит на них черную бровь, гадая по ним о судьбе, на земле еще бродят, скрываясь перед утром, пугливые тени, обращаясь в тени кустов и деревьев, а по лесу идет невидимка—предутренний свет!

Кажется Зайчику, что и рябинная ветка похожа на тонкую загорелую руку, а ягодная красная кисть,

зажатая в руку—на колоду причудливых, раскрытых веером карт, по которым гадают цыганки судьбу...

Смотрит Зайчик на привиденье, не успевшее скрыться пред утром, не страшно нисколько ему, что еще не обернулось оно в прозрачную тень от рябины, и потому тихо сказал:

— Садись, погадай...

Ворожея под елью прошла полукругом, на бесшумном ходу сливая в складках две затаенных зари, откинувши черную косу с синею лентой за спину, и под косой в розовой мочке колыхнулся на миг золотой амулет,—монета из дальней страны, куда укатил от Аксиньи Петр Еремеич.

Зайчик увидал за спиной у цыганки гитару, под гитарой солдатский соломенный мат и потому не удержался и, улыбаясь, спросил:

— Гадалка, откуда мат у тебя?..

— Оставили дезики... На нем хорошо полежать, когда заночуешь в лесу... Ты что же это, молодой хозяин, лежишь на боку?..

Цыганка смотрит на Зайчика нежно, как мать, и Зайчик чувствует холод под боком, на лице колкую изморозь и дрожь от зазимка.

— Возьми,—говорит, наклонившись, цыганка ему, —постели...

Зайчик взял соломенный мат, подостлал его под себя и почувствовал сразу такое тепло, как будто лежит он в отцовской избе на лежанке, которую

Пелагушка топила, мешая в ней сковородней, когда он гулять выходил...

— Цыганка-гадалка, садись, погадай...

Цыганка кивнула ему головой, мелькнул под черной косой амулет, зазвенели на шее цветные стекляшки-монисты, и запела гитара, повиснув на сохлом суку...

Какая чудесная песня вьется в игольных ветках, будто старая ель каждой иголкой запела, вспомнив далекое, потонувшее теперь за облаками, забытое время, когда деревья, травы и камни, как люди, говорили и пели, и мир был полон цветистых звуков, шопотов, вздохов, шорохов и затаенных смешков, в которых былинка больше тайну его понимала, чем теперь человек...

Цыганка села на корточки рядом, с юбочных зорь побежал холодок, а из черных иссиня глаз покатилась звезда за звездой, как только в раннюю осень бывает...

Цыганка сунула загорелую руку за кофту и достала гадальные карты, она стасовала их, положила наверх червонную даму, а подниз короля и веером их разложила по мху...

Смотрит Зайчик на карты, каждый король даму из такой же масти под ручку ведет, каждая дама держит в руках белый платочек, и каждый король саблей чертит по земле, как петух перед курицей серебряным бравым крылом.

Смотрит Зайчик, что короли все эти похожи лицом, как две капли, на нас, солдат из двенадцатой роты, только вместо фуражек—какие-то с длинными перьями шляпы, на ногах чулки и баретки с бантами и самых разных цветов, и с плечь до земли упадают плащи из такого сукна, в цветную полоску, в зеленый горошек, в котором разве ходят одни барчуки...

Дивуется Зайчик на эту картину, а цыганка тоже глядит и смеется...

— Понимаешь?..—спрашивает цыганка.

— Нет, цыганка-гадалка,—говорит Зайчик,—не понимаю пока... Это что же мне выходит: на балу, что ли, танцовать?..

— А на гитаре ты умеешь играть?—спрашивает цыганка...

— Нет,—отвечает Зайчик,—умел когда-то, когда к отцу Никанору ходил часто в гости, а тепер позабыл, как и в руки берут...

— Напрасно, молодой хозяин,—отвечает цыганка,—девицы очень любят гитару, играют они с вашим братом хитрые штуки...

— Ты это, цыганка, про Клашу со мной?..—спрашивает ее Зайчик...

— Нет,—цыганка отвечает,—с Клашей сыграл ты сам хитрую штуку...

— Не великая хитрость: любить!

— Любовь, как стрела, молодой хозяин... как стрела: пота и жив человек, покуль она в сердце торчит—вынешь: смерть!

У Зайчика прыгнуло сердце, как белка на сук, и он схватился за грудь, а цыганка взяла его руку и от груди отвела:

— Ты не видишь здесь тайного смысла, протри лучше глаза, погляди хорошенько.

— Я вижу, что короли и дамы танцуют...

— Ты, молодой хозяин, смотришь на масть,— цыганка ему говорит и водит по картам рукою,— ты смотришь на масть, а надо на крап больше глядеть...

Зайчик протер глаза рукавом, приподнялся на локоть, приложил другую руку к глазам и смотрит, сощуривши глаз...

— Не щурься,—учит цыганка,—гляди, как кот на сметану...

— Гляжу,—тихо Зайчик ей отвечает...

— Видишь,—спрашивает цыганка,—по крапу льется вода, и все короли в воде тонут...

— Вижу,—говорит Зайчик...

— Видишь,—спрашивает цыганка,—одну руку дамы держат у сердца, а в другой белым платочком глаза утирают...

— Вижу,—говорит Зайчик...

— Ну, вот,—улыбается цыганка,—значит, ты видишь сейчас свое счастье...

— Ты, цыганка-гадалка,—говорит Зайчик обиженно,—мне плохо гадаешь: все время тебя отгадывать надо...

— Это,—улыбается Зайчику цыганка,—ты, должно быть, спросонок своего счастья не разглядел... счастливый счастья не видит! Только нищий хорошо видит суму, хотя у него и нет глаз на затылке!

— Нет,—говорит Зайчик,—видно, я без счастья родился—вижу только, как короли в воде тонут, а дамы в белые платочки плачут...

Цыганка опять взяла Зайчика за руку, смотрит на него, словно разглядывает,—счастливый он или несчастный, а из глаз так и падают звезды за кофту, где дышит высокая смуглая грудь и от дыханья идет холодок и истома, какие плывут поутру, когда еще не занялась заря...

— Скажи, молодой хозяин,—спрашивает его цыганка,—что человеку всего дороже?

Зайчик посмотрел опять на карты, как короли тонут да дамы плачут в платочки, вспомнил, как дезиков порют, и как не хочется всем умирать неизвестно за что, смекнул и цыганке твердо ответил:

— Жизнь!

— Ну, вот,—говорит цыганка и карты рукою смешала,—догадался: тебе бы надо плавать вместе с другими, а ты вон под елью лежишь да у цыганки пытаешь судьбу...

— Вот как,—удивился Зайчик.

— Бойся, молодой хозяин,—поднялась цыганка и сунула карты за ко́фту,—бойся всякой воды, горькой и соленой, простой и сычёной, пуще огня: огонь

тебя не тронет, а в воде, если не пожалеет судьба, и в ковшике, и в кумке, молодой хозяин, утонешь...

Сняла цыганка гитару, свернула соломенный мат, перекинула их за плечо и, отряхнувши с пылающей юбки еловые иглы и мох, сказала:

— Прощай!

ПОСЛЕДНЯЯ ТРОЙКА

Кудай-то, в сам-деле, Петр Еремеич девался...

Кто говорит, что Аксинья Егоровна в позадопрошлом году его сама удавила на лестовке в темном чулане по злости и с камнем в мешке сунула в крещенскую прорубь в Дубну, кто—по другому: будто Петр Еремеич еще много за-раньше, весною на Волгу повез седока и там с седоком, с тройкой последних коней и последней кибиткой, посередине реки угодил в полынью и теперь на залихватской тройке катает водяного царя Вологню в перегоне от Кимры до самой Твери, а оттуда, нипочто сгоняв лошадей, значит, обратно: тешится старый мокрыга, катается с горя да скуки,—по Волге пошли пароходы, жестяные баржи с черною кровью, в рот и глаза ему гадют, спать не дают, а вода несет равнодушно и пароходное это дерьмо и по речному донцу катит песок золотой,—ну, старый мокрыжник и рад был Петру Еремеичу и подрядил его на круглое лето: у Кимры часто перевозчики в воде слышат бубенцы...

А Зайчик (как-то недавно я с ним о Петре Еремеиче вспомнил: сидели мы с ним за большой самогонной бутылью и говорили, что хороша стала теперь у нас самогонка и что за такой самогонкой хорошо посидеть и прошлое вспомнить и добрым словом его помянуть!), так Зайчик клялся, божился, что Петр Еремеич уехал на тройке...

— Уехал,—говорит,—да и только... но куда вот...

Зайчик сказал, что забыл, и все водил рукой перед глазами, как будто хотел рассеять самогонный туман, туман голубой, какой стоит на лесной опушке только ранней весною: он, Петр Еремеич, будто, Зайчика вместе с собою тащил, да Зайчик того побоялся, что примут за дезика и вспорют корьем.

Долго водил рукой перед глазами:

— Есть, де, такая страна,—а какая—так и не вспомнил...

Я сначала ему не поверил, а потом, когда по вернул большую бутыль вниз головкой и из нее упала на пол слезинка, махнул тоже на это рукой и увидел, что иначе быть не могло: Петр Еремеич поехал узнать, сплетка это иль правда и можно ль ему Аксинью в подать казне уплатить.

Хитрый мужик был Петр Еремеич, а тихой— словно теленок...

Зайчик рассказывал так:

* * *

Когда Зайчик под густою елкой проснулся, или, напротив—заснул, кто его знает, потому что понять его трудно, как и что случилось с ним за эту ночь,— Зайчик, может, совсем и не спал... только рано поутру цыганка-гадалка стояла еще пред глазами, и по лесу тихим звоном звенела гитара, и за лесом тихо занималась заря...

Зайчик хотел было еще кой о чем ее расспросить, но цыганка помахала ему цветистым платочком, улыбнулась ворожейной улыбкой и развела низкие ветки рябины, словно открыла в рябиновый терем потаенную дверь...

Смотрит Зайчик, стоит возле ели рябина, на ней такие же листья, такого же цвета, как кофта с цветами и юбка с разводом, в которых цыганка была, и тянет рябина ему тонкую ветку, и в ветке, похожей на шитый рукав от рубашки, рдеет спелая красная кисть.

Зайчик с'ел эту кисть, на зарю покрестился и пошел снова по лесу бродить...

Чувствует Зайчик себя бодрым, веселым, счастливым, идет он по лесу, как по церкви жених в ожиданьи приезда невесты, и весело думать ему, что просыпаются птицы, что пробуждается жизнь, что теперь уж где-то далеко за рощей гитара цыганки звенит: то ли летят журавли, растянувшись отлетною лентой, то ли гуси гогочут с болота,

спустившись покормиться в дороге на скорую руку, то ли за рощей серебряно звенит колокольчик—не поймешь, да и понимать было не надо...

Зайчик вышел на большую дорогу и пошел на зарю.

Тут-то вот Петр Еремеич его и нагнал:

— Мир доро́гой, лесной человек,—кричит Петр Еремеич,—сторонись, задавлю-у!

— Мир доро́гой, Петр Еремеич,—Зайчик ему отвечает.

— Куда собрался по рани такой?—спрашивает его ямщик, осадив лошадей и натянувши ременные струны.

— Да так вот: гуляю по лесу...

— Ну, если прогулкой: садись!..

Петр Еремеич протянул Зайчику руку, чтоб Зайчик в кибитку взобрался,—Зайчик в кибитку вскочил: задымились хвосты у пристяжек, запел и заплакал в голубином клюву дуговой колокольчик, прощаясь на веки, должно быть, с родной стороной, и Зайчик, еле держась за бока у кибитки, глядит, как Петр Еремеич перебирает ременные струны, слушает, как поют под рукой у него волшебные гусли, как под старинные гусли Петр Еремеич ведет разговор...

— Уезжаю совсем, Микалаша...

— Что ты, Петр Еремеич?..

— Вчера в село прислали гумагу: немедля представить в Чагодуй лошадей, несмотря, что кобыла, что мерин...

— Значит: на хронте квасы...

— Известно...

— Гибнем, Петр Еремеич...

— Известно, а лошади при чем, при всем этом?

— На лошадях скорей убежишь...

— Нет, нет уж: лучше я на край света с лошадьми убегу...

— Знаешь: дезиков порют... корьем...

— Животину последнюю дать со двора?.. эх, Микалаша, так ли нас пороли отцы: не страшно!..

Петр Еремеич отвернулся от Зайчика, прошелся слегка кнутом по лошадиным хребтам и, вытянув руки, напружил в руках ременные струны...

Запели старинные гусли, закружились столетние сосны, взлохматив зеленые патлы, закружились столетние ели, завихрив зеленый пробор...

Будто это в хороводе кружатся парни и девки. справляя осенний праздник-отжинки, и парни бросают в девок еловые шишки: дескать, знай с кем дело имеешь, и девки от парней зеленым платочком закрывают лицо, а солнце на девок и парней из-за леса катит большое колесо и косы и кудри им золотит.

Смотрит Зайчик Петру Еремеичу в спину, слушает, как Петр Еремеич поет на широком облучке, как ему лесной хоровод подпевает, и рад бы Зайчик вместе с ними запеть под трехконные гусли с расписною дугой: на дуге воркуют два голубка, как живые, дуговое кольчико держат, куда повод продет и колокольцы разных голосов подобраны... да утренняя

сладкая дрема зажала Зайчику рот и нежной истомной рукой повела по глазам...

* * *

Мчитесь же, кони гривастые!..

Мчитесь же с ветром и ветра быстрее уносите кибитку и сами спешите укрыться от пометки каленым железом в чагодуйском приказе, от которой потом никуда не укрыться, так и издохните в дышлах, катая по бездорожному полю солдатскую смерть...

Не клином сошлась в этом приказе земля...

За высокой горою, где солнце под вечер заходит, где солнце всходит по утру, лежит блаженная разголубая страна...

В этой стране нет лиходейства и злобы, коней там седлают только на пашню, да только, когда едут в гости друг к другу, ни кнутом по голове их не бьют, ни по глазам кулаком...

Ни темниц, ни острогов там нет, и одна есть только темница в самом сердце страны, а под темницей есть подземелье, и в том подземельи томится колодница-смерть...

Потому-то там живет человек и никак-то нажиться не может...

Живешь, хоть бы ты, сто лет—мало...

Стоят там мужицкие избы на берегу у самой реки, а в реке струится живая вода: окунешься по утру в нее, идя на покос, и снова опять молодой.

Царя у них нет, царицы век не бывало, пастух там выше министра, церкви там строят лишь для того, чтоб в них запирать молодых на первую ночь, оттого приплод здоровей и красивей, а если кто хочет молиться и душу в молитве излить—для того за околицей лес, над лесом зеленый купол, по лесу лиственный звон и постлан под ноги ради молитвы мшистый узорный подрушник.

Налогов, поборов—спокон ни полушки...

Только и есть всего одна подать, в Успенье, после отжинок от каждой деревни в казну забирают по бабе иль девке...

Для чего—неизвестно...

Вот только трудно проехать туда и пройти...

Ни проходу туда пешеходу, ни проезду туда ямщику!..

Стоит та страна за горой, на гору до самых бровей нахлобучена белая шапка, под шапкой великан, у великана в руках молния—пика, на груди золотой щит горит, как огневая заря, крепок сон его и тяжка походка, под чугунной ступней из земли выбивает потоком вода, великан черпает холодную воду сонной рукой и осыпает вниз мелким, звонким дождем, а чуть шевельнется или поворотится во сне с боку на бок, десятипудовые камни посыпятся, словно щебенка, и ринется меж камней водопад: не вздумай в неуказанный час подойти и поискать пути иль путинки и нарушить его величавый покой...

Раз только в год, когда у нас к концу подходят Петровки и мужики выходят траву делить на покос, ихний народ в большой горе открывает золотые ворота—ну, тогда в'езжай, если хочешь...

Только не забудь перед этим со всеми проститься: тебя будут гнать, а ты сам не пойдешь, потому что живут мужики в этой стране и никак-то нажиться не могут...

* * *

...Так Зайчик-мечтун рассказывал мне за самогонной бутылью, до слез уверял, что все это видел и слышал, и я бы его огорчил и обидел, если б тогда не поверил ему, почему и всем нам теперь лучше поверить, хоть Зайчик в самом-то деле, верно, всю дорогу проспал, качаясь в Петровой кибитке, и проснулся только, может, в Чагодуе на постоялом дворе, за которым дымил паровоз, фукал, пугая свиней, и переставлял с места на место, казалось, без цели, так, от нечего делать, вагоны.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

ОТРИНУТЫЙ ЛИК

ПОСТОЯЛЫЙ ДВОР

В Чагодуе был сегодня базар, и вдоль коновязи у трактира Ивана Иваныча Петухова, густо набившись, стояли телеги и дроги, задравши высоко к небу оглобли, в передках лошади сено смачно жевали, а в трактире слышались ругань и брань, и из фортки клубом валил серый, густой, как снятая сметана, смешанный с махорочным дымом пар и в пару разгульная песня:

> Ах. мне не надо бы коровы с молоком,
> Эх,—лучше дай-ка мне кисет с табаком...

— Пойдем, Микалаша,—тычет кнутом Петр Еремеич в трактир,—небось чайком угостишь...

— Пойдем, половинку раздавим, — Зайчик ему говорит...

— Дело: у Петуха хороша самогонка... Два раза водили в тюрьму, да за эту водичку не толь из тюрьмы—с того свету отпустят...

Вошел Петр Еремеич в трактир, Зайчик за ним, кнут у Петра закинут за пояс.

Народу в трактире—со всех волостей.

Каждый привел свою лошадь, ждут в трактире приемки и заранее с горя, что не на чем будет скоро пахать, хлещут огонь-самогон, вытирая губы сермяжной полой, крестясь над полным стаканом, как будто каждый боится в нем утонуть, а, опрокинув, ставит на стол с такой распрокудытвою бранью, от которой в тоске замирает душа.

Сел Зайчик за стол с Петром Еремеичем, смотрит вокруг на неприветные лица, и хочется тоже ему скорей стакан запрокинуть, залить сверху сердечный огонь огневым самогоном, вздохнуть полною грудью за тяжкой стаканной работой и на всех поглядеть сквозь туман, чтобы лучше услышать: с трезвым в трактире у нас и говорить не будут:

— Наверно, де, жулик иль барин...

— Ну, как, Еремеич: всю тройку видно привел,—спрашивает косоротый мужик,—по первой, наверно, пойдут...

— Откуплюсь,—отвечает Петр Еремеич,—на чем же земский будет кататься?..

— Что говорить: вот наше-то дело.

— Забирайся на бабу...

— Гы...

— Ляжку в запряжку, плешку в тележку, ну, и поезжай с богом: меньше корму уйдет...

— Гы...

Половой принес чашки, два чайника на широком подносе, играя ими на скором ходу, будто хотелось бы их уронить, да никак не уронишь, в одном чайнике чай, в другом—самогон чайного цвета, заправленный нюхательным табаком, чтоб больше на чай походил, глаза отводил, на сторону гляделки заворачивал и доходил скорее до дела.

Зайчик налил стакан под полой, поставил под стол промеж сапогов, Петру Еремеичу стакан под полу сунул, а в чашки разлил из другого чайника чай и сунул для виду в чашку баранку...

— Ты, Еремеич, сидишь с их блавародьем,—начал косоротый мужик,—будь другом, спроси, правда ль, что немец уделал коня из железа с стальными ногами...

— Верно,—поспешил Петр Еремеич ответить...

— А верно ль, что дым у него идет из ушей и от дыму энтого наш брат аж валится с ног...

— В точности, — говорит Петр Еремеич, — из ноздри пышет огонь, и копытом он на пол-аршина в землю уходит...

— Ну, коли так: к чему же наши буланки...

— Наши буланки пойдут на баранки...

Зайчик опрокинул в глотку стакан, то же сделал Петр Еремеич, в глазах у Зайчика все завертелось, и косоротый мужик будто сел кверху ногами и глядит на него сапогом...

— Хочется мне еще вас спросить: быдто немец жгет такую траву, и от этого травного дыму в этом месте трава не растет...

— От этого дыму у лошадей сходят копыта... а у людей отпадают носы!

— Ну, и вот: как же тут воевать, коль воюет с тобою сам девятый дьявол.

— Не девятый дьявол, а полудённый чорт.

— Это тоже на тоже.

— Бес... из полудённой страны! Наши-то бесы— ночные!

— Нашему бесу только бы бегать по лесу!

— Все это правда,—Зайчик обоим им говорит,— только не это обидно, и не от того люди заходятся страхом...

— Известно, первое дело, что страх!

— Страшно всем оттого, что друг друга не видим... У смерти руки больно, брат ты мой, отросли: до нее, глядишь, надо полдня бы итти, а она хвать тебя верст из-за тридцать и отпевать попу ничего не оставит.

— Не спишь, да выспишь, дело выходит!

— Перед глазами нет никого... С глазу-то на глаз можно скорей помириться... Когда не видишь, кого ты убил, становится страшно: повадится он во сне приходить, и его ничем не прогонишь. Так ведь и до веревки недолго...

— Правильна речь,—говорит косоротый мужик.

* * *

За прилавком стоит Петухов, хозяин заботливый, скорый на руку и счет, рядом жена, опаристая,

грузная баба, с двойным подбородком и лицом, как прижаристый блин, а за ними низкорослая дочка на полку чашки, чайники ставит в порядок, в одну сторону ставит, с другой — половым подает, задевши щепотку из банки с чайной трухой,— дочка, значит, ворочает всею посудой, мать режет хлеб и колбасу, а сам Иван Петухов, строгий, с достоинством в каждом движении, с разглаженной лампадным маслом скобой, с руками на счетах, где так и заскачут костяшки, — дивиться надо такому проворству, с которым денежка к денежке льнет.

Звенят по прилавку пятаки и семитки, как листочки с высокого древа, что за Петуховым, как живое, стоит на картинке, на которой выписаны славянскою вязью: направо на каждом суку—добродетель, налево—порок, а под древом будто сам Петухов идет со своей грузной, семипудной супругой, за ними цепочкой, мал-мала-меньше, по возрасту дети, и у всех под ногами у них не земля, а пушистый облак постлан цветным ковром на ступени.

Сидят мужики в петуховом трактире, от шуб их пахнет свежей овчиной, крепким дегтем от сапогов, ото всех вместе здоровьем и несметной силой, висит махорочный дым над головами, как полог, и под пологом, как ангелы божьи, в белых рубахах, в белых портках, с белой салфеткой под мышкой, как белое вскрылье зажато под руку, с большим за поясом кошелем из белой бумаги, — как ангелы божьи, вихрем носятся шестерки, с лицами радостными,

приветливыми, разобьется каждый в лепешку, только б тебе угодить.

Мужики ж, как положим и все, угождение любят, а видят его только в трактире...

* * *

Зайчик налил еще по стакану, выпил и только успел поморщиться да губы смахнуть рукавом, глядит—навалилась на Петра Еремеича высокая жердь, одетая в рясу, с козлиной рыжей бородкой и с рыжей гривой на самом верху.

— Дружище мой, Петр Еремеич...

— Садись, садись, отец дьякон... садись, еретик!

— Не сам ли еси, еретице!

Дьякон боком оглянул Зайчика, и брови взметнулись у него на дыбы:

— Воину!..

Дьякон протянул Зайчику тощую руку, зажал его руку в руке, как в клещах, несмотря, что такая худая, рясную полу откинул и сел...

— Не осудите, господин офицер, сказано ибо: да не осудимы будете... когда рыбку удите...

— Ты, отец, уж того?..

— С утра... Старшина угощал...

— У него седни, как праздник...

— Лошадиный молебен...

— Выпьете, отец дьякон?—Зайчик робко спросил.

— Почту...

Зайчик мигнул половому на чайник, половой чайник схватил на бегу, держась на носочках, исчез, как видение, и скоро опять около вырос, под мышкой с белым крылом, и слегка приподнял на чайнике крышку, показать далеко ли влага от горла и сколько, значит, вошло: до горла бутылка, вровень же с крышкою—две...

— Не заглядывай, братец, кобыле под хвост,— говорит шестерке Петр Еремеич,—не равно только сглазишь!..

Половой махнул белым крылом и растаял в широкой улыбке.

— Микалаша разлей...

— Гы... Гы... Еремеич сумеет сказать!..

Зайчик налил стаканы, сначала дьякону подал, потом Петру Еремеичу, потом налил себе и тут же опрокинул.

Дьякон держит стакан в тощей руке, смотрит на Зайчика и, пригубив немного, говорит:

— А я к вам специально сряжался: побалакать... Люблю!

Зайчик вспомнил телегу, свинью с длинным хвостом, Пелагею и не мог решить, что сейчас-то он грезит и дьякона видит во сне, иль и впрямь они пьют самогонку, и Петр Еремеич рядом сидит и осовелыми водит глазами...

— Мне надо бы многое вам расказать... мы хотя и не очень знакомы, а все же...

— Полно, дьякон,—говорит Петр Еремеич,—рассказывать: пей!..

Дьякон глаза закатил, бороду поднял, ус в стакан окунул и потянул по глоточку, как лошадь пьет холодную воду...

— Славна-а-а... ну, так вот, Петр Еремеич, друг закадычный, теперь у нас все пойдет по другому...

— Будет все тоже...

— Знаешь, Петр Еремеич, я ведь в Питер собрался...

— Как же тебя сама-то пустила?..

— Убежал!..

— Почто тебя гонят?..

— Как же брат мой: хочу расстригаться...

— Нно-о-о?..

— Не верю... Вы, г. офицер отсюда куда?..

— Да тоже туда же...

— Микалаша не брешь... Ты ведь прогулкой!

— Ну, значит, вместях и поедем.

Зайчик сидит не прикаянный, не может он глаз с дьякона с Николы-на Ходче отвесть, есть у него тоже кой о чем его расспросить, про крест водосвятный, правда ль, тогда он в Чертухине был и почему потом не заехал, как о том с черной телеги кричал, и почему сейчас дьякон в Питер собрался...

Снилось, дескать, али не снилось?

— Поеду к царю,—говорит дьякон,—скажу, что в бога больше не верю...

— Он те за косы повесит...

— Не повесит: я ему докажу...

— Чего тут доказывать: пей!..

— Пью, г. офицер, за ваше здоровье...

— И я за твое, Микалаша...

Выпили: дьякон, как лошадь холодную воду, залпом—Петр Еремеич и Зайчик.

— Хороша!—крякнул Петр Еремеич.

Дьякон отвесил губу:

— Так вот, Петр Еремеич, поеду к царю и скажу: ваше величество, в Бога не верю...

— Экая невидаль,—Петр Еремеич, смеясь, говорит,—да разве это стать-важно: веришь ты или не веришь?..

— Я рясу ношу: мне это важно...

— Рясу ты можешь носить и в Бога не верить: ты, дьякон, не знаешь писания... что про последние дни в писании сказано?...

— Это ты, Петр Еремеич, насчет премудрости что ли, завернул?..

— Хошь бы да: что... не поймешь?.. а ведь сказано, поди, ясно...

— Как же: отдаст Господь премудрость свою в руци человеци...

Дьякон пробасил и руки поднял, словно держит апостола, а не самогонный стакан...

— Да, дьякон, в последние веки... а дальше-то, дальше сказано что?...

Дьякон приставил палец ко лбу:

— Дальше: не знаю...

— Ну вот... а дальше все и понятно...

— Что дальше, Петр Еремеич?—Зайчик впился в ямщика...

— Дальше: господь отринет лицо свое от земли и забудет о ней навсегда... а ты говоришь, дьякон, важная стать: веришь ты или не веришь...

— Мудрено, Петр Еремеич, что-то выходит...

— Ничего и мудреного нет: Бог в нас с тобой, дьякон, больше не верит...

— Тэк-с...

— Надо, дьякон, чтоб Бог верил в людей, а люди могут в вере блудить сколь им угодно...

— Это, значит, ихнее дело,—вставил косоротый мужик.

— Заворотил, — говорит дьякон,—тут не разберешься без новой бутылки...

— Петр Еремеич уж скажет,—хмыльнул косоротый мужик.

— Лешего встренешь в наше время в лесу?..— подмигнул дьякону Петр Еремеич.

Дьякон подумал:

— Пожалуй, что нет...

— Ну, и вот: все отчего?...

— А от чего бы это... в сам-деле?..

— Человек на горке, а леший внизу, а человек взял да и перестал в лешего верить...

— Ну?..

— Ну, леший и скис, как мухомор от теплой погоды: теперь что леший, что болотная кочка,

у него целый день на спине просидишь, не сведаешь...

— Значит, точка!

— Вот, дьякон, и выходит: вера—единый исток дыхания и жизни здесь на земле, оттого и не падает волос без веры, а жизнь, сила земли, стекает сверху вниз по ступенькам...

— Тебе бы, Петр Еремеич, в попы,—говорит косоротый мужик.

— Хороший бы был протопоп,—оскалил хайло рыжий дьякон.

— Езжай-ка, дьякон, к царю, он те под рясой кропивой нажгет...

— И поеду... Вместе с господином офицером поеду... Дойду до царя, потому больше нету моего терпежу: дьякон—и в Бога не верю...

— Да, это правильно: дьякон без веры, как мужик без порток...

— Дык, Петр Еремеич, друг закадычный, как же тут быть... ты подумай...

— Запьешь от горюхи...

— И то уж пью, сколько кто поднесет...

Дьякон уронил рыжую голову, потянулся в карман за красным платком, у Зайчика сами дрогнули губы, а Петр Еремеич подставил стакан под дьяконов нос и сказал:

— Причастись!

* * *

В это самое время часто зазвонили к обедне в чагодуйском соборе, колокола так и залились с высокой колокольни, словно в припляску: веселый был в Чагодуе звонарь.

Мужики порасправили бороды, кой кто на лоб крест положил.

Иван Петухов на табуретке поднялся в угол прилавка и, с широким крестом во все брюхо и плечи, оправил большую лампадку, остриг фитиль в поплавке, и по трактиру пошел, пробираясь золотистым лучем под махорочным дымом, тихий и ласковый свет.

Колокола заходились все чаще и чаще, все быстрее струнлась колокольная дробь, и, когда Зайчик выходил с дьяконом из трактира, то показалось обоим, что так уж это и надо теперь, чтобы пьяный в доску мужик в лад колокольному звону застучал каблуком и заорал во всю глотку:

Ни в бору соловушка!..
Ни в дому золовушка!..
По колено кровушка!..
Пропад-ай головушка!..

Стоит Зайчик с дьяконом возле Петровой кибитки, а Петр Еремеич оправляет своих лошадей, снимает с них овсяные мешки, поправляет шлеи и уздечки, хомуты стягивает супонью, упершись левой ногой...

Кони уши подняли, глазами уставились в купол, где галки собрались грачей провожать, откуда льется такой развеселый перезвон колоколов, от которых кажется, сами так вот и ходят копыта...

В дуге шевельнул языком колоколец, пробуя голос в дорогу, с ошейника брызнули бубенцы, когда головой мотнул коренной...

Дьякон подошел к Петру Еремеичу и тихо спросил:

— Куда теперь, Петр Еремеич?

— И сам, брат ты мой, не знаю... Поеду, куда глаза поглядят...

— Ну, значит, пути да дорожки...

— Спасибо, простая душа... А ты, Микалаша, трогай домой, поклон передай и Аксинье скажи, что вернусь, наверно, со снегом... на мерине пегом!

— Уж не дралка ли, Еремеич, хочешь задать?— дьякон уперся длинными руками в колешки.

— Мудреного нет ничего... Ты, Микалаша, Аксинье непременно скажись!

— Хорошо, Петр Еремеич: Аксинье сказать, чтоб тебя дожидалась!

— Пускай, да не больно, а то одолеет в дороге икота... Ты, самое главное, дьякон, запомни: коль нет царя в голове, так не зачем ехать к царю! Не поминайте по-лиху...

Петр Еремеич коренному всадил сразу кнута, пристяжки вошли в хомуты, дуга голубками вспорхнула, заплакал под ней колокольчик, и скоро колеса

пропали, звернулась чагодуйской пылью кибитка, и только за пылью Петр Еремеич издали машет кнутом, будто кнутом им кажет на солнце.

Зайчик и дьякон с Николы-на-Ходче смотрят вслед Петру Еремеичу и не могут сказать друг другу ни слова...

ГОРОД ЧАГОДУЙ

Город наш Чагодуй в губернии самый старинный.

В чагодуйском соборе, в главном престоле, под большою плитой упрятан золоченый сундук, в том сундуке лежат вот уж какую сотню годов на серых корявлых листах славянские записи, сделанные кем и когда—неизвестно.

Говорится в этой летописи больше о вере, о том, что есть истинный Бог и как можно найти о том откровенье, какой человек больше Богу угоден, и сколь ненавистны Богу попы. Писал их, эти записи, верно, заядлый раскольник, сектант и смутивец, которых в старое время было столько в нашей округе, сколько в лесу теперь не осталось волков.

О вере судить по нашему времени трудно.

Только известно, конечно, не без причины и простой народ их любит не больно, каждый мужик ждет, что непременно обломится ось, если увидит, что ряса переплыла дорогу... По сей-то причине наши попы, напавши на эту летописную запись,

конечно, сразу ее сначала в поповский бездонный карман, а потом, дабы сектанты опять не украли, подняли плиту в соборном престоле, вырыли вроде могилы, сделали гроб золотой, в гроб положили коряблую книгу и на веки ее там погребли.

А имя сей книге: Златые Уста!

Об этом знают во всем Чагодуе два-три старожила, и даже теперешний соборный наш протопоп об этом наверно не знает, потому что приехал недавно совсем в Чагодуй и с низшим священством кумовства и знакомства не водит...

Ну, да потом обомнется, не обомнется, так обомнут...

Это не старое время бить попов крестом по башке, как это случалось со старым владыкой, который, к слову сказать, хоть и был злее чорта, а дьякона с Николы-на-Ходче очень любил за худобу и смиренье.

Так вот в этой-то книге, которая тайно лежит в гробу в чагодуйском соборе, и есть указанья, при ком и когда был заложен наш Чагодуй, и по этой записи в книге будто так все выходит:

Когда татарский хан Манамай уводил свое войско с Руси, Русь покоривши, напала на это манамаево войско в том месте, где теперь стоит Чагодуй, от комаров ли болотных иль по какой другой неизвестной причине, сначала большая дремота, потом и слепота, которая в наших местах зовется куриной и бывает от самых разных причин, в последние ж

годы все больше по причине плохой самогонки и от употребленья в питье сапожной политуры и лака.

Конечно, в те времена политуры и в заводу не бывало, мужики ходили в лаптях, а куриная слепота, должно быть, была в наши болота послана произволеньем, дабы не ушел Манамай живым в свою манамайскую землю и не увел с собой наших девок и баб.

Бабы и девки за косы связаны были и шли позади всего войска, уставши плакать и Богу молиться.

Вот татарье как ввалилось в наши болота, зацепили они в свои чувяки болотной воды, тут и заночевали на горке, где теперь построен собор и в соборе под плитой лежит чудесная книга.

Златые Уста!

Сначала они задремали и сами мало тому удивились, задремали с устатку да горя и бабы и девки, а по утру бабы и девки проснулись, как ни в чем не бывало, а Манамай как вышел из шелковой с золотой макушкой палатки, так и схватился сначала за бритую голову, а потом за широкие из поповской парчевой ризы штаны...

Глядит Манамай, что войско его, знать, с ума посходило: стоят друг против дружки, на глазах у всех висит куриная пенка, видно, хорошо и не видят друг друга, а тузят по чем ни попало...

— Чаго дуешь? кого дуешь?—кричит им Манамай...

А они знай свое, дураки!.. Тартарьё!..

Бабы и девки стоят позади, не плачут и не смеются, да и не до смеху: понять ничего не поймут и только разинули рты, как вороны в жару...

Бросился Манамай разнимать, а войско и его под микитки, никто ничего ведь не видит.

Глядят наши бабы и девки: куча мала!

Манамай лежит поверх кучи, чуб у него оторвали от плеши, и он висит на одной волосинке, во рту желтая глина набита, а на парчевых портках ходят друг вокруг друга, воркуют десять голубых голубиц, в клювах держат зеленые ветви в знак, что кончилось на Руси татарское иго и наступил в родной стороне мир и покой,—Манамай, значит, несудо́мой, песьей смертью издох, а рисунки на рясной парче, из которой Манамай сшил себе в похвальбу шаровары, как знак воскресенья—ожили... явленно, в крови и плоти.

Распутали бабы и девки косы друг другу, и кто пошел по домам, кто не хотел уходить от чудесного места, под сердцем тая тяжкий поминок татарского плена, который уже шевелился в утробе и крепко сжимал кулачки...

Заплакали бабы и девки от горя и радости вместе, от горя, что народят они теперь злых татарчат, от радости, что, может, удадутся по матери, что, может, от материнской слезы злючая чужая кровь с лица у младе́нца еще в утробе сойдет, сотрет всякую память и след.

Проплакали бабы и девки до самого вечера, к вечеру стеклись бабьи да девичьи слезы по горке вниз, собрались они в пробоине, где шло тартарское войско, где колеса глубокую колею проложили, и потекли на дубенские поймы быстрою речкой.

Думали-думали бабы и девки, да подумавши, и остались на этом месте родить, сначала настроили хат—получилась деревня, потом дальше да больше, пришли навестить мужики, стало большое село...

Так-то год-за год и вырос наш город, по прозванью Чагодуй, на малой реке Чагодуйке.

* * *

Так дьякон с Николы-на-Ходче рассказывал Зайчику историю знаменитого города Чагодуя (в какой он губернии, можешь и сам догадаться) и ворочал во рту хмельным языком, как пастух кнутом по болоту.

Зайчик шел с дьяконом рядом, немного как и дьякон шатаясь, думал, слушая этот рассказ, что потому-то, должно-быть, так и похожи на старых старух убогие избы на том берегу Чагодуйки, что когда поглядишь на чагодуйских мальчишек, засмотришься в раскосые в щелку глаза, так подуматься может само, что пробежал мимо тебя татарченок, да и сам подойдешь и лишний раз взглянешь на себя в чагодуйкину воду, как в тартарары: не тартаринов ли лик выглянет там из воды,—шел так

Зайчик и думал, а дьякон держал его за рукав и громко икал...

— Где теперь, отец дьякон, Андрей Емельяныч, ведь книгу попы у него отобрали?..

— Цыганы убили: тогда я самолично видел, как его лупцовали!

— Хороший был человек...

— Разбойник: за Бога зарежет... К тому же лошадьми торговал!

— У всякого свое пристрастие есть!

— Лошадь уж известное дело: она и во сне-то приснится, так означает по Соннику: ложь!

— Не дело, дьякон, городишь...

— Не люблю я староверов пуще всего... кичливы они и жестоки... Уж и это не вера: попом может быть любая Матрена, а молются Богу в исподнем...

— Адам нагишом Богу молился... исподнее наше—адамовы листья после грехопаденья...

— То-то и дело: Адам! В нем вся закорючка: первородный грешок—от него же не спрячешься ни в куль ни в мешок!

— Охальник ты, дьякон!

— После того, как Адам повалился на Еву, можно что угодно вертеть: все будет одинаково ложно!

— Охан!

— Так и этак: все равно, что дерево, что бревно!

— Дьякон!

— Вся и заповедь нового века: хлеб в поте лица для честного человека, но не для подлеца!

— Да, отец дьякон,—говорит Зайчик с пьяной улыбкой,— тебе непременно надо ехать к царю!

— Дык подумай: говорил же Петр Еремеич, что бог от земли отвернул ухо, значит, человек живет в брюхо, для чего ж тогда церковь, дьяконский чин и молебны?

— Церковь, как птица: она колоколами поет!..

* * *

Высоко над соборным крестом серебристо всполохнулась голубиная стая.

На соборной колокольне звонарь ударил достойну, залепетали язычками на тонкой веревке в веселых руках малые колокола, как мелкие пташки на смородиновом кустике, трепеща в своем птичьем, беззаботном восторге легкими крылышками, а над ними, как вспуганный с вековой сосны сыч-ухач, высоко плывет и ширяет трехсотпудовыми крыльями самый набольший колокол, у которого выше дьякона ростом язык...

Дьякон снял широкую шляпу, остановился и Зайчика остановил и положил три поясных поклона на церковь, откуда понемногу народ выходил; мужиков было мало, больше сидели они по трактирам, подальше от городовых и начальства, привыкши два дела вместе не путать: сегодня прием лошадей, никакая молитва в башку не полезет, а стоять остолопом мужик и в церкви не любит...

— Отец дьякон, ты, ведь, в Бога не веришь?..

— Эго я для отводу... Знаешь: как колдуны отводят глаза?!..

Дьякон поглядел на Зайчика прищуренным глазом, вспыхнул в рыжей, тощей бородке румянец, и ясней на носу стали синие нитки, потом дьякон, как будто что теперь вспоминая, провел рукой по высокому лбу и рыжую гриву прижал на затылке: Зайчику померещились у самого лба два черных тонких рожка, как у молодого барашка...

Вдруг дьякон с испугом назад оглянулся, шляпу сунул в карман, полы у рясы в обе руки подобрал, как это делают только купчихи, когда из церкви выходят в дурную погоду и, не протянувши Зайчику пальца, пустился по рынку бежать...

Мужики стоят у возов и гогочут:

— Дьякон-то запил опять... Гусар!..

Около соборной ограды остановилась телега, запряженная в бурую в черных пятнах кобылу, с телеги с завороченной юбкой на спину, чтоб не запачкать лица у нового платья в телеге, вылезает дьяконица, ищет кого-то глазами, полными слез, но ничего уж, видно, не видит, кроме оглобель, вздернутых кверху, да гогочущих возле них мужиков:

— Гуса-ар!

Смотрит и Зайчик, что дьякон с Николо-на-Ходче так быстро куда-то пропал, что только и можно подумать, принявши в соображение дьяконов рост и непомерную его худобу:

— Не обратился ль дьякон с Николы-на-Ходче в одну из этих тележных оглобель, чтоб избежать на людях встречи с супругой?..

ВОЕННЫЙ ДОКТОР

Зайчику стало тоскливо и грустно: Петр Еремеич уехал на тройке, дьякон бесследно пропал, остался Зайчик один. Знакомых в городе, может, и встретишь, да это не так уж и нужно.

Самогонный хмель то в голову выше и выше всходил, ударяя в виски молоточком, то в ноги вливался, и по ногам тогда кто-то водил горячей рукой и они немного косились и неровно ставили след. Присевши на толстую тумбу возле соборной ограды, долго думал Зайчик, куда бы пойти полежать, да так и не пришел ни к какому решенью, пока над самой, показалось ему, головой не ударил сразмаху сорокапудовый язык в колокольное брюхо, разломив его пополам тягучим, из самой чугунной утробы хлынувшим звоном.

Из собора народ повалил в обои ворота ограды...

Смотрит Зайчик на пеструю, разноголовую ленту, которая вьется на Миллионную улицу, всматривается в лица чагодуйских франтих и мещанок и не может никак двинуться с места, ни головы в другой бок отвернуть, ни оторваться глазами...

Мимо него проходят, жеманясь, девицы, дочки первогильдейских купцов и заправил, улыбаются, чуть повернувшись, — молодой да красивый такой хронтовой офицер!

Долго стоял так Зайчик, как в забытьи, хорошо было ему смотреть на девичьи улыбки, на круглые, румяные щеки и тоже украдкой заглядывать в синие омуты глаз...

Вышел из церкви почти весь народ, и Зайчик уж было с тумбы поднялся, но как раз в то же время поплыл из оградных ворот молодой протопоп, прощаясь с какой-то молодой и очень богато одетою дамой.

Невдалеке стоял кучер, держа под уздцы пару заводских полукровок. Кучер увидал богатую даму, должно быть хозяйку, на козла вскочил, уселся на них поскладнее и чуть-чуть тронул вожжами.

Дама подобрала немного подол от шелковой юбки и зашумела шелком на ходу, направляясь к пролетке.

Зайчик так и вцепился глазами.

Может она, а может он это грезит, иль все ему видится спьяна.

Хмеля, однако, как не бывало.

В голове далеко все и отчетливо видно, как в протертом на Пасху окне. Только сердце стучит в груди большим молотком, и кровь ударяет в виски, на минутку скрывая все пред глазами.

Дама поровнялась с тумбой, на которой Зайчик сидел, на пути ей встала телега, навитая сеном,

мужики никак не могли протолкнуть телегу ни взад ни вперед, лошаденка выбивалась из сил, тужась вытянуть воз из большой колеи в мостовой.

На минуту дама уставилась в испуганные глаза лошаденки, потом, решивши кругом ее обойти у ограды, попала Зайчику прямо с глазу на глаз.

— Клаша!—тихо окликнул Зайчик ее.

Клаша вздрогнула вся, бессильно расставила руки, уронивши подол синей шелковой юбки, как будто хотела что-то схватить и поймать, но в глазах вдруг у нее потемнело, она схватилась рукой за глаза и, не сказавши ни слова, только тихо и глубоко вздохнув, как вздыхает человек перед легкою смертью, повалилась на конский помет и об'едки от сена, лежавшие у соборной коновязи сухою и мягкою горкой...

* * *

...Довез Зайчик Клашу в пролетке до загородного Колыгина дома, стоявшего неподалеку за вокзалом в березовой роще на самом берегу Чагодуйки, и хотел было уйти незаметно, когда кучер осадил лошадей у большого крыльца.

Всю дорогу, как Клаша лежала в легком полузабытьи у него на плече, Зайчик смотрел ей в лицо, любовался каждой чертою и складкой, словно хотелось запомнить получше каждую мелочь, чтоб вспоминать и как живой в воспоминаньи потом любоваться...

Клаша была, как и три года назад, так же худа, бледнолица только будто еще тоньше и изогнутей стала золотистая бровь, как только что народившийся месяц. У приустных ямок поместились две горькие складки, да на лбу чуть заметно провела лихая присуха небольшие, едва заметные, как жилки в кленовых листочках, морщинки.

Смотрит Зайчик в лицо своей Клаше и только теперь вот понял, сколько он с ним потерял в своей жизни, чего ему никогда не вернуть, чего и слабого повторенья нигде никогда не найти...

— Все было так, как должно было быть и не могло по-иному случиться...

Сложил он с плеча Клашину голову, хотел занести левую ногу на приступок пролетки, чтоб ускользнуть незаметно перед домом, откуда, он ожидал, должен сейчас выскочить Клашин муж, свекор Клашин, которого Зайчик больше всего ненавидел на свете: перед войной скупил он за гроши остаток чертухинской рощи на свод, в которой Зайчик родился, в которой Зайчик с Клашей гулял и так и не мог по робости странной слишком влюбленной души в свое время ни до чего догуляться.

Пришел чужой человек, запрятал Зайчиково счастье в карман, без вздохов, без томительных лунных ночей схвативши сразу в охапку его, а Зайчик боялся и пальцем донего дотронуться, как будто страшился, что пропадет оно от одного прикосновенья.

— А вот ведь: пропало!

— Не уходи,—Клаша ему говорит,—проведи меня, Коленька, в дом!

Зайчик снял Клашу с пролетки и как перышко внес на крыльцо, вошли они по лестнице в дом, у окна сидела старая няня, а по большому залу бегали два карапуза и в прятки играли... Увидевши мать, они подбежали и нежно прижались к ногам, глядя на Зайчика исподлобья, боясь и смущаясь незнакомого дяди.

— Ну, няня,—сказала Клаша, показывая на Зайчика ручкой,—если б не доктор, не знаю, что б со мною и было: глаза помутились...

— Ах, барыня милая, третий месяц самый тяжелый...

— Вы, няня, детей ко мне не пускайте, а если кто спрашивать будет, скажите: больна...

— Хорошо, барыня милая, ладно...

— У нас, доктор,—сказала Клаша Зайчику очень устало,—все в доме в раз'езде... Пойдемте ко мне, я боюсь за здоровье...

Зайчик стоял серьезный и тихий и мало что понимал из того, о чем Клаша с няней своей говорила, и только, когда Клаша ему указала на лестницу, идущую в мезонин, он стронулся с места и пошел впереди Клаши.

Клаша на середине лестницы обернулась и сказала заботливо няне:

— Ты, няня, пожалуйста, не беспокойся: я за доктором сама двери закрою...

— Слушаю, барыня милая, ладно...

Прошелестела Клашина юбка, сделалось от этого шелеста в комнате тише и в окнах синей, остался на лестнице тонкий запах духов, и няня думает про себя, что-то, де, доктор очень уж молод, да как-то смотрит чудно, как осовелый, и не скажет даже ни слова: видно, теперь за войну все изменилось, — у докторов, бывало, всегда небольшое брюшко, голос вкрадчивый, руки в перчатках и в руках наготове черная дудка, а тут только под носом черно, вроде как кто сажей намазал, шинель, как у солдата, только на плечах какие-то палочки вдоль и поперек,— всего и отлички.

Задумалась няня, на лестницу смотрит, понять ничего не поймет, но ничего и подумать тоже не может: за три года все шло, как по маслу, не считая того, что у них там наверху, ну да этого где ж не бывает—в каждом дому по кому, где по большому, где по маленькому, хоть и не видать никому...

Задумалась няня, а карапузы устроили хитрую штуку: забрались они под широкую нянину юбку и там присмирели, хочется крикнуть няне: „ау", да больно под юбкой у нее хорошо, на кубовом поле солнце играет, растут на нем голубые цветки, и у цветков желтые, круглые глазки:

— Хорошо у няни под юбкой, словно в саду...

— Ах вы, пострелята,—ласково крикнула няня и потащила обоих за руки в детскую спальню.

ВЕРХОМ НА СВИНЬЕ

Хмель ли давешний ударил в голову снова, или не вынесло сердце радостной встречи, только у Зайчика все плывет перед глазами, и из-под ног убегает земля.

Подкатилось близко белоснежное облачко, покрыто облачко легкой, прозрачно-паутинной кисейкой, и на кисейке внизу смотрят пристально Клашины буквы, больно задевая за сердце красным крючком: у Клаши имя все то же, только другая фамилья.

На облаке, как в старину, лежит прекрасная, прежняя Клаша.

У Клаши все то же небольшое, с неправильными чертами лицо, будто только слегка положенными на полотно, и художник так и не кончил капризной картины или совсем забыл про нее в поисках волшебной, иной красоты, а Клаша так и осталась, как странный и легкий набросок.

Все та же у Клаши улыбка, улыбается Зайчику Клаша, и Зайчику кажется, да и Клаша сама ему о том говорит, что ничего у них не случилось, все как было, так и осталось, в духе муж они и жена, нет у ней иного мужа, нету детей (все позабыто!), откуда ж им быть, коли... в духе, оттого-то и льется на Клашу из итальянского большого окна свет самых различных оттенков сквозь разноцветные стекла, словно это стоят разноцветные чаши с разноцветным вином, и кто-то их поочередно подносит к губам, и

Зайчик пьет вино из разноцветных чаш, и как не свои руки и ноги, и сердце скоро, должно быть, биться совсем перестанет.

Тихо в Колыгином доме, как некогда было тихо и светло от лунного света лампад в староверской молельне, в которой на веки соединились в духе и свете Зайчик и Клаша, не нарушивши юность и чистоту..

Осеннее солнце бьет в полушторы, отражается на золоченых ручках дверей и по полу стелет прозрачный ковер отраженных вихластостволых берез протянувших в самые окна оголенные сучья.

Только и слышно всего: тикают стрелки часов, бьется домашнее сердце.

Смотрит Зайчик, как кошачьими лапками перебирает ветерок в открытой половине окна кисею занавески, на которой по легкому, прозрачному тюлю скачет в неведомую страну неведомой страны королевич.

Королевич в шляпе с длинным пером, сам красоты несказанной, скачет королевич на белом, белоснежном коне, и у коня снежная грива запуталась в стремя, и белопушистый хвост словно вот на быстром скаку сейчас оторвется и рассыплется в комнату белой метелью...

Держит королевич над головой высокого сокола в тонкой руке, сокол соколиные крылья широко расправил, вот-вот сорвется с мизинца, взовьется вот и полетит: под самым карнизом, где от второй полотняной шторы на всем лежит, как ввечеру,

полусвет, застыла оледенелыми крыльями лебедица, на маковке с белой короной,—царевна: видит она, что от королевича с соколом на руке ей никуда не укрыться, потому и поет она, раскрывши широко уста—тонкий клюв—на лету, последнюю, лебединую, девичью песню.

— Коленька... милый!

Лежит Клаша, полузакрывши глаза расширивши тонкие ноздри, и у глаз ее, у каждого висит по тяжелой слезинке.

Держит Клаша у сердца в маленьких белых руках с пальчиками, словно коготки у маленькой птички, Зайчиковы бессильные руки возле упругих, почти еще девичьих грудей с темно-розовым кружком материнских сосков, похожих на садовую, с легким пушком в конце лета, малину.

Смотрит Зайчик, как опущенный в воду.

На Клашином пальце чужое кольцо с дорогою прозрачной слезинкой, как дождевая капля первой весенней грозы, и по руке возле кисти обвилась два раза сонная змейка и кажет Зайчику золотой язычок.

Сорвать бы с руки дорогую браслетку, кольцо укатить в мышиную дырку, чтоб им играли мышата, а слезку с колечка бросить в траву!

Но ничто уже теперь не поможет, в духе дух пребывает, как дары на престоле, они нерушимы в Зайчиковом сердце, а плоть... злая блудница, рассыпавшая золотые волосы в дорожную пыль!

— Коленька, ты ли?

— Да, это я, Клаша.

— Коленька, ты?

— Что ты наделала, Клаша?

— Коленька?!..

Качается все перед глазами, от ветру ль качается рыцарь на шторе, на ветру ли сокол крыльями машет и на ветру ль, не сдержавшись, лебедица камнем падает вниз.

Опавшей белой березкой Клаша прижалась к Зайчику на колени, дрожит, как березка от тихого ветру, и плачет неслышно, заломивши голые руки.

Текут по рукам ее слезы, и губы у Клаши, как два уцелевших на самой вершине листка.

— Верь мне, мой милый, у меня никого нет, кроме тебя...

У Зайчика ж ни охоты, ни воли, ни силы нет не поверить...

* * *

...Сколько так время прошло, ни Зайчик ни Клаша на часы на глядели, только когда медным лбом об пол стукнули гири, в дверь тоже стукнул кто-то тихонько два раза.

Клаша раскрыла глаза, оторвала от Зайчика руки, покраснела, вся загорелась и, тревожно взглянувши на дверь, привстала с постели, рассыпав косы на грудь и на плечи: похожа она стала

на Аленушку в темном лесу над водоемом, покрытым зеленою ряской...

— Барыня,—шепчет няня за дверью.

Клаша спокойно спросила:

— Что тебе, няня?

— Алексей Иваныч приехал, прислал спросить о здоровьи.

— Скажи, няня, милая, через минутку приду.

— Свекор, — шепчет Зайчику Клаша, — веришь теперь или нет?

Помутилось все у Зайчика перед глазами. И стыдно, и горько, и больно ему, и обидно, что сидит он теперь, словно вор, попавший в ловушку, из которой иного выхода нет, как только в окно иль на чердак через крышу...

— Клаша, прощай!

— Любишь?

— Люблю...

— Веришь?..

— Верю, но и ты мне поверь.

— Я тебе верю!

— Поверь, как мне тяжело!

— Коленька, мне тяжелее...

— Прощай!

Поцеловал Зайчик Клашины руки, поглядел близко в анютины цветочки Клашиных глаз, висят на цветочках две бисеринки, выпил их Зайчик, чтоб еще раз навсегда отравиться любовной отравой и на цыпочках к окну подошел.

Глядит Зайчик: окно выходит на двор, ворота в ожиданьи скотины настежь раскрыты, и на дворе никого: в Колыгином доме не любили шума и не держали много прислуги, купцы из мужиков степенны и строги в своем обиходе, у них только появляется особая серьезность в лице и сиянье, простое довольство и замысловатая твердость в чертах.

Смотрит Зайчик из занавески: окно не высоко, раньше в лунатные ночи он прыгал и выше, сходило, а сейчас сойдет и подавно. Вгляделся Зайчик, лежит большая полуторасаженная, облитая жиром на четверть свинья возле самого дома, положивши в истоме пудовую голову на-земь, хрюкая и изредка поводя ухом, большим и круглым — с добрый хозяйский картуз.

Поглядел Зайчик на рыцаря в шляпе с длинным пером, на сокола в тонкой руке, на коня, разметавшего белую гриву, и горько стало ему и смешно, — шутит окаянная судьба злые и хитрые штуки, на яву подставляя ему, чтоб не вывихнул ноги, свинью.

Обернулся он к Клаше еще раз. Клаша в подушку уткнулась, и Зайчика Клаша не видит и видно, Клаша не слышит, как Алексей Иваныч Колыгин, заждавшись ее и плотно с дороги уже закусив белужьей ухи, сам пришел навестить и в дверь к ней громко стучит...

* * *

Отряхнула с крыльев красные перья заря, как птица в большой перелет. По котловинам, по желтым дорогам, бегущим по сторонам, как нити в ряднине, встает вечернее марево. То ли поднялась пыль от мужицких телег, побывавших в чагодуйском приказе, где всем лошадям повыжгли сегодня каленым железом круглые пятна на крупах,—оттого они и несутся что духу домой, да и мужики почитай все под сердцем с самогонным запалом,—оттого и хлещут они лошадей и вожжой, и кнутом, лишь только скорей бы до дома доехать и спать на полати залечь.

То ли поднялись с берегов Чагодуйки закутанные в белые саваны Манамаевы бабы и девки, связанные крепко за длинные русые косы, идут они большою татарской дорогой в темень и синь, откуда выглядывает краешком ущербный месяц, как Манамаева мурмолка из парчи, с загнутым кверху тонким концом.

Идут Манамаевы девки и бабы, над ними порхают десять голубых голубиц, роняя на-земь из крыльев сизые перья зари.

Словно большие холсты с торопливым рисунком углем, раскинулись поля и поляны, по краям почернели лесные короны над ними,—как в полусне, на тонких паутинках замигали зеленые осенние звезды, будто боятся они вниз оборваться и прочертить

по небу вещую золотую строку, по которой чагодуйские невесты будут гадать о возвращеньи своих женихов, а нагадают — их верную гибель, смерть и безвестие в чужой стороне.

Стоит Чагодуй, как старик с сукастой палкой, возле железной дороги, по которой то и дело снуют красные червоточки вагонов, а впереди них, похожий на большого жука, пыхтит черный паровоз, обдавая пристанционные избы, уткнувшие в насыпь носы, неожиданным свистом и паром, будто хотел бы на смерть их распугать, если бы только они не были слепы и глухи.

Только одна колокольня стала еще будто выше.

Горит на ней крест, распластавший по небу руки, словно хочет сброситься вниз, и под ним и над ним—синева, синий купол и синее небо, и от купольных звезд, как лучи протянулись к крестным рукам золотые цепочки.

На соборной колокольне веселый звонарь держит наготове колокольные вожжи, чтобы во-время стронуть звонких чугунногривых коней, чтобы повеселее ударить к вечерне, когда молодой протопоп выйдет из дома против собора с вишневым садом у окон.

Держит звонарь за узды чугунных коней и, пока протопоп расчесывает у зеркала гриву, взбивая высокий зачес, смотрит звонарь кругом на поля вокруг Чагодуя: по полю катят телеги, — как тараканы в них лошаденки,—колеса стучат и гремят о дорогу,

мужики с самогона горланят и свищут, все как всегда, полсотни лет одна и та же картина...

Только от рощи, где Колыгина дача смотрит красной крышей и над ней, как чортовы рожки, две дымогарных трубы,—по направленью к сжатым в кучу вагонам на запасном пути, бежит что есть духу большая свинья, а на свинье верхом кто-то сидит и бьет сапогом, держась за длинные уши.

СУНДУК НА КОЛЕСАХ

Что в жизни не может случиться подчас с человеком?...

Диковины нет никакой, диковиной все кажется людям, которым их час еще не приспел, или совсем не приспеет: с каждым судьба по-своему шутит, она большая шутница, хоть шутки ее часто дорого стоят.

Видно и с Зайчиком в этот раз она зло пошутила, после свидания с Клашей прокативши его на свинье.

К счастью, все благополучно сошло.

Когда Зайчик прыгнул из окна на свинью, он на свинье, конечно, не думал кататься, он рассчитывал только помягче упасть, чтоб не сломать себе ноги.

Чудной, чудной, а парень не промах!

Но случилось все по-чудному. Ноги у него с'ехали при паденьи с свиньи, одна нога попала

под брюхо, другая за спину, Зайчик на свинью плюхнул верхом, свинья с перепугу вскочила, ринулась сразу с басовым хрюком и гуком прямо в ворота, а Зайчик, чтобы не упасть да снова опять не разбиться, схватился за круглые уши и свиную спину коленями сжал.

И горько, и весело, и смешно было ему самому, вспомнил тут, как бывало в детстве в ночное гонял он Лысанку, держась крепко за шею и гриву.

* * *

Прокатил Зайчик в повечеровый туман на коне с хвостом закорючкой и брюхом чуть не до самой земли...

Свинья с перепугу сначала гнала все напрямик, потом взяла полукругом по сжатому полю, и когда у нее в глазных щелках замельтешили разных окрасок вагоны, когда вдали поправее, где стоит чагодуйский вокзал, словно свистнул в два пальца и махнул белым платком чернобородый, черноголовый кучер Василий, когда клубом выпустил пар большой паровоз, уставивши на свинью два огненных глаза, она на всем скаку остановилась, уперлась в землю пятаком, а Зайчик на спине у нее не сдержался и кувырком через свиную башку полетел на траву.

Свинья словно в землю врылась ногами, смотрит на Зайчика и будто ехидно смеется, собравши

под зобом морщины в гармошку и завязавши их возле рта в смешной узелок. Показалась эта улыбка Зайчику очень похожей на то, как Пенкин—был случай такой смотрел на него, когда Зайчик кланялся Пенкину в ноги,—смотрит свинья, как живой человек, только вот сказать словами не может.

Взял Зайчик палку с земли и запалил ее в пятачок.

* * *

Скучно стало на душе и безотрадно.

Все мутит перед глазами, будто кто с глаз уносит на руках запеленатый в туманный саван мир, уснувший вещим под звездами сном.

Мир нелюдим, и никого в мире теперь не осталось.

Клаша уплыла на облаке розово-крылом в иной неведомый край: нет ей теперь возвращенья, и к ней тоже нигде нету дороги. Не в этом же красном вагоне, похожем на старый сундук на колесах, догнать можно опять навеки уплывшее счастье.

Его и на Петровой тройке уже не догнать.

Да и тройку теперь не догонишь: гикает Петр Ереемич по дальним полям, проезжает шажком по темному лесу, пока в приказе строчат за бумагой бумагу и на бумаге под Каинову печать льют красную кровь сургуча.

В стороне от Чагодуя заря, словно сидит там середь поля, по дороге в Чертухино, у кочки на

корточках в новом нагольном полушубке пастух и коротает ночное, грея возле костра захолодевшие руки.

Поклонился Зайчик заре, словно простился с родным человеком, и встал на приступок вагона.

Ручка от двери обожгла Зайчика холодом, распахнул он дверь и вошел в сундучную темень вагона: стояла лавка, как свинья, расставивши ноги, в окно глядела зеленая заревая звезда, и в углах уж залег сумрак, тяжелый и плотный, от которого словно рябило в глазах, как рябит в них, когда смотришь в темную воду.

— Сяду в вагон, а там будь уж, что будет!

Зайчик на лавку прилег, зарыл голову в руки и сразу от земли оторвался и покатил в сундуке на колесах; колеса затарахтели, отбивая однообразный настойчивый счет, как будто вся жизнь теперь в одном колесе, и если колесо со счету собьется, то и жизнь сама, и колесо, и все вместе с ним полетит в черную прорву, и будешь лететь так быстрей, чем птица летит, быстрей, чем жадный зверь догоняет добычу...

Качается красный сундук.

Качается все в голове, откроешь глаза на минуту, и потолок под ногами; вентилятор—словно в преисподнюю ход, закрыт до часа чугунною крышкой, и Зайчик уж будто не на лавке лежит, а лавка сама забралась на Зайчика и давит его своим брюхом.

— Крышка, видно, всему...

Вспомнилось Зайчику вдруг: молельня, лампадный сумрак в молельне, из углов святые смотрят, поблескивая ризами в синем свету, на правом клиросе Клаша стоит в белом платье, с черемухой в дрожащей руке и не смеет на Зайчика оглянуться... на левом сам Зайчик... у него тоже захолонуло в сердце, в двери с улицы щелкнул замок, ушел теперь Андрей Емельяныч, и Зайчик и Клаша до зари... одни, с глазу на глаз до утра, когда придет Пелагея и осыпет их хмелем и напоит свяченой водой.

Может быть, надо бы, может, не так, собраться с духом, подойти к Клаше, взять из рук черемуху, тронуть чуть за руку и клашиных губ коснуться губами, взглянуть в глаза и сорвать очарованье и тайну... в глазах же плывет золотой венец, кажется он Зайчику столь несбыточным и чудесным, что как-то чудно, что положил его Андрей Емельяныч на полку после венчанья, завернувши в простую холстинку... а может так лучше... так вот простоять до зари, не отрывая глаз со страницы, на которой раскрыта на подставке непонятная книга: на книге сбоку застежки, на желаньи отныне запрет, но в душе радость и свет... радость и свет...

А теперь... страшно... так страшно!

Страшно открыть глаза, еще страшнее закрыть.

Закроешь, и вот летишь, но только не кверху, а вниз, куда и лететь-то нельзя, куда можно лишь провалиться: пусто под притаившимся осенним небом, страшно в черной, бездонной утробе земли!

Кажется Зайчику, что это не лавка под ним и на нем, а Колыгинская полуторасаженная свинья, вскочившая с ним и за ним в вагонный сундук. Только закроет глаза, а пятачок у самого носа, у ссохшихся губ нижняя свиная губа, и на губе висят ниточки от бардового пойла и хлебные крошки. В руках Зайчик чувствует ноги, холодные копытца крепко жмут ему пальцы, а на животе такая черная тяжесть, что лучше умереть, чем шевельнуться.

Плюнет Зайчик в губу и все пропадет на минуту, откроет глаза, потолок завертится внизу, как карусель, а пол кверху привскочит, и вагонные лавки на нем все кверху свиные ножки поднимут.

— Крышка,—думает Зайчик, пришедши в себя на минуту

И снова сами слипаются веки... гонит ветер мир перед глазами, как всадник коня.

У коня такая ж метельная грива, как на Клашиной шторе, только на коне теперь сидит молодой Колыгин, на нем золоченый камзол, в руке сияет у него на ладони, как амулет, неразменный рубль, за который можно какое хочешь счастье купить, от любой беды откупиться, потому-то со всех концов и сторон стаями летят лебедицы и крыльями машут и, клювы раскрывши, кричат:

— Слава! Слава! Слава!

...И среди лебедиц быстрее всех несется белая лебедь, на маковке с белой короной,—теперь похожа она на прежнюю Клашу.

Замирает у Зайчика сердце, заходится дух, а рядом сидит большая свинья, чешет брюхо копытом и умно так глядит ему прямо в лицо, оскаливши зубы.

— Нет, не уснешь... не уснешь!..

Зайчик привстал и прижался к окошку...

Так кончилось у Зайчика с Клашей венчание в свете и духе!

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

ОБРАЩЕННЫЙ МИР

БОЖЕНЯТА

За окном ветреная листопадная ночь.

То ли гремят под вагоном колеса, то ли ветер, согнавши опавшие листья к дороге, крутит и вертит их и загибает в листвяные колеса и катит за колесом колесо по дороге, наполняя осеннюю темь шипом, гуком и приглушенным звоном.

И Зайчику жутко, что сейчас нет около него никого, и хорошо, что никто не увидит и не узнает, как больно ему и как ему сейчас тяжело.

Уселся Зайчик половчее на лавку, по телу мурашки ползут, свесил он ноги, и показалось ему, что сапогом он за что-то задел и в чем-то запутался шпорой.

Нагнулся Зайчик, руку вниз протянул и со шпоры отдел—не поймешь в темноте—то ли хвост, то ли клин от люстриновой юбки. Похолодела с испуга сначала рука, а потом показалось занятно, кто это под лавку, где Зайчику казалось, что нет никого, забился и так присмирел, что ни разу не чихнет от

подлавочной пыли и не шелохнется, чтоб на другой бок перелечь...

Потащил Зайчик за полу или подол, казалось, тащил его долго, а ему все не видно конца.

Пощупал Зайчик на руку и к окну поднес, чтоб на звездном свету разглядеть, видно поповский люстрин, и по всему тоже видно, что это не юбка, а ряса...

— Дьякон,—подумал Зайчик,—никто, кроме него, сюда не забьется.

— Дьякон!—Зайчик шепнул и крепко дернул за рясу.

В ответ кто-то чуть-чуть шевельнулся.

— Разве не вы это здесь, отец дьякон?—громче Зайчик сказал.

— Нет, это... я!

— Ну, так и есть: дьякон с Николы-на-Ходче!..

— А вы... это кто?..

— Я,—говорит Зайчик, хотелось ему соврать, да самому страшновато,—я-то... я Зайцев, Микалай Митрич, чертухинский зауряд...

— Эвона,—радостно вскрикнул дьякон под лавкой,—гора, значит, с горой!

Зайчик от этого вскрикнул, выпустил полу, а дьякон зашевелился, застучал затылком под лавкой, рукой заскребся по полу, как мышь под сусеком, и скоро села рядом с Зайчиком большая оглобля, головы на четыре Зайчика выше, на верхушке широкая шляпа, под шляпой висит борода, которая даже

и в темени кажется рыжей, и на ноге большенный, как окоренок, сапог...

— Гора, значит, с горой,—дьякон гудит, запахнувши рясные полы,—в Питер, значит, все же решили...

— Пожалуй... а вы, отец дьякон... как попали сюда?

— Кондуктор упрятал, сказал, что этот вагон будет в составе.

— В составе?..

— Да, питерский поезд... Я ведь вам говорил, что вместе поедем?!

— Да: я кампании рад,—хмуро Зайчик ему отвечает...

— Ну, господин охвицер, много я здесь под лавкой продумал: решил, что об этом таком даже и думать больше не стоит... голову зря забивать!..

— О чем?..

— Да все о том же: есть Бог или нет, и почему я в Бога не верю...

— Да это вы, отец дьякон, больше все спьяна ..

— Пьян, да умен, знаешь... почему дьякон водосвятный крест пропил на самую Пасху?.. Что он жулик какой или вор?.. Что он не мог бы пропить свою рясу... Почему именно крест—первый вопрос?..

— Почему?..—улыбаясь, Зайчик спросил.

— Да оченно просто: потому что он больше не нужен... а ряса... у меня старые рясы супруга режет на юбки...

— Выходит: все в пользе?

— Да нет: в соответствии... Бога-то нет?..

— Мелешь ты мелево, дьякон: Бога нет, что же тогда остается?

— Эна, о чем ты грустишь: остаться есть коечему—мир забит, как трехклассный вагон на большом перегоне... Рассуди: Петр Еремеич что говорил... Бог, де, от земли отвернулся, сел на облачную колесницу и значит поминай, как звали... Тю-тю...

— Бог забыл о земле...

— Так... остался, значит, во-первых: чорт?..

— Чорт!

— Чорт! Только рога он подтесал терпугом у у кузнеца Поликарпа, оделся в спинжак и гаврилки... Служит... пользу приносит.. и получает чины!

— Мели, отец дьякон!

— Нет, не мелю: чорт иногда даже не брезгует дьяконским чином...

Зайчик взглянул на оглоблю, волосы у него зашевелились и сами зачесались назад, а у дьякона шляпа будто немного поднялась на воздух, и на минуту над рыжею гривой мелькнули два развилкой расставленных пальца, просунутой как-то сзади тощей руки... Пальцы были похожи, как дважды два, на рога или рожки.

— Только и это не важно,—дьякон, близко нагнувшись, шепнул Зайчику в самое ухо.

— Как же это не важно—ведь, чорт?..

— Просто, понятно: без Бога чорту нечего делать... это он со скуки идет в пристава или земские, а то в дьякона или попы... соборный наш протопоп... чортушок!..

Дьякон подвинулся ближе. Зайчик отсел.

— Разве ты это не знаешь?

— В первый раз слышать...

— А отчего у него тогда впереди высокий зачес?.. не иначе... потому только и можно узнать: на копытах — щиблеты, хвост подвязан на брюхо, а рожки—в зачёс!

— Полно тебе, отец дьякон: у протопопа крест на груди весит три фунта...

— Да это не крест, а подкова... ты думаешь, все как бывало: все по-старинке живешь... бабка на кринку покстит, положит крест-на-крест лучинки, и в молоке бесенок купаться не будет, креста лучинного побоится... теперь, брат, все пошло по-другому... Бог, ведь, не видит... он отвернулся... а человек, где крест ни положит, там для чорта и щель.

— Стыдно, дьякон!..

— Ничуть даже: за что купил, за то и продаю!.. Жизнь, брат... ох, она умнее нас с тобою раз и десять!..

Зайчик хотел было сложить крестное знамение, да дьякон его за руку схватил.

— Подожди-ка... ты к баптистам сходи... они те про крест растолкуют!..

— Не пойду я никуда,—Зайчик ему говорит,— ты, отец дьякон, лучше прилег бы да немного проспался: перехлебнул!

— А ты меня много поил?

— Тебя, отец дьякон, споить—надо скупить весь самогон во всем Чагодуе...

— И то, брат, не хватит!..

Дьякон залился в козлиную бороду мелким дробным смешком, сложивши на животике руки и смотря Зайчику прямо в глаза...

— Что он мне мерещится снова,—думает Зайчик,—тогда надо крест положить... отчего он мне не дал?

— Да крестись, крестись, если хочешь: вижу, что и меня принял за чорта! Нет, брат, у меня рога отросли совсем от инакой причины.

— По семейной?..—тихо Зайчик спросил.

— Должно быть,—дьякон вздохнул,—да чорт с ней, великая важность... Ты вот что скажи: мы о чем говорили?.. у меня память девушкина стала!

— Говорили... говорили... мы, дьякон...

— Так?..

— ... о чорте...

— Это не суть важно.. важно вот что: ты, да я, да мы с тобой... да весь род человечий.

— А как же иначе?..

— Вот в том-то и дело, что род сей должен был бы... того...

— Исчезнуть?

— Аки дым... На наше счастье, ты говори, остались еще боженята!

— Это, дьякон, что такое?..

— Самое главное: с чего свинья сыта бывает... крошки после обеда...

— Крошки?..

— Ну, да... не в точности, а что-то вроде... вроде Володи... понимаешь: Бог создавал землю, как на пиру сидел, — пир, хмель отошел, Бог от стола отвернулся, и на столе остались одни только крошки...

— Боженята?

— Ну, да, китайцы, малайцы, болгары, татары... всякому даден свой божененок... и заметь: у всякого свой поп и свой дьякон...

— Пожалуй, это и верно.

— А как же: нету в мире единого Бога... вот тут-то дьякон и прав — пьян да умен...

— У меня, дьякон, от твоих разговоров болит голова и... под сердцем мутит...

— Не даром, значит, меня мужики прозвали гусаром?

— Пожалуй и так, что не даром.

— Невежа, ты, братец, а еще охвицер!

— Я-то... такой же офицер, как ты дьякон!

Дьякон голову назад запрокинул и так смехом залился, что сундук вот сейчас бултыхнет, и колеса на человечьем языке затараторили:

— Так... так... такы... такы...

— Все одинаково скверно: нету Бога, нету человека!

Дьякон поднял кверху указательный палец, весь просветлел, с бороды красное полымя так и бьет по углам, а в углах сидят какие-то люди, не слушают их, не думают ни о чем и, положивши головы на кулаки, спят праведным сном без видений.

— Человек... Бог... вот когда это стало смешно: у человека гордости мало, у Бога ж еще меньше... терпенья!

— Дьякон... дьякон... ведь сказано: долготерпелив!..

— Не подфальшуем... Бог отвернулся... чорт стал мещанин... остались одни бесенята да одни человечки: волки да овечки!

— Дьякон... дьякон...

— К царю!

Дьякон снял с живота отрепанный пояс, захлестнул его на вентилятор, а на кончик билет привязал и пятерку:

— Видишь: кондуктор будет иттн, увидит и скажет,— они, т.-е., значит, мы, господа, под-шафе, стукнет по глотке и не будет до самого Питера нас беспокоить...

— Умно!

— Не подфальшуем... Ложись, заячий хвост, и говори, что все слава Богу!

Дьякон плюхнул на лавку, Зайчик рядом с ним лег, дьякон крепко обнял его, и Зайчику кажется,

что нет у него сейчас большего друга, как дьякон с Николы на-Ходче.

— Спи, Зайчик миленький, спи!

Чувствует Зайчик, что спит... так спит, что его никто не разбудит... за ногу дерни, с лавки стащи, ничто ни поможет: дьякон крепко его обнимает, ряса у дьякона теплая, рука, словно клещи, буди, не буди: не подняться!

* * *

— Дьякон, скажи ты мне ради всего, отчего мне хочется плакать?

— Спи! Зайчик миленький, маленький, спи и говори, что все слава Богу!

— Все — слава Богу!

— Слава!..

Сундук так и бросает из стороны в сторону, колеса под ним тарахтят, говорят на языке человечьем:

— Так-так, так-так, рас-такы такы-таку твою-так...

ОБОРОТЕНЬ

Вагон, действительно, оказался в составе, должно быть, задолго еще до полночи большой паровоз, так испугавший колыгинскую свинью свистом и паром, перевел потихоньку весь состав сперва на

чагодуйский вокзал, постоял немного на станции, пофукал, попыхтел, нетерпеливо дожидаясь кого-то, потом вдруг свистнул заливисто черной трубой, сдернулся с места и покатил...

Тогда-то, знать, как показалось Зайчику, и заговорили колеса на человечьем языке, и в этом спешном говоре чугунных колес и услыхал тогда Зайчик нарочито придуманное человеком для очистки совести согласие совсем и на все, о чем и на что никогда и нигде не сыщешь ответа:

— Так-так-так, иначе быть и не может!..—всю ночь не переставая говорили колеса, а Зайчик внимательно слушал и безмятежно, казалось ему, спал под дьяконской рясой...

Поезд был, должно быть, специального назначения, первые часа три или четыре шел, ни на одной станции не постояв ни минуты, словно вел этот поезд не машинист, а сам дьявол, и ехал в этом поезде человек, куда-то очень спешащий и за эту поспешность продавший машинисту, то-есть рогатому бесу, ни за грош свою христианскую душу...

Только после двух или трех больших перегонов, паровоз подкатил на какой-то маленькой станции к столбу водокачки, повернул от него рукав к себе в брюхо и долго и жадно глотал холодную воду...

Все это Зайчик хорошо слышал и больше чувствовал каким-то в особицу даденным ему

чувством, о котором, правда, ученые люди не знают, но это не значит еще, что его не может быть иль не бывает...

Напился воды паровоз, попыхтел около пакгауза, где развалены были в беспорядке патроны и гильзы от мелких орудий — должно быть, был неподалеку патронный завод — побегали возле колес машинист с большими рогами и кочегар, у которого хоть рог было не видно, но зато так он был весь черен, и на лице было столько размазано масляной сажи, что при свете горящей пакли на небольшой палке у него в руке он без труда мог сойти за полчорта, — потом подошел к ним человек в интендантской шинели: дал им обоим по сторублевке, машинист и кочегар очень заторопились, потерли, помазали, слазили под паровоз, где главный пупок, за которым и надо следить да следить, чтобы вся его паровозная утроба, винты, трубки да разные гайки не сдвинулись с места, потому что под этим пупком, как и у человека, у него кишки и брюховина, — постучали машинист и кочегар в разных местах в паровоз, как доктор стучит в нас молоточком, узнавая наше здоровье, потом вспрыгнули в паровозное брюхо, дернул машинист за медную ручку: паровоз нехотя крикнул, пар повалил на оба бока и опять: тра-та-так-так — заговорили колеса ...

Так Зайчик все чувствовал, видел и слышал в полусне, ему не хотелось подымать голову, чтобы

лучше все разглядеть и лучше услышать, ему хорошо было под ватной теплою рясой. У дьякона, несмотря на его худобу, было больше тепла, чем у печки, а что делалось вокруг него, он видел и так: видел, как нервно на остановках ходил высокий, как редко люди бывают высоки, чиновник в новой серой шинели, с погонами Союза Городов или Главного Интендантства... подошел высокий человек на одной остановке к паровозу вприпрыжку, почти на самом свету сунулся в тендер, что-то шепнул машинисту в самое ухо, а тот прикрыл шапкой рога и руки к нему протянул и растопырил!

Человек в интендантской шинели сунул опять сторублевку, машинист шапку приподнял и мотнул только рогами...

* * *

...Зайчик поднялся только, когда кто-то его за ногу начал долго и больно тянуть, не говоря при этом ни слова.

Раскрыл он глаза, смотрит: стоит перед ним этот высокий в серой шинели и так уперся в него, словно разглядеть никак не может, тоже спросонья...

— Вы изволите здесь, господин офицер, как очутиться?—спрашивает его высокий в серой шинели.

— Я? — Зайчик поднялся на лавке, посмотрел: рядом дьякона нет, и даже нет никакого знака, что в вагоне еще кто-нибудь был, кроме него и этого интенданта. — Я?.. Очень просто! Я в Чагодуе залез в этот вагон отоспаться и рад, что поспал и действительно очень не худо... — а вы, простите, будете кто, если посмею спросить?..

— Очень приятно... очень даже приятно... а почему вы, так сказать, очутились... в таком, можно сказать, положении?..

— Я?. — Зайчик кругом оглянулся и покраснел, — я, знаете, в отпуске, в Чагодуе с приятелем встретился...

— А?.. это... эт-то бывает!

— А вы, простите, кто изволите быть?..

— Э... мелкая сошка: интендантская крыса зауряд-чинуша Пантюхин!.. поезд, видите ли, свой разыскал... угнали его видети ли, в этот ваш Чагодуй по ошибке, как говорят... чуть, знаете ли, под суд не пошел... тоже у меня, знаете-понимаете, вышло по нетрезвому делу!..

— Скажите?!

— Такой беспорядок! такой беспорядок, господин зауряд!..

— Да... да... а не то што вы здесь со мною ...лежали?..

— Что вы: у меня свой целый вагон! Ваш вагон прицеплен совсем по ошибке, должно быть, в спехах: очень уж я распушил весь ваш Чагодуй,

перепугались!.. Начальник станции на колени вставал!

Должно быть, вы их подтянули?!

Еще бы, такое нахальство: целый поезд с казенным и ценным казенным имуществом, в этом поезде—сукно, полотно, обмундированье!..—еще бы немного и кто-то здорово руки нагрел...

— Подлецы!..

— Еще какие и сколько!.. Впрочем, господин зауряд, вам куда?.. дальше-то вам куда надо?..

— Мне?.. на позицию!..

— Через Питер?..

— Так точно!..

— Счастливо, значит, вы попали проспаться в этот вагон!..

— Что? — Зайчик вскочил и к окошку прильнул: за окнами высоко стояло солнце, по бокам в глазах сливались рельсы в одну беспрерывную сетку, а по рельсам туда и сюда весело сновали паровозы, шипя и посвистывая изредка тонким свистком.

— Что, разве мы едем в другом направленьи?..

— Да нет, нет, в самый раз... только я сейчас вагон ваш отцеплю... он мне не нужен, потому что на кой мне чорт сдались пустые вагоны... вам придется того: или ко мне пересесть... или, ведь... я дальше... вернее всего, не поеду...

— Как не поедете, господин интендант?..

— Очень просто: мне дальше не нужно!..

— Где же мы, значит, простите, сейчас, в настоящее время?..

— В Питере, милый мой, в Питере... только изволите видеть, не на пассажирском, знаете, а на товарном...

— В Питере...

— Да... да... в Питере... вам же в Питер и нужно?..

— Да, мне в Питер и нужно... только вы-то что же это... как бы сказать?...

Видно, что после бредовой ночи Зайчик с трудом ворочал мозгами, поминутно хватаясь за лоб и глаза, как бы не веря еще чему-то или чего-то не понимая: чиновник, как чиновник, лицо серее сукна, только бельмы будто рыжие, и этот... страшенный рост!

— Вам бы немного... того... полечиться... от разных навязчивых штук... говорит он Зайчику, заложившему руки в карманы.

— Вы думаете-е?

— Твердо уверен... Впрочем, господин зауряд, давайте-ка вылезать...

— Что... уж приехали?..

— Так точно-с: Питер!..

Зайчик встал, потянулся и сказал интенданту:

— Спасибо вам, большое спасибо!..

— Вылезайте, вылезайте, мил-друг, вылезайте... Из одного спасиба теперь шубу не шьют... Хе... Хе...

— Так говорите вы: подлецы?!

— Так точно, так точно: подлецов теперь сколько хочешь!.. Да... Да... сколько хочешь... вылезайте, мой друг, вылезайте... Желаю вам на войне, так сказать, всяких успехов... всяких успехов!..

— Благодарю вас, господин интендант...

— Побольше, так сказать, немцев убить, а самому целым остаться... Же-ла-ю... Хе... хе...

Поезд в это время сердито забормотал тормозами, зашипели на рельсах колеса, и Зайчик спрыгнул с подножки.

Туда-сюда посмотрел: большой коридор из красных товарных вагонов, запрудивших все железнодорожные пути, словно лед Дубну в половодье, не видно ни неба,—висит оно дымное только над прогалом между вагонов, как грязное тряпьё развешено—ни людей, ни деревьев, на сердце от этой пустыни стало у Зайчика снова темно и в глазах потемнело:

—Желаю, г. офицер, желаю... побольше немцев... немцев убить... хе... хо... нюшки... хе... хе...

Схватился Зайчик за сердце и смотрит: под вагонами опять засеменили колеса, а на приступке стоит дьякон с Николы-на-ходче и машет ему полой, как черным крылом полуночник.

Зайчик снял фуражку и тоже ему помахал...

Зайчик пожал крепко интендантскую руку, виновато улыбнулся и пошел, немного шатаясь и протирая глаза:

ВЫДУМАННЫЕ ЛЮДИ

Город, город!

Под тобой и земля не похожа на землю...

Убил, утрамбовал ее сатана чугунным копытом, укатал железной спиной, катаясь по ней, как катается лошадь по лугу в мыти...

Оттого выросли на ней каменные корабли, оттого она и вытянула в небо несгибающиеся ни в грозу ни в бурю красные пальца окраин — высокие, выше всяких церквей и соборов, красные фабричные трубы...

Оттого-то сложили каменные корабли свои железные паруса, красные, зеленые, серебристо-белые крыши, и они теперь, когда льет на них прозрачная осень стынь и лазурь, похожи издали на бесконечное море висящих в воздухе сложенных крыл, как складывают их перелетные птицы, чтобы опуститься на землю...

Не взмахнуть этим крыльям с земли!

Не подняться с земли этим птицам!

Оттого-то и прыгает по этой земле человек, как резиновый мяч, брошенный детской шаловливой рукой, вечно спешит он, не зная покоя, не ведает тишины, уединенья не зная даже в ночи, когда распускается синим цветком под высокой луной потаенная жизнь сновиденья, потому что закроет человек усталые очи, а камни грохочут и ночью, и улица булыжной трубой сотрясает его ненадежное

ложе: потому-то и спит городской человек, грезя и бредя во сне недоделанным делом, то ли молот держа в усталых руках, то ли холодный рычаг от бездушной машины, то ли кошель с тайной, при свете дня на дне невидимой дырой...

А коль забредет сюда в улицы, изогнувшие в каком-то тайном недуге свои выложенные булыжником спины, ненароком зайдет зеленый странник— какое-нибудь деревцо, так и стоит возле подъезда или где нибудь в стороне, как отрепаный нищий, покрытый уличной пылью, протянувши бессильную руку в дырявых заплатках полуомертвелых листов для подаянья, но пройдет много народа, да и не пройдут, а пробегут и проскачут, каждый по неотложному делу или безделью, пройдет много за день мимо народу, и никто его не заметит... и копейки никто не подаст...

Разве только в глубину зеленых, в пыли потонувших очей, спрятанных где-то глубоко-глубоко в зеленых глазницах, посмотрит ему, печально понуривши голову на стоянке, извозчичий конь, пока его хозяин, седока поджидая, сидит, как барин, в пролетке, на спинку сиденья откинув кудрявый мужиций пробор, и грезит оставленным домом, хозяйством, и спорит в полузабытьи со сварливым соседом из-за лишнего лаптя надельной травы... посмотрит конь в зеленые очи, голову ниже уронит и тоже заснет, вспоминая во сне неизвестно о чем-то далеком, зеленом, душистом, лежащем теперь

перед глазами, как бесконечный зелено-пушистый ковер...

Думал так Зайчик, шагая с окраины в город... и спотыкался о камни.

* * *

Из улицы в улицу, по площадям и переулкам везде столько народу, столько разбросано лиц перед глазами, столько в глаза устремлено чужих и по чужому уставленных глаз, то ненавидящих без всякой причины, то испытующих: кто ты такой?—оставляющих след за собой, который висит, как паутина, то заранее любящих, только таких из тысячи встретишь разве одни.

Глаза утопают в этом роскошестве глаз.

От множества глаз в глазах у тебя поплывут золотые круги, в голове зашумит и затуманит, как будто поплывут глаза по бесконечному морю глазной синевы, сероты с янтарным отливом, вороненой стали зрачков,—жгучей и вместе холодной, как раскрытая бездна,—черных мужских ненавидящих, женских к себе в глубину узывающих глаз...

Хорошо, хорошо плыть в беспечной ладье без весла и кормила всему верящих, все любящих глаз по этому бесконечному морю, в котором никогда не бывает покоя!!

Все сливается в ропот, земля ходит под ногами, как под рыбацкой лодкой ходит волна...

В такие дни в пригороде у заставной дороги, по которой ездят одни мужики по утрам на базар из ближней деревни на дрянных лошаденках в телегах, похожих на гроб, в которых лежат бараньи туши с перерезанным горлом, с головами, свесившимися с боков, чтобы чертить искаженной губой по ободу колеса и дразнить голодных собак и людей в рабочих слободках,—в такие дни черный встает сатана и вертит всем городом из-за заставы, как шарманщик вертит шарманку!..

* * *

Идет Зайчик по улице, кишащей, как тропа в муравейник, разбежался глазами и в черной думе наступает встречным на ноги...

Взбаломучена улица, люди снуют и спешат, у одних лица печальны и строги, эти тихо идут, сами у них подгибаются ноги, словно их кто по коленям хлеснул, у других... а впрочем, такие лица у всех: они сами на себя теперь не похожи.

Спешат люди — мужчины и женщины, тянут насильно за руки за собой ребятишек, чертящих башмачком о панель.

Спешат молодые и старые, автомобили и лошади—все смешалось в одну набитую туго толпу...

Только изредка пройдет не спеша, щурясь в золотое пенсне иль монокль, какой-нибудь столичный щеголь, питерский франт, которого с Невского нипочем не прогонишь дубиной...

— Да... все же счастливчики есть...—сказал Зайчик вслух, рассуждая с собой, встретив румяного юношу, одетого модно, с иглы: машет он презрительно тросточкой, заложил руки в карман и идет походкой молодого ленивого льва...

— Есть... фон-бароны!..

— А вы?.. вы разве так уж несчастны?..

Зайчика кто-то тронул за руку, за ним шла, очевидно, давно уж какая-то женщина, одетая в серый английский костюм очень дорогого сукна, в густой вуалетке,—показалась она Зайчику столь же молодой, сколь и красивой...

— Простите меня, сударыня... извините меня... я, кажется, вас немного толкнул...

— Да... наступили на ногу... чуть-чуть... меня очень занимает: о каких счастливцах вы говорили?..

Женщина смотрит на Зайчика просто и прямо, под вуалеткой насмешливая улыбка, в которой все же больше любопытства и доброты...

— Я очень не люблю несчастных людей, хотя счастливой себя назвать не могу...

Зайчик чуть приостановился и как-то невольно протянул женщине руку, женщина быстро схатила ее и подцепила под локоток.

Как давно знакомые, пошли они дальше, неловко натыкаясь друг на дружку в людской толчее.

— Да, я тоже, пожалуй... О счастьи своем я думаю часто... реже о счастьи других!

— Разве?.. Думать о счастьи—уже наполовину быть несчастливым!..

— Это, пожалуй, и правда...

— Нет... нет... я глупость сказала: несчастным я вас не считаю!

— Я очень счастлив на... несчастье!

— Тоже ведь счастье?.. А счастливым быть нужно... и важно! Я не люблю несчастных людей, да их никто ведь не любит! Однако... давайте о чем нибудь повеселее!

Женщина крепко прижала его руку к себе и весело засмеялась.

Зайчик смотрит в прыгающие глаза и сам себе начинает не верить: под вуалеткой знакомые дорогие черты, солнце ли так освещало лицо женщины, идущей с Зайчиком рядом, при каждом повороте головы выдавая все большее сходство, призрачен ли свет вообще в этом меркотном городе, да еще осенью, когда все предметы, строения, деревья и люди, кажется, светят насквозь,—только не может Зайчик оторваться и не смотреть на чудесную игру осеннего солнца: пусть оно шутит с ним, лицо женщины все больше и больше становится похожей, нежней и прекрасней.

Да и было ли все это удивительным в том положении, в котором очутился Зайчик, вчера лишь еще только потеряв Клашу, как ему показалось, уже навсегда...

Трудно привыкнуть к сердечной потере: словно вот был на руке дареный на долгую память перстень, в перстне камень самой чистой воды... и вот, теперь, как равнодушно смотреть на пустое гнездышко в дареном кольце?..

Долго потом будешь под ноги смотреть, где бы ни шел и о чем бы ни думал, и каждый простой стекляшок, валяющийся в панельной грязи, потянет к себе наклониться, поднять, поднести на ладони близко к глазам: такова уж сила любви в человеке и равная ей горечь утраты.

Зайчик шел, молчал, упорно под ноги смотря, женщина тоже молчала...

— Вы... вы... о чем думаете?—тихо спросила она.

— Я думаю?.. думаю вот о чем: как вас зовут?.. и какое у вас может быть имя?..

— Да вы бы спросили: чего же тут думать?!..

— Да, мне бы хотелось бы знать...

— Нет, я не скажу: у меня глупое имя... я сама себя зову по другому...

— Мне хотелось бы знать, как вас зовут?..

— Как окрестили?.. на что это вам нужно?.. так точно?..

— Нет, вы, ради Бога, со мной не шутите... мне нужно всерьез...

— Вы, должно быть, на меня загадали?.. Скажите, правда ведь?.. да?.. по-моему, вы сейчас шли и гадали... судьбу...

— Это, может, и верно... как понимать...

— Ну, вот видите!.. у меня был такой один штабс-капитан... знакомый: идет по улице и тумбы считает, загадает вот так от угла до угла, сколько их будет,—как ошибется: значит—убьют!..

Женщина заглядывает Зайчику в лицо и смеется...

— Долго он так гадал?—улыбаясь ей, спрашивает Зайчик.

— Нет, скоро убили... Хотя тумбы говорили иначе...

— Меня не убьют... и на тумбах я не гадаю... Мне цыганка гадала на картах...

— Цыганка?.. ах, интересно... а... где?..

— В лесу...

Женщина нагнулась вперед, заглянула ему в глаза с тревожным любопытством и опять улыбнулась.

Зайчик подумал:

— Как Клаша... только жаль: конечно, это не Клаша!..

— А знаете,—говорит нараспев женщина,—вы сами немного похожи... на... на лесного Леля... вы очень... очень красивый... раскажите мне про цыганку!..

— Цыганка мне говорила, что я утону...

— И вы верите этому вздору?..

— Это не вздор! Утонуть можно двояко!

— Чудной вы... легко же вас обмануть...

— Зачем... я вам ничего худого не сделал...

— Нет... нет... милый... напротив... Вы знаете, зачем я пошла вслед за вами... я встретила вас и вернулась...

— А зачем?..

— Я немного рисую...

Женщина остановилась у под'езда очень высокого дома, у стеклянных с медными ручками до самого полу дверей стоял швейцар в синей ливрее, с усами, как лисьи хвосты, с бровью, упавшей со всем на глаза.

— Зайдите ко мне... на минуту?..

— Я... не знаю...

— Дороги?..—ухмыльнулась женщина.

— Нет, ваше имя не знаю...

— Хорошо!..

Женщина сняла быстро с глаз вуалетку, и из под шляпы выбился снежный, серебряный локон, еле заметно вьющийся струйкой на плечи.

— Вы седая?..

— Нет: поседела!.. Хотите знать, теперь, как старуху зовут?..

— Хочу,—говорит Зайчик с дрожью, очень хочу...

— У меня очень кухарочье имя... Меня зовут...

— Клаша!—Зайчик радостно вскрикнул...

— Клаша... да, милый, Клаша... Так гораздо лучше звучит...

Женщина подцепила опять его под руку, они было прошли уж мимо усача в синей ливрее, почти-

тельно нахмурившего бровь, но у самой дверки под'емника Зайчик уставился воспаленными глазами на усача и сказал тихо женщине, —прыгали у ней в глазах огоньки!—

— Странный у вас швейцар!... По-моему, он ненастоящий!..

Женщина хихикнула и заправила под шляпу выбившуюся прядь.

— По-моему, он... выдуманный!

— Нет, нет, милый: он... из Рязанской губернии!—сказала строго женщина, — а впрочем, может быть, вы и правы: теперь, ведь, очень много ненастоящих людей!..

Зайчик взглянул в упор на лукаво-смеющееся лицо женщины и вдруг дернулся с места, выскочил на под'езд и во весь дух побежал на другую сторону улицы, держась за фуражку...

* * *

В уличной сутолке, в безумной гоньбе извозчиков, лихачей, автомобилей, трамваев Зайчик легко мог попасть под колесо, но он, хотя и находился в полубреду, близком к тому, какой бывал у него некогда в детстве в лунатные ночи, потому-то, должно быть, был достаточно легок и увертлив, чтобы не поломать себе обо что-нибудь шею...

Пробежал он так три или четыре квартала и остановился на изогнутом через грязную реку мосту-

Глядит он... словно впервые их видит... глядит на бронзовых, лосных, будто окаченных ливнем коней: вздыбились они на граните, вот так и хочут кажется Зайчику, подмять его под себя чугунным копытом.

— Творится со мной что-то неладное,—думает сам про себя Зайчик, а впрочем... теперь на все наплевать... главное: как ведь похожа?!.. Видится, значит!

Зайчик оперся на мостовые перила и загляделся в грязную воду.

— Если буду тонуть, то хорошо бы все же в чистой воде,—думает Зайчик...—а, впрочем, да... она ведь это, наверно, намекала на водку: в ковшике, говорит, молодой хозяин, утонешь! В кумке!..

Уперся Зайчик в одну точку на воде и повис на перилах...

По воде бегут не спеша масляные кружки, ветерок чуть охватит жирную поверхность едва уследимой рябью, течет, как в сказке, мертвая вода в гранитных берегах и со дна не кажет лица: ни плотица серебрянной чешуей не блеснет, играя с подругой на солнце, ни букаражка не пустит пузырь, ни тинки у берега никакой не видать, а вода тянет к себе, шепчет еле различимым в грохоте шопотком, и мост вздрагивает, когда пронесется по нему грузовик, будто хочет сбросить Зайчика в воду...

— Господи!

Зайчик припал к перилам и закрылся рукой...

— Лелик!... Коленька!.. Как и откуда?—услыхал вдруг Зайчик над ухом радостный голос...—Ты что это тут?

Зайчик нехотя обернулся, перед ним стоял веселый, вечно смеющийся, длинноносый приятель, которому всегда удивлялся Иван Палыч, заглядывая в Зайчиков портсигар с приятелевым портретом на крышке, когда тот угощал его папиросой, тянул к нему руки и уже целовал его губы и щеки.

— Здравствуй, здравствуй!... Какой — молодчина!!..

Смотрит Зайчик, что приятель самый что ни на есть настоящий, пришел в себя и тоже—бросился к нему и стал его целовать...

— Дорогой мой, я очень спешу... проводи меня на Рижский вокзал.

— Спешишь?.. Да что же ты, как пень, торчал на мосту?..

— Я, видишь ли, заблудился... и очень устал...

— Переутомился... да это, брат, все... а вид у тебя хоть куда!.. Казенный хлеб, видно, в пользу!

— Здоровый?! . Скажи, ничего?..

— Говорю, хоть куда: боевой!.. Только глаза... а ну покажи: вчера перебрал!..

— Да нет, я пью аккуратно... Так ты проводишь меня?..

— Вот еще, Лелик!.. Конечно... Извозчик! Извозчик!.. На Рижский...

Тпрукнул усатый лихач, Зайчик с приятелем вспрыгнули на подножку пролетки и покатили.

— Я, милый, заблудился, словно в темном лесу!..

— Ну, ну, рассказывай: как?

— Да никак: надоело!..

— Пишешь?..

— Куда тут!..

— Это от лени: ты больно ленив!..

— Полно, милый... Не хочется сейчас об этом и говорить... Вот что: скоро будет конец?..

— Конец?.. Немцу насыпим и... баста!...

— Не верится что-то...

— Да и нам тоже... не очень!..

— Вот видишь?!..

— Могу только сказать: скоро, Лелик мой, скоро!

— Только б скорее, а на остальное все наплевать!..

— А родина?..

— Родина?.. Родина!...—Зайчик просветлел и схватил приятеля за руку.—Разве родину можно отнять?...

— Немец придет и отнимет...

— У нас немец в болотах потонет, помнишь: как в сказках!..

— Нет, Лелик, техника! Это не сказка... а впрочем, я с тобою согласен: мы теперь между Аникой и Иванушкой-дурачком!..

— Вот-вот... Только б скорее!..

— Видно, тебя проморило... Что же ты скачешь, заедем ко мне: отдохни...

— Нет, нет, не могу... Мне трудно тебе рассказать почему, но не могу!..

— Верно, опять что-нибудь с чертями не ладно? Чудак-человек!

— Не поверишь! Лучше уж я промолчу... Что это, Рижский?.. Ты заплати: у меня ни полушки!..

Приятель ссадил Зайчика у вокзала, поцеловал его крепко в самые губы и сказал лихачу:

— Обратно!..

Зайчик достал портсигар из кармана, помахал им на прощанье, а приятель, поднявшись с сиденья, еще раз крикнул ему:

— Береги, это счастливый подарок!..

Зайчик улыбнулся и стал расспрашивать носильщика, где стоит последний очередной эшелон на позицию... Носильщик показал на ворота, куда в'езжают ломовики, за шлагбаум: вдалеке у товарных пакгаузов дымил паровоз, а за ним тянулась (казалось, ей нет и конца) длинная лента товарных вагонов,—доносились оттуда громкие крики, песни и свист и заливистые переборы тальянки...

— Туда легко, трудно оттуда... как с того света, — думает Зайчик, не спеша шагая к вагонам...

Ближе крик и свист. Вагоны набиты, тесно в них, как в базарный день в лавке Митрия Семеныча, все свистит, свирестит, хочется, видно, серым

шинелькам заглушить сердечную боль и тоску показной веселостью, ненужным криком и не враз начатой песней, которая так же неожиданно обрывается на полуслове, как, может, скоро оборвется и жизнь...

Соловей, повада-пташка,
Не пой лету под конец:
Ты не жди меня, милашка,
На побывку под венец!..

— На позицию, вашь бродь?..—спрашивает солдатик с умильным, именинным лицом...

— Да, братец,—сказал Зайчик, остановившись,—опоздал на свой эшелон.

— На Ригу изволите?..

— На Ригу...

— Мы тоже: вон там офицерский... первый от паровоза...

— Да нет, туда далеко итти... дай-ка мне руку: я с вами устроюсь!..

Десять волосатых рук сразу протянулось к Зайчику. он уперся об закрай пола вагона и в миг очутился в знакомой, пропитанной особым солдатским душком тесноте, к которой за четыре, почитай, года привык не на шутку,—в углу на нарах лежали солдаты, Зайчик прилег к ним и скоро заснул спокойным ребяческим сном...

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

СМЕРТНЫЙ ПЕРЕВОЗ

НОЧНАЯ СКАЗКА

Да, так вот всегда и бывает!

Кому беда, кому еда, так уж устроено в жизни, а для нас с этой водополицы получилось вроде как праздник!

Утопло у нас всего человек полтораста, а чертухинских десятка два или поболе... Солдат, ровно гриб: смерть ногой счеканет, а грибник пройдет и головы не наклонит!

Пропали, дескать, без вести, неизвестно в каком таком месте!

Никто и не доискивался, кто да что, поставил только Иван Палыч крест в своем нарядном листу, тем и делу конец! Каждый же из нас в отдельности Бог весть как рад был сам за себя и самому себе даже не верил, что сух вылез из бани!

Иван Палыч, когда перешли мы в резервы, первые дня два или три проснется в полночь, скинет штаны, заворотит до непотребства рубаху да сонный и ходит, как блаженный, по конюшне, пока его кто-

нибудь не заберет под локотки да не уложит на нары или не вспрыснет холодной водой.

— Ишь ты, тьма те возьми, — скажет только Иван Палыч, очухавшись,—грезится все, что тону иль купаюсь, и будто я не Иван Палыч, а семилеток Ивашка и будто перехожу за коровой Янтарный брод на Дубне, и вода корове только по муклышку, а мне по самое горло... хошь бы домой отпустили ..

— Все равно управют теперь молотьбу и без нас,—утешает его всегда Каблук или Пенкин,—поспеешь разве к пастушьей разлуке...

— Э-э... да на пастухов хоть одним глазком поглядеть... сам бы пошел в пастухи!

— Говорят, Иван Палыч, что наш командир подал рапорт, каждый, значит, на целый месяц поехал бы в отпуск, а по возвращеньи крест получил, да писаря его искурили...

— Известно: сукины дети! — хмуро промолвит Иван Палыч.

Иван Палыч, два Каблучка, все Морковята да уж и много других, которых не упомню, пролежали первые дни в большой лихорадке, по ночам нас всех било под одеялом, в голову лезла разная чушь и нескладиха, а по утрам ходило все перед глазами кверх кувырком, котелок с кипятком словно на бок валился, и с языка подчас срывалось такое чудное, от чего и самому потом становилось чудно.

Один только Пенкин, казалось, ничем не страдал, лежал целые дни на матрасе, набитом пахучим

сеном, и все время глядел в потолок, вставая только к обеду иль к чаю, да, не глядя ни на кого, что-нибудь отмочалит да обсмеет кого, от чего никому не обидно, а только в горле щекочет...

— Иван Палыч, — скажет вдруг Пенкин, — ты умный мужик или нет?

Иван Палыч заекает кадыком и не сразу ответит:

— Дураком родная мать не зывала!

— Ну, тогда отгани мне загадку...

— Ну?

— Как шуринов племянник зятю родной?

— Смекалистая загадка... надо подумать... зятю родной?

— Да... ты долго не думай!..

— Деверь, што ли?..

— Нет, брат, не деверь!

— Сваток?..

— Ну!.. сваток! Разберись в голове, уклади по порядку...

— Нет, брат Пенкин, не знаю!

— Ну вот, Иван Палыч, а ты говоришь, что мать дураком не зывала...

— Да ты говори!

— Скажу завтра утром!

И на другой бок повернется... Иван Палыч посмотрит Пенкину в спину и сам про себя начнет выводить родню за родней, а все не выходит...

— Как решето голова: одни только дырки!..

Думает, думает так Иван Палыч, кувыркнется и

захрапит... Ночью проснется Иван Палыч, словно шкнет кто, и глаза не знает куда девать: не спится!

Полезет разная чушь в голову, инда и в явь станет страшно...

— Прохор, не спишь?

— Нет, сон чорту продал!..

— Дорого взял?

— За твою башку меньше дадут!..

— У моей башки, Прохор, ума есть лишки, а у тебя и в переду, и с заду ни складу, ни ладу!

— Шея курья, голова дурья!

— Тьфу те в прорву!

Смотрим мы на них и за животы держимся, каждому подбивало ввязаться, да на язык так горазды не были.

Долго препираются оба, потом все уладится, и Пенкин вполголоса, чтобы нас не побудить, рассказку сказывать будет: хорошо было слушать Пенкина в полусне, вроде как видишь все тогда на яву, и у Пенкина голос становится то тише, словно уходит, то будто шепчет в самые уши, а перед глазами, утонувшими в сон, все, что ни скажет Прохор, стоит как живое:

— Во время иное и в месте ином,
Может в конце, а может в начале земном,
Стояла Гора Золотая...

Стояло на этой горе в ин-времена большое село, по прозванью „Праведное", и жили в этом селе правильные люди. Гора была золотая, по селу шла

золотая улица, на улице стояли золотые избы, и жили в этих золотых избах люди с золотыми сердцами—правильные люди...

И мы иногда в добрый час говорим про другого: золотой человек, скажем и сами после не верим, да и трудно как-то этому верить!

Жили так правильные люди, соблюдали свой правильный закон, пахали свою золотую землю и добро копили...

* * *

Однажды, не помню в каком году, в каком месяце, сидели правильные старцы на заваленке у понятой избы, дела свои правильные решали... Сидят старцы, в бороды свои укутались... Глядят: идет по селу чужой человек.

Кликнули старцы чужого человека и спрашивают его: откуда и куда прохожий человек идет?

— Иду я,—говорит им прохожий,—по белу свету,

Ищу правду, а ее нигде нету...

— Как,—спрашивают правильные старцы,—нету: мы старцы правильные, и царь.

И псарь,

У нас одинаково правду любят...

— Нет,—отвечает прохожий,—правда человечья,

Что шерсть овечья:

Из нее можно валенки скатать и варежки сплесть,

У кого какая совесть есть...

— Как же так? — спрашивают правильные старцы.

— Очень просто, — отвечает прохожий, — правда человечья, что каша с салом,

В большом и малом

Пропитана ложью.

Не то, что правда божья...

— В чем же тут различие:

В смысле — спрашивают правильные старцы — или в обличии?

— Человечья правда — посох, а божья правда — крылья!

Сказал так прохожий, в сизого голубка обернулся, кверху турманом взвился, а потом сел на застреху и ворковать зачал...

Сидят старцы правильные, голубиную воркотню слушают, а сами про себя думу думают:

— Надо итти на старости лет правду божью искать, у разных людей ее поспрошать, в разных местах ее доглядеть...

Только куда вот итти — невдомек никому...

— Пойдем, — говорят правильные старцы, — куда глаза поведут...

Вырезали старцы правильные по березовому посоху, бороды вокруг пояса обернули, да на большую дорогу: остались в селе Праведном одни только во-

робьи под застрехой, да бабы с малыми ребятами на улице...

Только тронулись старцы правильные в путь, голубь с кровли сорвался, в синее небо над ними взвился, крыльями лоп-лоп захлопал, громко загургукал... Откуль ни возьмись, налетел на него серый ястреб, крылья сизые голубиные смял, перушки мягкие выщипал, кровь сладкую выпил... Собрал ветер голубиные перья и понес их сизым облаком по поднебесью.

Летит по небу облако, словно платочком издали машет...

Летело так облако ровно три дни, шли так правильные старцы ровно три года,—на третий год в Ерусалин-град пришли.

Видят старцы, что отдохнуть им пора,
Отдохнуть пора, постучать у чужого двора,
За чужим столом посидеть—закусить,
О правде божьей чужих людей расспросить...

Идут они по Ерусалину-граду,—видят: навстречу им пузатый поп!

Идет поп, как большая бочка катится, селезенка у него, у мерина, на ходу екает, а в брюхе бурлит, словно опара всходит...

— Скажи, ваше священство,— спрашивают правильные старцы,—где правда божья живет?..

Поп на них глазами уставился, словно никак дураков не разглядит, молчит, пыхтит, обеими руками за живот держится, словно лопнуть боится,

потом на самую большую церкву пальцем утыкнул,

Громко икнул,

И покатился...

Пришли правильные старцы в церкву, запружена церква народом, уставлена церква иконами, увешана церква лампадами, утыкана церква свечами, со всех сторон угодники смотрят,—кто повиднее—под самый перед,

Кто победнее, так в самом углу...

Ходили старцы правильные по церкви ровно целый день, народ локтями толкали, лбами у каждой иконы стукали, пришли к вечеру в последний притвор,—глядят: в притворе гроб стоит...

Гроб золотой парчей околочен, камнями драгоценными усыпан, а над гробом лампада большая светится—полтора пуда лампадного масла войдет...

Спрашивают правильные старцы:

— Здесь правда божья живет?

— Здесь,—отвечает им монах.

Склонились старцы правильные к парчевому гробу, в землю поклон положили—смотрят: нет ли где в гробу дырки какой, на божью правду взглянуть...

Глядели, глядели: нет нигде щелки никакой, глядь, только в одном месте черный таракан сидит, длинным усом водит, старцев правильных посмотреть в щелку манит, прильнули старцы, смотрят, смотрят, ничего не видят, ни тьмы, ни свету,

Ровно как в гробу ничего и нету...

Поднялись старцы правильные с приступок, монах лампадку поправил, лампадного масла подлил, в кадило ладону положил...

Крестятся старцы истово, на лампаду большую уставились,—а в лампаде маленький бесенок купается, кверх брюхом в лампадном масле плавает и красный свой язычек поверх масла выставил, словно на старцев правильных дразнится.

Постояли правильные старцы, покумекали,
Спросить о правде божьей больше некого.
Говорят они монаху:
— Чтой-то в гробу нету-ти праху?

Чтой-то в лампадке гадёнок плавает, портит лампадное масло.

Смотри, монах, как бы лампада не погасла...
Осердился монах на правильных старцев:
— Не дает вам Бог,—говорит,—смерти,
Вот вам везде и видятся черти...
Подумали старцы, в уме все прикинули,
По последней полтине вынули,
Монаху на масло подали,
А сами встали поодали...

Простояли они так, пока в куполе звон не пошел, пока из церкви народ не повалил. Вышли и старцы правильные, смотрят облачко сизое за град-Ерусалин бежит, платочком машет...

Увидали старцы правильные платочек, стучаться на чужой двор раздумали, посидеть-закусить расхотели, завернули у пояса бороды, да и снова в

путь. Много ли, мало ли старцы правильные шли, оттянули им спины кошели, обшаркали они ноги о пырьтраву, надсадили глаза, дорогу разглядывая...

Шли так правильные старцы, шли и на Афон-гору пришли. Подошли они к Афон-горе рано по утречку, березовым посохом в ворота стучат...

— Кто там?—спрашивает сторож с колотушкой.

— Мы,—говорят старцы правильные,—по белу свету ходим, божью правду ищем, нигде не находим...

— Напрасно вы время проводите,—говорит сторож из ворот:

Правда божья у чорта в батраках живет...

— А в каком таком месте,—спрашивают правильные старцы,—это будет?

— Выйдите назад; тогда,—говорит сторож,—и скажу,

И дорогу покажу,

А то если кто сюда войдет да знать это будет,

Все равно, выйдет—забудет.

— Ладно,—говорят правильные старцы...

Прошли правильные старцы в Афонские ворота, от ворот кверху ступеньки идут, на каждой ступеньке стоит церковка, на каждой приступочке—часовенка...

Поднимаются правильные старцы по ступенькам, а впереди их идет

Монах,

В гарнитуровых штанах,

Шелковую купчиху под ручку ведет...

Идут старцы за ними, на Афон-гору лезут,— на самой на Афон-горе, видят, золотая клетка стоит,

В золотой клетке затворник сидит,

Подошли старцы к затворнику-притворнику, а он себя сыромятиной по заду бьет.

— Зачем это он?—спрашивают старцы правильные у монаха.

— Затем,—говорит монах,—чтобы на Афон-гору больше купцы подавали, в святые хочет попасть...

— Так,—говорят правильные старцы и три поклона в землю положили...

Встали старцы правильные с земли, на затворника-притворника смотрят, открылась у затворника-притворника крышка на голове, и все у него в голове старцам правильным, как в сундуке, видно.

Смотрят старцы правильные, а там из мозгов чорт колбасу вертит.

Да на правильных старцев рогами крутит...

— Убивает плоть,—говорит старцам правильным монах,

В гарнитуровых штанах.

Старцы правильные ему ничего на это не сказали, боялись, что он их с горы вниз столкнет, три поклона еще ударили, бороды вокруг пояса закрутили, да и вон пошли...

Подошли они к сторожу у врат:

— Скоро же вы,—говорит он, — воротили назад...

— Говори,— просят правильные старцы,—куда нам теперь итти...

— Вот—говорит сторож и колотушкой показывает,— идите все прямо полями и лесами,

Горами и реками,
Ко месту некому,
Убогому,
Калекому,
Низкому-пологому,
Где ель не растет, ива кудрей не ронит,
Где человечья нога во мху тонет...

— Ладно,—говорят правильные старцы,—как это место прозывается, под какой звездой это место находится?..

— Прозывается,— отвечает сторож, привратник-собратник,— прозывается это место Чертухиным, Антютик в Чертухине ходит за старосту, правда божья у него в батраках, в услужении, стоит то место вон под той звездой, что на землю глядит, как зеленый глаз.

— Спаси те Христос, а заодно и нас!

Поклонились привратнику-собратнику правильные старцы до самой земли

И в путь потекли...

Шли так старцы долгие годы, шли так долгие месяцы, сизое облачко в небе растаяло, разнес ве-

тер сизые перушки в разные стороны, упали они на дальнем севере вместе с снежными хлопьями,—не так ли и душа человечия, в смертный час,

Скрывается с глаз...

Шли старцы по темным ночам,
По дремучим лесам,
По ковровым лугам,
По речным берегам,
Шли по дорогам нехоженым,
По тропам проложенным,
По задам, по околицам,
Где трава колючая колется,
Где пески сыпучие ноги секут...

Шли правильные старцы потайно мимо сел, мимо деревень,

И в какой час, в какой день,
Пришли на Светлые-Мхи, в наше Чертухино...

Сели правильные старцы у мокрыжины, на наш дремучий лес дивуются, воткнули в землю свои посохи, глядят, лежит у болота чекрыжина, а под чекрыжной корягой леший Антютик спит...

Обрадовались правильные старцы такой находке, позвали на ответ Антютика:

Где у него правда божия тутытка?..

Сел с ними Антютик, слушает, как ходили правильные старцы по миру, что от него, старого лешего, требуется.

Слушал, слушал их Антютик наконец, говорит старцам правильным попросту:

— Проходили, вы, видно, бороды, попусту,

Совратил вас, видно, привратник-совратник, указал вам отсель,

Где за десять верст кисель.

Хорошенько меня слушайте: мне-то вас обманывать незачем...

Я ни зверь, ни человек, ни баба, ни мужик, ничего не делаю,

Только по лесу бегаю...

Правда же на земле вот какова: кажное дерево на свой лад шумит, кажная трава свой голос подает,

Кажная птица на свой манер поет,

В кажном монастыре есть свой звон,

У кажного есть свой закон,

По своему закону, по своей правденке всякий живет...

Только закон с законом не сходятся, только правда на правду войной идет:

Волк ест козу,
Коза ест лозу,
А сидят все на одном возу,
Вот тут уж и я разобрать не мог,
Что правда, где ложь.
Тому хорош,
Этому плох,
Тому плох—этому хорош,
Тут ничего не разберешь,
Живи как хошь,

Потому: какая вошь,
И та живет и жить хочет,
И тоже о своей правде хлопочет...

Только над всей этой правдой, похожей на ложь, есть единый свет,

Ему ни конца ни начала нет.

Держит он над землей днем золотой фонарь, ночью серебряный, развешивает облаки днем, чтоб не жарило, ночью лампады теплит, чтобы было в лесу светлей.

Держит он в руках землю, как малое дитё, на все, что творится, сквозь пальцы смотрит, — наклонит он над землей синие очи,

Росою луга намочит,
Деревья освежит,
Землю дождем напоит.
Прорастет на земле всяк
Зверь, злак,
Птица и гад.
И всякому он рад,
Всякого растит и холит,
Всякому мирволит...
Потому-то и дерет волк козу,
А коза,
Лозу,
А лоза,
Божью слезу,
Из земли пьет,
Тем кажный и живет...

У всякого своя правда и ложь,

И всякий по своему плох и хорош...

Ну, а теперь,—кончил Антютик,—давайте-ка с устатку да дорожки

Поедим клюквы да морошки...

Стал Антютик старце вправильных в плечи толкать-будить, да так и не добудился: вогнал он старцев правильных в такую дрему,

Что не разбудить никому...

С той поры прошло много-много лет.

Теперь уж и Антютика нет,

И от старой чертухинской рощи

Остались одни только мощи:

Пни да коряги, сучья да прутья, да корни в что земле!..

Остались только по сю пору божьи подожки, что и теперь стоят на мокрыжине, к которой ни под'ехать, ни подойти, можно только издали поглядеть, стоят березовые посохи, около них кочки мхом поросли, только с кочек тянутся бороды, да ползет вьюнтрава по земле, окна-провалины прикрывает...

* * *

Так приходит в свой час и были, и выдумке, и жизни, и всякой сказке конец...

Хорошо спать и хорошо всем спится после Пенкиной сказки: видится всем наш родной край, наш дремучий лес, полусведенный ни за грош богачом Колыгиным.

Проспишь до утра, словно по лесу этому нагуляешься, вольного елового духу в грудь наберешь, исходишь всю вырубку, увидишь издали Светлые-Мхи: на мхах без листьев березовые посохи стоят, нет на них листика, только в прилетный день по весне мелкие птахи сидят, лес делят: кому где гнезда вить.

ПЕК ПЕКЫЧ

Зайчик тихо шагал по Тирульской дороге: торопиться теперь было некуда: на сердце—тревога, в душе безнадежье...

Да и кругом незаметно умиротворенной человечьей руки: недорубленный бор смотрит вдали искаженным и обезображенным лицом, словно палач в середине казни сам испугался,—вывалился у него топор из повисших рук, а жертва так и осталась с недорубленной головой лежать на помосте: уцелевшие ели и сосны смотрят уныло на вырубку, на отрубленные и брошенные безтолку вершины соседей, на коренастые пни, откуда по капле течет смоляная слеза.

Стоит сосновая роща порублена, каждое оставшееся деревцо на вырубке, словно человек, раздетый ворами на дороге: не знает он, что ему делать, кому жалобу нести, кого просить.

Смотрит из-за них синим опечаленным глазом Счастливое озеро, трепыхает на нем быстрое парусное крыло, низко наклонившись к воде под неумелой

женской рукой, и по берегу, где недавно еще стояли рыбацкие чистые хаты, теперь только пеньки да обугленные бока полусгоревших строений: бросил немец на рыбачье село с летучей машины в сухмень стальное, начиненное огнем, высиженное самой смертью яйцо, замутила чистые озерные воды ядучая сиротская слеза.

Летят по небу гуси с грудным настороженным гоготом, вытянув шеи, забирая все выше и выше при виде окопных дымков, тянут под самыми облаками с серебряным присвистом журавлиные стаи, оглашая дали печальным прощальным курлыканьем:

— Родина, родина, тебя скорей журавли могут унести на своих крыльях, чем огнем лютый неведомый враг выжечь из сердца, отнять и ввергнуть в небытие: нет для тебя погибели, потому что велика и величава полевая печаль от века, ни один народ ее не примет, ни одна душа не благословит, ни одно сердце песни о ней не сложит!..

Летит стая за стаей, лента за лентой, и эти журавлиные ленты под небом разве только встречный ветер всколышет, а вожак впереди и крылом не дрогнет, и тревожного знака не подаст молодым, когда стосковавшийся в серой шинели мужик приложится желтой щекой к ложе винтовки, мушку на вожака наведет, потом зажмурит от солнца глаза и дернет курок:

— В белый свет, как в копеечку...

...подморгнет товарищу, упершему в землю глаза, и

тоже в землю молчаливо уткнется и больше не взглянет на небо с журавлиными лентами в синей косе...

Разорвет их только разве по утру да в вечер железная птица, вылетевшая из-за немецких берегов на разведку...

* * *

Пошел Зайчик к штабу полка и начал раздумывать: куда ему лучше сейчас заявиться, в штаб или прямо итти в свою роту.

К командиру пойти, налететь на разгоняй, в роту—на распаляцию к Палон Палонычу! Да и где теперь рота, тоже неизвестно... хоть и насидели место, а за такой срок все может случиться!..

— Пойду лучше к Пек Пекычу,—подумал вдруг Зайчик, вспомнивши давнишнюю славу у нас старшего писаря Петра Петровича Дудкина, который тайно ворочал всеми полковыми делами.

— Только скверно: денег нет ни копейки...

Сунулся он в карман гимнастерки, не завалилась ли где какая бумажка, нащупал в углу катушок, вытащил, развернул: сторублевка.

— Это Клаша, наверное,—подумал Зайчик,—а может и та... впрочем, сейчас это неважно...

Было еще довольно раннее утро, писаря еще не вставали, и Пек Пекыч в отдельном своем помещении в постели лежал, как генерал.

Зайчик постучал к нему и вошел: Пек Пекыч и головы не поднял...

— Доброе утро, Петр Петрович,—сказал Зайчик, присевши к нему на кровать, и руку ему протянул, в которой ловко был зажат катушок,—выручайте, голубчик...

Пек Пекыч глаза чуть приоткрыл, катушок учуял ладонью, сунул его себе под подушку и недовольно сказал:

— Откуда же это вас присадило?... я вас исключил...

— Как исключил!..

— Без вести.

— Как же, Петр Петрович, голубчик, надо бы это исправить!..

— Да, конечно, не беспокойтесь: будет все в самом наилучшем виде.

— Вот и ладно.

— Завтра же водворим на прежнее место...

— Вот и ладно: поменьше бы только хлопот да представлений!

— Уж будьте—у верочки...

— К полковому ходить?..

— Ни-нни...—Пек Пекыч поднял маленький пальчик,—обтакается так: он, ваша светлость, и так, как очумелый!

— У него больные печенки.

— Нет, это от двинской воды: разве вы ничего не знаете?

— Петр Петрович, я ведь только что...

— Понимаю, у нас, батенька, следствие, суд будет!

— Вот как, с чего бы это, казалось—командир не из последних: Георгия носит.

— Только что разве вот Жоржик поможет, кажется за все ваш Таракан будет платиться усами...

— Капитан Тараканов?..

— Ну, да, ваш командир: недосмотренье,—Пек Пекыч скуксил в комочек лицо и поднял бровку одну выше другой,—недосмотренье...

— Петр Петрович, что же случилось?

— Как, что случилоеь, вот тебе раз: у него полроты водой унесло, а он и не знает!

Зайчик вскочил, как ужаленный, и обеми руками схватил себя за глаза.

— Правда это, Петр Петрович, что вы говорите?

— Сущая правда, ваше благородие... Вот уж да!.. такой был водополь: синаево море! Да ведь и про вас-то подумали, что утонули вместе со всеми... хотя Таракан ваш говорил, что вы... того... деранули к немцам, будто бы, вплавь... давно, дескать, случая ждали!

— Осподи Боже! Да я...

— Этот, говорит, навряд-офицер давно у меня на замете!

— Да?.. час от часу, вижу, не легче!

— Ну, да ведь кто теперь ему поверит... Таракан наш срахнулся—суд, батенька, следствие будет, потому: недосмотренье! Шутка: Двину прозевал!..

Солдаты небось не щепки: надо было во время убрать и распорядиться... и... и донести!

Стоит Зайчик, смотрит на Пек Пекыча, словно чего-то никак понять не может, а Пек Пекыч ноги под одеялом обхватил и сжался в комок, стал совсем тоненький, маленький, жухленький, на промокашку похож, вот положи его в синюю папку с надписью „Дело", что на столе, и никакого Пек Пекыча на свете не будет.

— Что это вы,—спрашивает он,—глаза-то на меня так вылупили?

— Да, так, ничего, удивляюсь...

— Чего удивляться?.. можно сказать: везет, как утопленнику: теперь-то мы вас как-нибудь отрапортуем, а вот если бы здесь в эту потопицу попали, то ли с головой бы скрыло, то ли под суд тоже... потому хоть и боевой вы офицер, а против Таракана все же ведь чином не вышли!

— Выходит, Петр Петрович, я в самом деле в выигрыше?

— Ясно: Таракану-то теперь не отвертеться! Полковник Телегин вывезет, у того Жоржик, а у Таракана, кроме усов, ведь ничего нету. Вот что: вас спрыснуть нужно!

Пек Пекыч спустил ноги с кровати и показал ручкой на рабочий стол, на котором лежали грудой папки с делами.

— Потрудитесь, ваше сиятельство, достаньте, там под нижней папкой штабс-капитан сидит!

— Что это еще, Петр Петрович, за штабс-капитан?

Пек Пекыч залился тонким смешком, ноги за голову загнул и в таком положении отрапортовал Зайчику:

— Его благородие штабс-капитан 1-го шустовского полка... четыре звездочки носит.

— А...а...—протянул, улыбаясь тоже, Зайчик— насилу понял...

Достал Зайчик коньячную бутылку, а Пек Пекыч из ящика под кроватью чайный стакан и наперсток, налил Зайчик полный стакан, хотел его Пек Пекычу из вежливости первому предложить, да тот замотал головой и руками:

— Нет, нет, - пищит,—я из портняжного наперстка пью, меня Бог ростком обидел...

Взял наперсток и выпил его потихоньку.

— Зато,—говорит,—умом ублаготворил...

Вкатил Зайчик в утробу чайный стакан, все у него позеленело в глазах, и Пек Пекыч стал какой-то зеленый, как травяная лягушка, а Пек Пекыч смотрит на него зелеными глазами и квакает:

— Где это вы, говоря между нами, конечно, времячко провели?

— Я-то,—задумался Зайчик с ответом,—я-то, Петр Петрович, где был—там меня нету...

— Бабешки, наверно,—осклабился Пек Пекыч.

— Бабешки не бабешки, а что-то вроде того: я

всю эту неделю, Петр Петрович, на Счастливом озере в лодке проплавал.

— Это где же, далеко отсюда?

— Да нет, отсюда только не видно... Получил я тогда, видите ли, Петр Петрович, приказ... приказ-то ведь вроде как был?..—встрепенулся Зайчик.

— Ка-ак же: был... Вот еще, если бы не был: погонки-то у вас полетели бы, пожал-что, теперь вместе с галками!..

— Да и слава бы богу, Петр Петрович, я ведь не очень,—Зайчик придвинулся к Пек Пекычу поближе,—получил, значит, приказ ехать в побывку, пошел в самый памерек напрямик на самом виду, а немец меня, проклятый, и спутал с дороги... К тому же признаюсь, Петр Петрович: за мной бежала вода!

— Водополь! Знаем... знаем эту историю... Таракан в штабу все описал в полной подробности: брюшеньки все надорвали, как он вас изображал в лицах.

— Да?.. а тут еще ливень пошел, пролило меня до костей, трясучка взяла, а я все иду да иду... К утру, гляжу, пришел в одно место, и итти больше некуда... перед глазами вода... я вдоль по берегу: ни души... Потом гляжу в стороне под кустом дымок, как шерстинка, висит, я к кусту, под кустом сидит женщина, ни старуха, ни молодуха, а только такая красавица, Петр Петрович, каких теперь нам больше и не увидеть.

— Н-но, — говорит Пек Пекыч, приставши на локтях, —хороша?..

Слаб был по женской части Пек Пекыч.

— Чудо... Спрашиваю: как, красавица, называется это море... Да это, говорит она, вовсе не море, это озеро, это ты ростом не вышел, что его берегов не видишь.

— Вот так бабец,—крякнул Пек Пекыч.

— Да... как же, спрашиваю, красавица, это озеро называется?.. Называется, говорит она, это озеро Счастливое, только на нем теперь несчастные люди живут... Чего тебе, говорит, офицерик, надобно?.. Или у тебя своего горя недостает, что нас пришел навестить?.. У нас, говорит, в озере с сиротских слез вся рыба сдохла... Сел я к ней возле огня... Нечем, говорит, мне тебя, окромя воды озерной, попотчевать, был, говорит, у нас домик вон на том берегу, да и тот солдаты на костры растащили, вот, если хочешь, садись со мной в лодку, бери в руки парус: у меня, бывало, говорит, — а у самой слезы кап-кап, – муженек об чем ни соскушнится, выйдет с парусом в озеро, все горе забудет...

— Верно из здешних солдаток,—заметил равнодушно Пек Пекыч, — лихой народ!

— Лихой: целую неделю к берегу не под'езжали... Накатался, Петр Петрович, до-сыта!...

— Ну и бабец!

— Да... бабочка, можно сказать!

Зайчик налил себе еще полстакана, Пек Пекыч

плутовато надел наперсток на палец, сделавши знак, что больше нельзя и не хочет:

— А то нитку в иглу не проденешь! Пейте сами, ваша светлость, на доброе здоровье, у меня хороший запасон!

— Ну, так, как, Петр Петрович, дальше-то будет? — осторожно Зайчик спросил, поморщившись и обмахнувши губы.

— Будьте покойнички: получите роту!

— То-есть, как это, Петр Петрович?..

— Да так: очень просто! Таракана отставим, а вас назначим!

— Право бы лучше, Петр Петрович, попрежнему, какой я командир!

— Ну, уж это, батенька мой, никак невозможно... после такой истории: Таракана в щель! Сиди и усом не води!

— Тогда назначьте кого-нибудь другого, право же я...

— Полноте: вы боевой офицер, боевой офицер! Вот что: берите-ка штабс-капитана в карман... да нет: это допейте, а там вон... возьмите еще, у меня запасон!.. Вот так... теперь идите в резерв... До свидания, господин подпоручик, — помахал Пек Пекыч ручкой.

— Какой еще, Петр Петрович, там подпоручик? Что вы...

— А как же?.. Вы исключены, можно сказать, с повышением в чине... представили вас!.. потому по-

страдали, можно сказать, за отечество... Ну, а назад козла рогами не ставят... То-то, будьте покойнички!

Петр Петрович подал Зайчику руку, ухмыльнулся, как кот, свернулся комочком и, помахавши из-под одеяла расправленной сторублевкой, фальшиво захрапел.

Зайчик вздохнул, засунул в нутряной карман свежую бутылку и, немного шатаясь, вышел.

МНОГОБОГ

Нагадала, значит, цыганка Зайчику в ручку!..

Он и не видал, когда возвращался на позицию по Тирульской дороге с побывки, что проходит как раз мимо той самой рощи у озера, в которой стояли мы после водополицы в глубоком резерве, забытые, кажется, и Богом и до время нашим начальством.

Начальству было в ту пору совсем не до нас.

Вышла такая история, что и в самом деле было для него лучше припрятать остатки двенадцатой роты куда-нибудь к сторонке от лишних разговоров. Вначале то взялись было всерьез: действительно, суд вроде как савастожить, следствие навести по закону, а полковник Телегин, полковой, был не дурак, знал хорошо, что пройдет неделя - другая, оботрется, что-нибудь новенькое случится, да еще почище нашего водогона, и делу конец!

Да так оно потом и случилось! Только Таракану остригли усы!

Распоместились мы в конюшнях в каком-то имении, неподалеку от озера, где и вправду стояла деревушка, как наврал о том Пек Пекычу Зайчик, почему-то не захотевши ему сказать о себе правды.

От всех барских построек уцелели только эти конюшни, должно быть, барин жил тут богатый, а может, был у барина конский завод... От барского дома торчком только подымалась средь сада большая труба над голландкой, в которой уже навили себе гнезд воробьи, да в стороне на самом в'езде в имение стояла сторожка без окон и без дверей.

Туда мы ходили.

Окол сторожки под кустом валялась статуя, голая такая баба, станушка сползла с нее на коленку, и видно, что обе руки держала она посередке, как будто, собиралась купаться, да кто-то из нашего брата из озорства или любопытства на одурелый глаз вздумал взглянуть, отбил ей обе руки, но ничего не увидел, повалил ее сапогом и напихал в ноги соломы.

* * *

Что Зайчик вернулся, и мы долгое время не знали...

Да, правду говоря, и не думали об этом, в суматохе да расстройстве решивши после водополя, что Зайчик или утонул, заблудившись в дороге, или попал все же не в ту ямку во время обстрела, и ему оторвало задние ноги.

Узнали мы только от Сеньки, денщика командира.

Как-то день на шестой, когда всем получшало, Иван Палыч встал с утра очень в хорошем благорасположении духа. Брюки почистил, пуговицы мелком натер, сапоги смазал колесной мазью, которую ему кто-то из ленивой роты принес, нестроевой сродни был там у него, долго молился Богу перед чаем, а за чаем сидел приглаженный, чистый, под кружку откуда-то блюдце с голубыми цветами по краю и золотой каемкой достал.

— Должно, что после барыньки—в саду нашел,— сказал Иван Палыч.

— Хорошее блюдце... ты не забудь... не равно: домой захвати! — усмехнулся Прохор.

— Думаю так, Прохор Акимыч, что скоро... по снежку может...

— Не што бы!

По небу, чистому и глубокому, словно приподнятому осенними ветрами, прогнавшими перед скорым снегом непогоду, летели гуси беспрерывной лентой. Смотрели мы на эти ленты, сидя на лавочке возле конюшен, и на душе у каждого вставали чертухинские наши родные места, опавший лес неподалеку от села, синий купол, и синее небо, и у окна привычная рябина, с которой треплют дрозды переспелую и хваченую морозцем ягоду, и уже почернелые кусты крыжовника и смородины на огороде в задах, где как-то по особенному в последние осенние деньки

попискивают синицы, подвешиваясь и боком и вниз головками к облетевшим веткам.

И не заметили мы в этой задумчивости, как к нам подошел Сенька Кашехлебов. Подошел он тихо, степенно снял фуражку и подал всем руку:

— Честной компании!—странно даже было взглянуть на Сеньку.

На этот раз он не только не был под мухой, но смотрел как-то необычно серьезно, и около рта его не было так всегда и прыгавшей складки, готовой сложиться в беспричинную усмешку или рассыпаться в мелкие ниточки веселых морщинок по щекам, похожих у глаз на заячьи лапки.

— А-а?.. Семен Семеныч! — сказал Иван Палыч, раскуривая трубку,—как ноги таскаешь?..

Сенька только рукой махнул, подсаживаясь к нему. Все так и уперлись в Сеньку.

— Что же-ж такое больно не весел?..

— Откомандировали!

— Кого... тебя?..

— Да меня-то что: капитана нашего откомандировали!..

— Ну-у?..—протянул, скрывая удовольствие, Иван Палыч,—а мы тут ничего не знаем... приказа неделю в руках не держал! Куда же?

— Да в лазарет...

— Что же такое, Семен Семеныч?..

— Хорошо не поймешь! — неохотно ответил Сенька.

— Жар, что ли, зашел?..

— Нет... в голове что-то... такое!

— Перепил, значит... Да ты расскажи по порядку...

— Да расскажу... теперь торопиться некуда... мать их за заднюю ногу: уж как капитан просил оставить меня при себе, а не выгорело!

— Полно, Семен Семеныч: у нас веселее! — утешил Сеньку Прохор.

— Мучает меня, Прохор Акимыч: места не нахожу... привык, как теленок к пойлу, а теперь значит: ша!.. Засну: нечистый веревку сует...

— Да плохо-то плохо тебе без их-высоко! Да что случилось-то с капитаном?..

— А я и сам хорошо не пойму... Пришли мы тогда, значит, после этого водогона в офицерский лезерв, прекрасно все, как быть не может, сбегал тут-же за заливухой и только вернулся, взошел, гляжу, их-высок катается на полу в растяжку и бормочет такое несуразное, чего и до сих пор понять не могу...

— Никаких чертей я, — кричит их-высок, — не признаю... признаю только одного всемогущего Бога... Вон... вон... вон! — кричит, — чтобы духу твоего, многорогий чорт, не было!

Я бросился было его подымать, чуть заливуху не пролил, их-высок выпучил бельмы, перевернулся на спинку и... на меня:

— Ты, — говорит, — кто это будешь, позвольте вас расспросить?

— Значит, уж узнавать перестал,—заметил было в сторону Прохора Иван Палыч, но тот и не обернулся, уставившись в Сеньку.

— Да... чего вы,—я говорю,—ваш-высок, спятили что ли?.. Или уж я очень долго ходил, что у вас нехватило терпенья?..

— Извольте,—говорит,—извольте мне отвечать: кто вы такой?.. Кто вы такой?

— Да я же это... я, ваш-высок!

— Многобог?

— Вы лучше, — говорю, — выпили бы... а не то меня побили! Пейте, — говорю, ваш-высок, пейте и мне немножко оставьте!

Глонул он чутильку, гляжу, в глазах прочистилось, зубы оскалил, смеется.

— Дурак,—говорит, — ты Сенька: ничего не понимаешь!

Известно: дурак, я уж к этому привесился, с дурака меньше спрашивается, лишь бы не дрался.

— Ты что, — говорит, — Сенька, можешь на это сказать?..

— Ничего, — говорю,—ваш-высок, окромя хорошего!

— Тогда, — говорит, — садись и стукнем! Ты,— говорит, Семен Семеныч, самый умный мужик есть на свете!

— Лестно,—говорю,—слышать от ваш-скородия такие слова...

Сенька остановился и взял из рук Иван Палыча трубку, чтоб прикурить козью ножку, которую заворотил толщиной чуть не в палец, запыхал сразу, глубоко вдыхая в себя махорочный дым и понемногу выпуская его из ноздри. Мы, мало что толком разобравши, глядели на Сеньку, да и Сенька был сам на себя не похож.

— Ну-к что ж,—сказал Иван Палыч, принимая трубку обратно,—я еще во всем этом ничего такого худого не вижу!

— В том-то и дело, все пошло как и надо, выпили, закусили, потом опять выпили, два раза в этот день бегал за заливухой, а потом... сызнова все началось!

Иван Палыч трубку положил на коленку, нас оглядел, да и мы все переглянулись: видно по всему, что Сеньке на этот раз не до шуток.

— Ну!—поторопил Иван Палыч.

— Ну... только это было мы к вечеру с их-высок расположились, слышу, в дверь кто-то скубется... Их-высок обернулся с походной кровати, будит меня разутой ногой, а я спал возле на полу, на шинели, побледнел и заорал во всю глотку:

— Кто там, в рас-пруды-на-туды-твою вас?..

А из-за двери кто-то чужим голоском, инда и мне стало страшно:

— Это я,—говорит,— господин капитан... пришел доложиться по случай приезда!

— Какого приезда?..—кричит их-высок, — кто там еще может приехать?..

— Да я, — говорит, — я!

— Да кто там за я, в рас-пруды-на-туды!

— Да я же,— говорит,— навряд-поручик Зайцев.

Их-высок так и подернуло, привстал он с кровати, смотрит на меня и вроде как сказать ничего не находит, а мы как раз перед этим приходом говорили о Микалае Митриче, потому что в этот день было в приказе: пропал!

— А мы и того не знаем, — перебил Иван Палыч.

— Как же... по приказу он исключен... как без вести... и в чин произведен!

— Семен Семеныч, что-то больно нескладно выходит!

— Да-ж я же не знаю, как там решило начальство... только в тот самый вечер их-высок как раз мне и говорил, что Микалай Митрич вовсе не без вести, а просто учесал к немцам и теперь у них служит шпионом...

— Ну, городи! Вроде как что-то не больно...

— Их-высок так говорил... Это — говорит, — так уж беспременно верно, потому что все на это похоже... Ну, значит, каково же было его удивленье, когда сам Миколай Митрич пришел, да еще приставляться по случаю производства... Входите,— кричит,— их-высок,— господин навряд-офицер, я к вашим услугам!

А сам за стакан да за шашку, в одной руке стакан, а в другой — шашка:

Ну, думаю: да-а-а!

Дверь потихонечку отворилась и Микалай Митрич... в натуральном виде... Чуть малость выпимши.

Сенька опять прикурил у Иван Палыча и посмотрел на всех исподлобья. Мы подвинулись ближе, а у Сеньки складка у рта совсем подобралась, и в глаза уткнулись три желтых морщинки.

— Да рази Микалай Митрич вернулся?..—спрашивает Пенкин.

— Выходит, что да... хотя опосля того вечера он мне не попадался... так что, пожалуй, я даже толком не знаю, потому уж больно в тот вечер мы были все трое сизо!

— Скоро-ти обернул,— протянул Иван Палыч.

— Ну так и вот... входит, значит, их благородье, их-высок разинули рот, я, братцы, потому уж больно не ждали, тоже малость подобрался,— что дальше будет.

Он молчит, и мы молчим!

— Здравия желаю, господин капитан, говорит Микалай Митрич, чуть шатаясь, а руки по швам,— здравия,— говорит,— желаю!

— Нет... не-ет,— закричал их-высок,— вы скажите сначала, навряд-офицер, живой вы сейчас... али мертвый?..

— Что вы, господин капитан?.. Как же так можно... я, можно сказать, приставляться!..

— Извольте,— говорит,— по всей дисциплине

мне отвечать: живой али мертвый? С того света аль с этого изволите прибыть?..

— Что вы,— отвечает Микалай Митрич, видно, что тоже не в себе, в глазах словно дым, губы трясутся и подбородок дергается,— что вы,— говорит,— господин капитан, разве на том свете есть штабс-капитаны?..

— То-есть, как это так, господин навряд-офицер: вы изволите... что?.. смеятся надо мной!— еще пуще закричит их-высок и за шашку, я сзади за кончик держусь, думаю, отсадит руку — отсадит, а драться не дам.

— Никак нет,— говорит спокойно Микалай Митрич,— и не думал даже: не капитаны, а... штабс-капитаны,— достал из кармана бутылку и на четыре звездочки капитану показал, взял табуретку, сел и говорит: — как вам известно, у капитана погон чистый, а у штабс-капитана четыре звезды! Да-с! Налей-ка нам, Семен Семеныч!

Ну, думаю, пронесло! Их-высок даже выронил шашку и тоже сел.

Налил я им по стакану, себе чашку под столом набурлыкал, смотрят они друг на друга пронзительно и вижу, в руках стаканы дрожат.

— Я,— говорит Микалай Митрич,— больше вас, господин капитан, не боюсь. Мне теперь ничего не страшно, окромя во... воды!

— Ну, мне это,—отвечает их-высок,—это только приятно... я трусов да мертвецов терпеть не могу!

— Тогда за ваше здоровье,—обрадовался Микалай Митрич и потянулся чокаться, не донес стакана и так его пропустил в один дух, что их-высок свой оставил и: — Здорово! — говорит, — где-й-то вы так расхрабрели?

— Долго расказывать, господин капитан... давайте, — говорит Микалай Митрич,—поговорим лучше о чем-нибудь таком душеполезном... Я ведь знаю, что вы совсем не такой салдафон! Ведь вы в семинарии были...

— Да, — говорит их-высок, — метил в попы, а оказался, как видите: лоцман!

— Очень, — говорит Микалай Митрич, — даже приятно... Вот... вот... Как вы, — говорит, — полагаете, господин капитан, есть у нас теперь Бог или остались одни только черти?..

Их-высок как вскочит и — за шашку, а Микалай Митрич ни в чем, только малость привстал на табуретке.

— Ага, — закричал их-высок, — черти?.. Черти? Ага: я знаю теперь, кто вы такой... Что есть Бог, господин навряд-офицер?..

— Прах! Прах, унесенный буйным ветром! Смерть, господин капитан! Смерть — Бог над нами!..

— Я так и думал, так и думал, — шепчет мне капитан, — так и думал, слышишь, что говорит?

Я только головой ему мотаю, дескать, как нам не слышать, уж так, де, хорошо понимаю, а сам

на обеих гляжу и вижу, что дело пустое, а как с ним сообразиться — не знаю!

— Знаю,— еще раз повторил их-высок и руку к самому носу Микалаю Митричу протянул,— знаю теперь, кто вы такой!.. Вы... вы.. — но не докончил.

Микалай Митрич даже вскочил.

— Позвольте,— говорит,— мне течение мысли вашей, господин капитан, не очень понятно...

— Непонятно? Вы смеете говорить: непонятно?..

— Непонятно, господин капитан!

— Непонятно... так сядем... налей-ка нам, Сенька,— говорит их-высок, отбросил шашку и сел.— Вам непонятно?.. Значит, вы и в самом деле живой человек, прапорщик, тьфу, подпоручик Зайцев, значит, вы того... не чорт и не дьявол?

— Допились, значит, оба,— говорит Иван Палыч, но Сенька не взглянул на него и продолжал:

— Позвольте чокнуться, господин капитан,— говорит с улыбочкой Микалай Митрич.

— Да я с удовольствием, если так... только позвольте, позвольте, как же вы это сказали?

— Что изволите, господин капитан? — опять улыбается Микалай Митрич.

— Да, ведь, по-вашему, так и выходит, что на свете теперь ничего, кроме чертей, не осталось?

— Это уж точно, господин капитан... Бога не стало, остались одни только черти... разного вида!

— А вы,— говорит спокойно их-высок,— хилозофию, господин навряд-офицер, изучали?..

— Нет,— отвечает Микалай Митрич,— у меня мечтунчик с детства пристал к голове, как у некоторых бывает родимчик!

Их-высок опрокинул стакан и об пол.

— Так-с... слушаю, господин навряд-офицер! Хорошо-с! Извольте теперь отвечать мне по всей дисциплине: Бога нет?..

— Был!

— Умственный разговор,— перебил Иван Палыч наше общее молчание, но Прохор на него рукой махнул, как на муху, а Сенька словно не слышал:

— Так-с! - Хорошо-с, господин навряд-офицер! Что нам остается?

— Боженята, господин капитан!

— Многобог! Вот кто,— поднял руку их-высок, разжал пальцы на кулаке и бросил их книзу.

— Никак нет,— упирается Микалай Митрич,— боженята!

— Многобог!

— Никак нет: боженята!

— Как боженята,— шопотком прошипел командир,— какие такие еще боженята?..

— Очень простые, господин капитан, ко всякой нации теперь приставлено по божененку... Оттого,— говорит Микалай Митрич,— и войну ведем, что эти самые боженята спать людям не дают хуже, чем блохи!

Что тут произошло и рассказать невозможно: их-высок за тубаретку, размахнулся, хвось по столу:

— Вы,— кричит,— немецкий шпион! Вон, распросукин сын! Вон! Сенька, вяжи его! Вяжи сукина сына!

Шпиона пымали!..

Ну, братцы, я в сени, скорее в штаб, Микалай Митрич, гляжу, за мной бежит, еле одышится, а там уж стекла звенят, пальба поднялась нам вдогонку, пули только под ногами: вжик... вжик... спятил, рехнулся! А все из за пустого дела,— прибавил Сенька, выбивая из трубки,— выпили бы, как добрые люди, закусили, а то нет... ну за то и додрыгались!

— Вот ведь какое дело,— передохнул Иван Палыч,— что же дальше-то было с капитаном?..

— Да известно: сообщил Микалай Митрич в штаб, связали их-высок и откомандировали в... лазарет!

— Нескладно вышло! Теперь их-высок наверно в отставку, зато полковника с косой полоской получит!—закончил Иван Палыч,— интересно бы знать, кого теперь назначут нам в командиры?..

— Найдутся,—сказал Прохор,—об этом тужить нечего! Это у них все,—похлопал он Сеньку по плечу,—от беспривычки: с Богом-то так вышло!..

— Да уж нескладно!— согласился Сенька.

Закинул Прохор кверху голову и заулыбался во все скулы: над самой у нас головой высоко летела

журавлиная стая, унося с собой под крылом загубленные, трудные солдатские души.

ПЛОВУЧИЙ ОСТРОВ

Как говорил Пек Пекыч, так все и случилось.

Получили мы еще в резерве полковой приказ, который Иван Палыч долго вертел сначала в руках, а потом приставил к самым глазам и расстановисто всем нам прочел:

> § 17. Следствие по делу командира 12 роты капитана Тараканова по обвинению его в бездействии власти и упущении по службе в боевой обстановке временно приостановить в виду тяжкой болезни означенного обер-офицера.

— Эна, как нашего капитошу завалили,—пыхнул дымом Иван Палыч и палец поднял, а глаза у самого смеются, и под козлиной бородкой довольный калачик собрался:

— Знаете, кто теперь командир?

Нам что ж, нам кто ни поп—-все батька! Однако, мы все в один голос спросили: а кто. господин фельдфебель?

Иван Палыч собрал гармошку на лбу, опять поднял указательный палец и пробасил:

— Его благородие, господин подпоручик Микалай Митрич Зайцев..

— Вот это да!

— Проведен по приказу... выходит и в сам-деле вернулся!.. вернулся... да еще с чином!

— Ну и слава с Христом, что не чорт с хвостом!—крикнул радостно Пенкин...

— Говорить тоже надо по делу, – ревниво наставлял Иван Палыч, — командир — дело не махонькое...

— Да нам-то што за беда?..

— Вам-то известно... только знаете, отчего так все случилось? Я вечерысь Пек Пекыча встрел, про Микалая Митрича, видно, он из хитрости да малого почтения ничего не сказал, а мне, видишь ли, говорит: здравствуйте, говорит, господин фельдфебель— всему голова! Да-а!

В раскосок итти на этот раз Иван Палычу даже Пенкин не стал, все были этой переменой довольны, да и не о том каждый из нас думал.

В полдни, дня через четыре, заявился и сам Зайчик.

Поздравили мы его с благополучным возвращеньем и ротой, а у него и радости-то от этих поздравлений никакой на лице...

Уставился на Пенкина и первым долгом сказал

— Вы извините, говорит, меня, ребята, пожалуйста, что писем ваших я не довез: я их в почтовый ящик бросил, вот только письмо Пенкина у меня как-то за обшлаг завалилось, вот и конверт еще цел. Пенкин, вернуть тебе, что-ли?

Пенкин покрутил головой.

— Вы, значит, ваше-высоко и домой не попали?..—спрашивает осторожно Иван Палыч.

— Нет, Иван Палыч, попал я совсем в другую сторону,—печально отвечает ему Зайчик.

— Ну и то слава Богу, что целы: мы думали тогда, что немец вас прикокошил... Изволите роту принять?...

— Да, согласно приказу... Сегодня к вечеру, Иван Палыч, придет пополнение, произведем тут же разбивку и...

— Неужли ж, ваше-высоко, и в отпуск не пустят после такого купанья?—отрывисто проговорил Пенкин.

— Сегодня говорил Пек Пекычу: ни в каком говорит, виде, потому—нету солдат...

— Чтоб у него, у чорта, рога отвалились...

Зайчик вдруг заторопился уйти, и мы все подумали, что это он от повышения так гнушается нами, и не знали причины: трудно было Микалаю Митричу лгать перед нами, а сказать правду труднее: жалко было ему Прохора Пенкина!

— Послали письма, Иван Палыч?.. известили?..—спросил он, обернувшись.

— Как же... мы уж об этом забыли.

— Обсохли!—злобно пробурчал Пенкин.

Ночью в новом составе,—хорошо еще и не разглядели наших новичков, сброд какой-то совсем непонятный: кто из Луги, кто из Калуги, народ мореный, по два раза, по три под огнем побывали,—ночью перешли мы на линию, только на новое место,

не хотело начальство остатки прежней двенадцатой мокрыми окопами пугать, выбрало местечко посуше.

* * *

Место это нам мало по духу пришлось, та же Двина, те же окопы на том берегу, хотя у немцев ни деревца, ни кусточка, а у нас за спиной высокие сосны, ели по земле подолами пушатся, кое-где у них сбиты макушки, как ножом обрезаны пулеметным огнем сучья с боков, сперва можно подумать, что в этом месте стрельбы большой не бывает, но в первую же ночь оказалось иначе.

На левом фланге у нас, посредине Двины, был небольшой островок, принесло его Бог знает откуда в этот последний разлив и, словно на грех, остановило против нашей двенадцатой роты: немцы на нем успели уже укрепиться, с обоих углов островка глядели бойницы, вылупившие на наши окопы ничем не прикрытые раструбы, островок был забит пулеметами, минометами, и житье в этом месте у нас было совсем горевое...

Хорошо, что Иван Палыч с разбивкой так подгадал, что островок больше пришелся на пришлых.

Зайчик показывался редко в окопах, больше сидел в блиндаже, чему мы мало дивились, незачем было зря высовывать нос: тому руку оторвет, тому ногу минометом выхватит, а то так и совсем раз-

несет, подметок от сапогов не оставит, плохие прогулки!

Пробовали было наши артиллеристы раза два или три по этому островку пострелять, да сначала все перелет брали, потом, как вздумал молодой подпоручик взять островок этот в вилку, так и вкатил чуть ли себе не в затылок.

И как только немцев на этом острове угораздило укрепиться?

Должно быть, в первый же день, как у нас беготня была по случаю наводнения.

Правду то говоря, и немец не страсть что от этого островка получал, только снаряды попусту изводил да себя беспокоил, выбил он у нас человек двадцать солдат за все время, попортил малость блиндажи да окопы, одна докука только, но видно уж надоело пивному немцу стоять на двух верстах одному, да на нас глаза без толку пялить, обрадовался он развлеченью: как никак, а игра природы, под самый нос подставила нам Двина поганый островишко, на котором и мышке побегать негде, а немец и его приладил на зло и погибель нашу.

СЕНЬКИНА КОШКА

Однажды сидели мы в блиндаже, Иван Палыч только что благополучно воротился с обхода, залегли мы было все по-хорошему спать, иные уж

спали, разинувши рот до ушей и вызывая храпом дремоту другим на глаза.

Пенкина было что-то давно не слыхать, он все больше спал иль притворялся, что спит. Сенька, с тех пор как его отчислили после болезни Палона Палоныча в роту, тоже как скис, мучился без заливухи и, если говорил, так больше ругался заковыристой бранью, да и в деньщиках Сенька ходил у Палон Палоныча не по закону, потому Сенька был кавалер, сам же капитан Тараканов, хоть и по пьяному делу, но крестик навесил: а кавалеру в деньщики никак нельзя. Ну, да какой же закон, если его нельзя обойти? Капитан же без Сеньки ни часу не мог обойтись, потому и сходило до время...

В этот же вечер и Сенька и Прохор молчали, лежа на нарах, у прочих же разговор не ладился и приходил к концу, каждый ворочал слова словно большие колеса из кузницы катил, круглые, тяжелые, окающие, не скоро их изо рта выпихнешь языком, но только Иван Палыч пожелал храпевшему Пенкину спокойного сна, который ни да ни нет на это пожелание ему не ответил, Сенька вдруг прямо к Иван Палычу в ноги, сел у него в ногах и кричит:

— Иван Палыч, немцу островушному—ша!

— Подожди ты орать, а то связать прикажу!— говорит ему Иван Палыч, со всего размаху толкая его в бок кулаком.

— Постой, Иван Палыч,—кричит расходившийся

Сенька, — давай мне веревку подлинее... я ему докажу!..

— Да что ты спятил, что ли?.. Вешаться, что ли хочешь?—смеется уже веселым заливистым смехом Иван Палыч,—на глазах у смерти вешается кто же, заливушное брюхо?..

— Нет, нет, Иван Палыч, я бы за бутылку бы да что: за глоточек один, сейчас его искоренил без остатку...

— Это кого же: чорта, что ли?

— Нет, Иван Палыч, островушного немца искореню...

Иван Палыч поднялся на локтях: глядит на Сеньку, что у него клепки, что ли, из головы выпали так не похоже: Сенька, как Сенька, глаза только так и горят, как уголья, и руки на коленях трясутся...

— Ты что это, Сенька, мелево мелешь, ложись сию же минуту, а то назад руки скручу и шомполом по сидячему месту...

— Иван Палыч,—тихо говорит Сенька,—послушайте вы меня, дурака, ведь дурак да не очень, семь лет управлял большим перевозом, ты это только пойми...

— Да это мы все понимаем: ты ведь не на Волге сейчас, а на Двине, тут, брат, несь не бабы полощут белье: он те так полоснёт!

— Вода, Иван Палыч, по всему свету по одному закону бежит...

— А... это верно,—говорит Пенкин спросонья,

повернувшись к Сеньке лицом и полой протирая глаза...

— Знамо дело, что верно,—торопливо подхватил Сенька...

— Ты, Иван Палыч, послушай Сеньку, он ведь ба-альшой кесарь, да командиру доложь, может быть, толк какой будет...

— Ну, бреши, Прохор Акимыч...

— В нужде, Иван Палыч, человек в два раза умнее...

— Ну, так и быть: рассказывай, Сенька!

Мы все приподнялись с нар, закурили, приготовились все заранее вдосталь от новой Сенькиной выдумки посмеяться, а Сенька только всего и сказал:

— Надо мне, Иван Палыч, для всего дела веревку подольше, пороху побольше, ночь потемнее да артиллериста поумнее... Вот и больше ничего не скажу...

Лег на нары и только потом, когда все угомонились, он опять тихонько подошел к Ивану Палычу и прошептал ему на ухо:

— Вы спите, Иван Палыч?

— Нет, не сплю, решаю твою задачу, говорит ему миролюбиво фельдфебель...

— Все равно не решите...

— Почему? Что же у меня, по твоему, ума твоего меньше?..

— Да нет, ума-то у вас больше, да я самого главного не сказал, что еще для этого нужно...

— Ну, а что еще, Семен Семеныч,—приподнялся Иван Палыч и воспаленными глазами посмотрел в воспаленные Сенькины хитрые глаза...

— Усе узнаете, скоро захвораете!..

— Слушай, Семен Семеныч, коли наладишь такое дело, так ведь я и не знаю какую награду получишь... скажи, Семен Семеныч, что еще надобно?..

— Ин ладно, давай полтинник: скажу...

— Дам, собачий сын, говори!..

— Дашь?

— Дам!..

— Дашь?

— Дам, ей Богу же, завтра дам и за заливухой пущу...

— Ну тогда, Иван Палыч, хорошенько слушай.

— Ну,—пригнулся к Сенькину уху Иван Палыч.

— Нужна еще для этого дела: кошка...

— Ну это уж ты врешь, Сенька, какую там тебе тут на позиции кошку, тут и котенка-то не достанешь...

— Вот теперь и подумай, а к завтрему с вас полтинник... дозвольте!..

— Выкусишь!

Иван Палыч повернулся на другой бок и скоро захрапел, а Сенька долго еще сидел на нарах ножка-на-ножку и о чем-то очень упористо думал...

* * *

На другой день, когда рассвело и косой лучик нас на ноги поднял, Иван Палыч никакого полтинника Сеньке, конечно, не отдал, а только поднял Сеньку на смех.

— Кошка кошке розь, — сказал Пенкин Иван Палычу,—одна кошка мышей ловит, другая кошка ведро достает...

— А ведь и в самом деле, Прохор Акимыч,— говорит приподнявши брови Иван Палыч... А?... Что ты тут скажешь...

— Ну вот то-то и дело, у Сенькиной кошки железные ножки...

— Догануся, Сенька, знаю: получай полтинник!...

В это время пришла смена из Акулькиной дырки, из наблюдательного против пловучки, куда время от времени Иван Палыч, чтоб не было очень заметно, что он своих однодеревенцев бережет, назначал кого-нибудь из чертухинцев, смотрим мы: лица у Голубков сильно помяты, губы трясутся, бороды скомканы и словно заворочены в рот...

— Что, Голубки?—спрашивает Иван Палыч, ничего еще не подозревая.

— Одного Голубка ястреб склевал: перушек даже не оставил...

Мы перекрестились: история эта стала знакомая,— шли неосторожно с поста, подшумели, немец с этого

чортова поплавка услыхал и из миномета мину пустил: говори вечная память...

Иван Палыч не нашелся даже что и сказать, снял только фуражку и крест на лоб положил.

Разнесло?..

— Искали, искали, лоскутинки нету нигде: схоронил. только креста не поставил!

— Ну, Иван Палыч, на твой полтинник назад, отрубил Сенька, соскочивши с места, как кошка.— пойдем к командиру...

Иван Палыч взял полтинник, положил его почему-то на стол. а не в карман и сказал:

— Верно, Семен Семеныч, пойдем: может, что и надумаем... А?—обернулся он недоверчиво к Пенкину...

* * *

Пенкин молчал, сурово нахмуривши брови и заломивши на затылок картуз...

... Зайчику Сенькин план пришелся очень по духу: сперва он сидел и словно не слушал, глядя поверх Иван Палыча куда-то в темный, завешенный паутиною угол, думая будто о чем-то давнишнем, чему никак не мог найти разрешенья, отчего на чистом белом лбу у него пролегла горько изогнутая, еле заметная черточка крест-на-крест. когда же Сенька все рассказал про кошку с железной ножкой, про то, как он служил на Волге перевозчиком и как им хозяин дорожил за большую сноровку и знание

дела, несмотря на то, что Сенька любил заливать — одним словом, сразу про всю свою жизнь и ту удивительную затею, которая ему спать не дает, — у Зайчика глаза прояснели.

Поглядел он на Сеньку, будто только что разглядел, а допрежде и не видел, Сенька же Зайчику смотрит в глаза, а Иван Палыч засел в стороне и водит своими усами, как из щели таракан.

— Ты, Сенька — герой! — сказал Зайчик, поглядевши в сторону Иван Палыча...— Сегодня же пойду к артиллеристам и посоветуюсь с ними...

— Узнайте, ваш-высок, а я за всякое время, — застенчиво, непохоже на Сеньку, проговорил он, поднимаясь со скамейки и делая знак Иван Палычу.

— Только не забудьте, ваш-высок, заливухи еще. сами знаете: осень, вода!..

Сенькин план был очень простой: надо было плот сколотить или что-то вроде корыта, которое бы могло поднять на воде пуда два или три, корыто это привязать на веревку, веревку утвердить на остро отточенную кошку, чтобы сразу лапами врезалась в дно и в песке закрепилась, к корыту приделать круто поставленный руль, так чтобы в него било теченье и относило корыто с пироксилиновой бомбой к берегу немцев, — такое устройство часто увидишь еще и теперь на Волге на большом перевозе: баржа на канате ходит сама, хочешь на тот берег, хочешь на этот, как руль у баржи повернешь, туда ее волной и погонит...

Как только Иван Палыч с Сенькой ушли, Зайчик тоже заторопился, почти вслед им вышел из блиндажа и, размахивая руками, пошел по ходам сообщения на батарею, с которой так неудачно стреляли по островку.

Офицер, который командовал ею, был еще совсем молодой человек, слушал он Зайчика, покусывая розовую безусую губку, а когда Зайчик кончил, восторженно начал крутиться из угла в угол по крошечному блиндажу, заложивши за спину руки...

— У вас есть человек, кто эту кошку закинет?..

— Есть, он все это и придумал...

— А ведь знаете, подпоручик, из этого должен бы выйти очень немалый эффект: едва ли мы сковырнем немца с этого островка, но что мы его испугаем, так это как пить дать, все будет зависеть, по моему мнению, от того, есть ли у немца на острову огневые припасы иль нет... Если есть?!.. тогда...— юноша обеими руками показал, как немцы полетят кверху на воздух.

— Ну, а если припасы найдутся, они ведь на них не скупятся, минометных бомб на острову, я думаю пропасть: три ночи стояла луна, мы очень хорошо следили за лодкой: никакого намека...

— Я думаю тоже, что они в первый же день завалили весь остров этим добром... Тогда!..—юноша опять всплеснул кверху руками.

— Давайте попробуем и без всяких реляций...

— Да нет, я и не думаю: бомбу мы сами сготовим... я думаю для этого газовый баллон подыскать...

— Ну, а мы тогда будем сегодня же сколачивать плот и закидывать кошку...

— Давайте, давайте — без дела, ведь, скучно, целый день только и знаешь, что спать...

Зайчик поднялся и пожелал артиллеристу успеха...

— Какие солдаты, однако, у нас молодцы,— говорит Зайчику юноша,— и отчего неладиха такая?..

— Сам чорт не поймет!..

Зайчик пожал ему руку и вышел...

* * *

...У нас закипела работа, каждый хотел что-нибудь сделать, тот тащит бревно, тот волочит доску, которую выломил в нарах, всем пришелся по вкусу Сенькин задор.

Пенкин с утра ушел с ним в кузницу в нестроевую команду, где до обеда они сварганили кошку.

— Ну-ка, попробуй, какие у этого котика лапки,— сказал Сенька, когда они с Пенкиным вошли, а Иван Палыч недоверчиво их оглядел: дескать, хватили, наверно, ну тут и делу конец. Но не только Пенкин, но и Сенька был ни в одном глазу.

— Насилушки достали канату... Говорим, что вернем, дьяволы-черти, а они не дают... так мы думали, думали с Пенкиным, а потом взяли да и украли...

— Н-н-о?..—протянул Иван Палыч.

— Каптер и не сведает: после, потом об'ясним, экая важность!..

— Да, важность какая: казна!..

Позвали мы Сеньку плот поглядеть, сколочен он был в три ряда из комлистых бревешек и два человека легко мог поднять на воде...

— Ай да плот, вот это я понимаю, да я на нем на тот свет с'ездил бы в сутки...

— Плот, — говорит Пенкин, — только водяному тонуть...

— А руль-то... забыли... без руля он все равно, что Пенкин без носу.

В миг пришвартовал Сенька большую доску от нар, привязал ее с одной стороны на веревку, так что плот стал похож на рожу, скривленную набок, отошел на два шага и говорит самодовольно:

— Ну, теперь, братцы, не трогать, командир придет, покажем устройство...

* * *

... Вечером пришел к нам Зайчик, был он навеселе, немного качался, в глазах висела муть, как паутина, но говорил все по делу, сел рядом с Сенькой на нары, а Иван Палыч и Пенкин немного поодаль...

— Ну, Сенька,—говорит Зайчик,—пришел немцу хомут!..

— Не хвалясь, ваш-высок, а Богу помолясь...

— А ты, Сенька, по-моему, в Бога не веришь!..

— Как же это так можно в Бога не верить?.. Я об этом даже и думать раньше не думал,—раскрыл Сенька удивленно глаза...

— Неверие больше барское дело,—строго говорит Пенкин, даже не ституловавши Зайчика,—нашему брату без веры жить, все равно, что зимой ходить разутком...

— А я вот, Пенкин,—задумчиво говорит Зайчик,—начинаю понемногу во всем сомневаться... Сомненья, Пенкин, сомненья!..

— Да вам, ваше-высоко, надобности нет... Вы от нашего брата куда как отменны, вы как-никак учобу прошли...

— По-твоему, Пенкин, ученому человеку верить не надо?..

— Не то, что не надо, оно, конечно, это никому не мешает, а только у ученого человека выходит это совсем по другому...

— Как по-другому?..

— Да так, ваше-высоко, у нас вера, как печка, печка избу греет, а вера душу: ученый же человек сроду печки не видал, ему в городу все припасено, у него душа как в ватке лежит... Какой у него недохваток?.. сходил в магазин да купил...

Иван Палыч ухмыльнулся на Пенкина и сказал Зайчику:

— У Пенкина, ваше-высоко, язык колючей ежа...

— А у тебя, Иван Палыч, с защепом: с таким языком хорошо лизать сидячее место...

Иван Палыч нахмурился, но ничего не ответил, он только поглядел на Зайчика, отвернулся, как бы хотел этим сказать: вы видите сами, ваше-высоко, какая у нас дисциплина,—но Зайчик хоть и понял это, только ласково на Пенкина улыбнулся и сказал Иван Палычу:

— У Пенкина, Иван Палыч, очень доброе сердце...

— Да вы не глядите на них,—засмеялся Сенька,— их водой не разольешь, а грызутся всегда, как собаки...

Иван Палыч и Пенкин посмотрели друг на друга, Иван Палыч хмурился, а Пенкин улыбался во всю бороду и словно собирался просить у Иван Палыча прощенья.

— Иван Палыч тоже хороший человек,—примирительно сказал Зайчик обоим.

— Его одолело начальство,—не унимался Пенкин.

— Я бы вот влепил тебе три наряда, тогда бы и вякать не вздумал!..

— Полноте, Иван Палыч,—сказал строго, поначальнически Зайчик,—мы не в гарнизоне стоим... а потом, ведь... потом — мы одностороннцы...

— Эх, верно, ваше-высоко, на, Пенкин, трубку, набивай крепче...

Зайчик обнес солдат папиросами и, выходя, тихо сказал в сторону Сеньки:

— Когда пойдете, зайдите за мной...

Сенька вскочил с нар, вытянул руки по швам и отчеканил:

— Слушаю, ваш-высок!..

САПОГ ЕГО НЕМЕЦКОГО БЛАГОРОДИЯ

Результат от Сенькиной затеи был неожиданный...

Накануне вечером отнесли мы шагов на двести или триста выше по течению от острова кошку и канаты, ненарезанные вожжи, два пудовых мотка.

Сенька разделся до нага, привязал двумя мертвыми узлами кошку к концу каната, другим концом, наглухо, как пастухи вяжут кнуты, срастил оба мотка и со всем этим добром в темную — глаз выколи — полночь пошел овражистой вымоиной прямо к Двине.

Сердце у нас захолонуло, когда мы смотрели за всеми его приготовлениями, и всех нас немного прохватывала дрожь, как будто и мы тоже вместе с Сенькой разделись и нам по давно невидавшему веника телу тонкой иголочкой колет осенний, моросивший с вечера дождь.

Сенька у самой реки выпил залпом большую бутыль заливухи, прикрепил легким узлом кошку себе на груди, которая, кажется, так и впилась ему в синий сосок отточенным когтем, и, разводя воду руками, сначала пошел в воду, ежась и весь при-

гнувшись к воде, потом бултыхнул, забрал себе воздуху полную грудь, и перед нами в ночной темноте блеснули только Сенькины пятки.

За Сеньку мы не боялись, все мы хорошо знали, что Сенька старый волгарь, плавать умеет лучше, чем рыба, и быстрее, чем пароход, в воде может сидеть полчаса и только пускать со дна пузыри, когда в грудях сопрется жадно, одним могучим дышком захваченный воздух, а любил Сенька больше воды одну заливуху...

— Поплыл наш карась,—сказал Иван Палыч Зайчику в самое ухо, и Зайчик разглядел в темноте прыгающие глаза, трясущуюся козлиную бородку и всего Иван Палыча, так дугой и согнувшегося в ту сторону, откуда изредка доносился до нас еле различимый взмах по воде Сенькиных рук.

Видно, что Сенька больше плыл под водой, на поверхность появляясь только выдыхнуть воздух. тогда слышен был всплеск, словно большая рыба ударит хвостом по воде, различить, что это плывет человек, было бы трудно.

Зайчик нагнулся к реке и тронул воду рукой: показалась она ему холодной, как холоден лоб у почившего человека.

— Вода скоро замерзнет,—сказал Иван Палыч, тоже опустивши руку по локоть,—да это Сеньке-то лучше: холодная вода ленивей течет!

Никто из нас не подумал, что холодно Сеньке, знали мы все хорошо, что Сенька после долгого

пьянства всегда раньше выхаживался летом в колодце, а зимой в проруби или полынье...

Вылезет он бывало из полыньи и с полчаса потом еще кружится вприпрыжку возле нее, на волосьях у Сеньки большие сосульки намерзнут, по всему телу, кажись, подернется иней, а он хоть бы что: оденется враз, на печку часа на два забьется, и потом опохмелья как не бывало.

С замиранием сердца смотрели мы, как понемногу разматываются мотки на берегу: Пенкин сидел над мотками, помогал веревке в воду сползать, и был тогда он похож на колдуна, который, как в сказке, хочет веревкой водяного царя изловить,— сидит он на корточках, смотрит горящими глазами на пеньковый моток и каждое движение веревки провожает долгим и пристальным взглядом.

Вспомнили мы тогда Сенькин веселый рассказ, как он крест получил.

Сенька, то-ли придумал тогда небылицу лишь для того, чтобы нас посмешить и самому посмеяться, то-ли и в самом деле все было так,. как наворачивал Сенька Палону—трудно было решить...

Скоро от одного мотка ничего не осталось, Пенкин к другому было подсел, но веревка вдруг остановилась и дальше в воду не шла: Пенкин поднял к Зайчику бороду и показал на веревку:

— Крепит,—еле слышно пошевелил он губами...

Через минуту моток сдернуло с места, Пенкин налег на него, сапогом уперся о землю, а мы, не

разобравши сначала, подумали все, что с Сенькой не ладно.

— Прохор Акимыч, плывет?..—нагнувшись, шопотом спрашивает Зайчик.

— Тише, ваше-высоко, а то подшумим, все в наилучшем порядке: по веревке стегает назад...

Веревка напружилась, очевидно, от каждого перехвата Сенькиных рук она ударялась по верху воды, Иван Палыч в воду по четверть вошел и нажал ее в воде сапогом:

— Чего доброго, дьявол, услышит...

Но излишня была наша тревога и осторожка, немцы как перемерли на этот раз, должно быть, и им надоело попусту палить, да и против островка навели мы тишину, как в церкви, изредка только для отвода глаз наши баловались из винтовок, но гораздо ниже того переката, в котором мы сейчас ставили якорь, да и немцы, видно, после неудачной стрельбы с нашей батареи слишком уверились в неприступности острова при невыгодном расположении наших окопов.

Сенька назад появился так неожиданно, что всех испугал, фыркнул он, из воды высунув нос, Иван Палыч сапог зачерпнул, а Прохор вскочил с мотков и бросился в воду, подал Сеньке правую руку, а левую к нам протянул,—вытащили мы их обоих.

Сеньку накрыли, двое взяли под мышки, и скоро мы сидели в своем блиндаже, поздравляя Сеньку с удачей.

— Ай да Сенька,—говорит Иван Палыч,—не человек, а водолаз ты, Семен Семеныч, выходишь.

Сенька то ли от усталости, то ли от холода ничего не говорил, только нервно время от времени стучал зубами и дрожал, отвесивши синие губы.

Был он смертельно бледен и за этот час в воде похудел, словно после тяжелой болезни.

Только когда все улеглись на покой, Сенька допил до дна вторую бутылку и захрапел вместе со всеми довольным, раскатистым храпом.

* * *

Наступил желанный вечер, когда все было готово. Еще в обед, спустя два дня, как Сенька плавал на середину Двины, четыре артиллериста с соседней нам батареи приволокли на себе трехаршинный баллон, набитый пироксилином да наверно и всем, что у них нашлось под рукой.

Иван Палыч, когда встретил их в сосновом лесу сзади наблюдательного, так только и сказал, гладя по чугунному чреву:

— Здорово, здорово, прикатили борова!

Борова этого, по указанию Сеньки, мы привязали на плот, с боков и сверху обложили солдатским хлебом большими ломтями, сухарями осыпали, которые у нас по положению на случай перехода имелись всегда, сухарей мы этих не ели, да их и есть было нельзя, они были твёрды, как камень, и пере-

ходили который уж год от одной роты в другую,— сверху положил Сенька целый хлеб, круглый, как поповская шляпа, а в хлеб врезал маленьким складничком солоницу и в солоницу соли насыпал.

Понравилось всем это нам, потому что на войну не походило, а походило больше на игру и забаву:

— Пусть немец об наши сухарики зубы ворту обломает!..

* * *

Наступила темная ночь.

Веревку Голубки притащили еще вчера и прикрепили у замаскированного хода к Двине, где на ночь иногда залегали пикеты. По этому ходу сейчас потащили баллон, ход был узкий—двум разойтиться, потому несли плот с баллоном, взявши его на ребро, солдаты все ж сухари собрали в мешок, а целый хлеб с солоницей Голубок донес в обеих руках, боялся он соль по дороге просыпать, что бывает всегда не к добру и к неудаче.

Не хотели солдаты нарушать обряд угощенья, твердо веря помраченной душой, что, может, эти-то вот сухари и трудная, политая их же потом и кровью краюха черного хлеба как раз и взорвется под самым сердцем островушного немца и отобьет у него надолго охоту мешать спокойно спать мужикам и думать во сне о своей сироте-полосе, о женах, впрягшихся в плуги, и ждать в бессонные ночи светлого часа, когда придет на сиротскую ниву

чудесный гость, с колосяным снопом за плечами, в одной руке с острым серпом, в другой—с большим пучком чернополосной ромашки и синих, как небесная синь, васильков—нивный гость, захожий странник, незримый страж деревни: мир!

* * *

К счастью нашему, немец и в этот вечер, должно быть, предчувствуя лихую минуту, опять насторожженно молчал, то ли ему надоело попусту лупить в наши окопы, то ли были какие иные причины, только все было сделано, как Сенька в своем водяном мозгу рассчитал, и плот с черной краюхой, с сухарями и под сухарями с пороховым боровом в самом низу, поплыл в полночь к немецкому острову.

Сенька держал в руках конец от веревки, чтобы узнать, когда плот стукнется в берег, артиллерийский поручик разматывал споровисто шнур от запальника, вода била в рулевую доску, и плот уходил, судя по поспешности, с которой Сенька перехватывал веревку в руках, со скоростью, которой трудно было ждать от такого устройства. Скоро Сенька прикрепил веревку за кол от колючки и повернувшись к нам, в полшопота, задыхаясь, проговорил:

— Стоп, Матрена, дальше поеду после обеда...

Спеша и толкая друг друга, мы побежали на берег, надо было засесть за прикрытие, так как

осколки от пироксилиновой бомбы и нам могли наваляться за ворот.

Ждали мы, и казалась каждая минута за долгие годы.

Несмотря на опасность, все мы перегнулись через окопы, и что дальше случилось, едва ли кто из нас хорошо разобрал.

* * *

Слышали мы как раз'яренная Двина бросилась, громко всплеснувши водяные вспененные руки, как разбились эти водяные руки о берег, на котором стояли наши окопы, как из водяных рук лизнул вдруг беспросветное небо огромный красный язык...

Потом в глазах все потемнело, в уши словно налилась вода, сама земля, показалось нам, сдвинулась с места, подбросило нас, повалило и придавило коленкой в песок в окопном ходу, в ушах же поднялся такой перезвон, будто у каждого в голове было по большой колокольне, куда больше чем в Чагодуе, и на всех колокольнях звонари посходили с ума...

Вверху шипит, визжит, охает, криком кто-то исходит и стоном—то ли осенняя темь наклонила низко на землю свое черное, укутанное в вихри и ветры лицо, то ли отлетают немецкие души в осеннюю высь, негодуя на вероломство черного русского хлеба, смешавшись в одно с водянистою пылью,

землянoю трухой, с осколками от минометных гранат, которые Сенька на сухари выменял немцам— то ли грызет высоко под небом живучий, неискоренимый немец волчьими зубами твердый солдатский сухарь и плюет на нас сверху смешавшейся с кровью слюной, недовольный такой невыгодной меной.

Расползлись мы по блиндажам, залегли в кучи на нарах и, как потом Зайчик вошел, артиллерийский поручик, а за ними и Пенкин—никто не заметил.

Вскочили мы только, когда у входа в блиндаж раздался веселый искристый голос, и сам Сенька спрыгнул со ступенек в блиндаж в руках в сапогом.

— Сапог его немецкого благородия, ваш-высок,— сказал Сенька и поставил его Зайчику в ноги,— только бы из ходу подняться, а сапожок то, вижу, идет сам ко мне по гребенке окопа... я уж оробел было: вижу, сапожок не нашего покрою!..

Из сапога бежала алою струйкою кровь, на бортах висело мясо кусками, и только носки у сапога лоснились, вычищенные, видно недавно хорошею немецкою ваксой, и на пятке шпора звенела серебряным звоном, словно жалуясь русским солдатам на жестокую судьбу немецкого лейтенанта.

— Молодец,—сказал Иван Палыч, хлопая Сеньку по плечу,—молодчачина: немцу смерть перевез!

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

СВЯТОЙ И РАЗБОЙНИК

ДВИНСКИЙ ЧАЙ

Прошли две или три недели после того, как островушный немец взлетел на воздух, и в наших окопах воцарилась опять тишина и покой.

Немцы так, должно быть, и не сведали причины, почему получился на острове взрыв, батарейной стрельбы в эту ночь не было.

Приписали они, наверное, это тому, что лейтенант, сапог которого Сенька принес в блиндаж, как единственный трофей своей победы над немцем, слишком от скуки на острову любил курить свою трубку и не выполнил самой простой предосторожности в обращении с живой смертью в руках.

К тому же была такая пора, когда во всем, в людях, в природе, в небе,—потому, как по небу в утро плывут облака, потому, как под вечер садится солнце в пепельно-серую тучу, обведенную только по краю ярко-золотою каемкой,—в небе и на земле, как бы кончающей на глазах у людей свой таинственный обряд, в котором деревья, птицы, трава,

бесчисленные полевые цветы да и сами люди для самих себя незаметно, торопливо проходят предназначенный круг,—была такая пора, когда все и всё ждало скорого наступленья зимы.

Встанешь утром после долгой, кажется, навсегда наклонившейся над землей осенней ночи, выйдешь взглянуть за окоп на прозрачную гладь млеющей в первых зазимках Двины, и в самые глаза тебе бросится склонившийся набок цветок на плешине окопа, которого раньше и не замечал, да и сам он прятал голову в траве, словно тоже боялся шальной, наудалую пущенной пули, а теперь все равно, бояться больше нечего, скоро наступит пора, когда все живое на земле без жалобы и сожаления начнет умирать...

Все это наводило на солдатскую душу еле уловимую в потускневших глазах тоску и беспредметную необ'яснимую грусть и усталость, как будто кончена вот полевая уборка и ждет мужик на печи, когда жена дотреплет последнее льняное паймо и испечет ему, трудолюбу, душистый каравай из нового хлеба.

Должно быть, то же самое чувствовал и немец, так как ни стрельбы по ночам, ни тревоги по ту сторону захмелевшей осенней брагой Двины мы не замечали, и с каждым днем становилось все тише у них и у нас.

По утру, когда Иван Палыч первый выходит из блиндажа, еще не ополоснувши руки водой, взглянуть через окоп: все ли на месте, нет ли чего, на

что немец хитер,—утром Иван Палыч долго стоит, будто через плетень смотрит на задворки, пока из-за Двины тоже зяглядевшийся немец миролюбиво не крикнет ему:

— Страствуй, Русь...

— Фатерия-материя, стравствуй, — откликнется Иван Палыч и спокойно, не торопясь, пойдет к елочкам.

* * *

Больше всего мы сидели около своих блиндажей, поставили даже такие скамейки у входов, чтоб всегда посидеть, поглядеть, как солнце заходит и какая завтра будет погода, как сидели некогда на завалках в Чертухине, поджидая соседа или к соседу после устатка и трудного осеннего дня подсевши побалакать о том да о сем или так посидеть: помолчать.

Просиживали мы целые дни, и забудешь, что немцы у тебя за плечами, что к вечеру Иван Палыч нарядит в Акулькину дырку, в наблюдательный пункт, где надо стоять, как в пасхальную ночь, не подгибая колени.

Прошел Покров, на Двине по утрам все больше и гуще текло поверх воды густое розово-лампадное масло, вот-вот встанешь и увидишь не воду, а пенку, похожую на молочный снимок в махотке с разводами и с морщинками по краям, вот-вот ударит на реку лед, рябой от предзимнего ветерка.

Наступила пора, когда мужику, привыкшему к спячке, все равно где бы ни спать, только б его не будили: зима постучала в окно блиндажа култышкой с дороги.

— Холодно, Прохор Акимыч,—скажет Иван Палыч, сбегавши наскоро по утру за нуждой, – холодно, Прохор Акимыч...

— А ты говоришь – купаться,—весело ответит Прохор, и Сенька рядом с ним захохочет, и говорить дальше, спорить и препираться совсем не годится: на окопном загибе опустил лепестки неведомый мужицкому слову цветок с синей головкой иль с потемневшей красной короной на голове, как будто это совсем и не цветок, а безвестный безыменный царенок, у которого корона завяла, и надо ему дожидаться новой весны, чтоб надеть новую мантию, на голову новую роскошную корону надеть, чтоб по всему мужичьему, зеленому царству шел нескончаемый звон, веселая немолчно-ветровая погудь и каждый бы мужик в этом царстве был царь и каждый цветок—королевич...

Да и как не вздрогнуть солдатскому сердцу, когда, достаивая смену по утру, взглянет солдат на застывший в захолоделых руках штык от винтовки, по которому с острия льется алая кровь осеннего рассвета, и, чуть приподняв глаза, разглядит: Бог ее знает, какая то птаха, должно быть, собравшись в далекий отлет и приняв этот штык за облетевшую ветку, сядет на самый конец острия

и пропоет свой последний чуви-чувиль-виль,—примет тогда солдат ее за издалека прилетевшую прощаться с ним близкую душу:

— Может, Бог прибрал поскрёбыша-сына...

...Будет солдат с нетерпеньем ждать вести из дома, кто у него из домашних ему в этот день долго жить приказал...

* * *

Прикатил Михайла на коне звонкоподкованном по промерзлой дороге, подошел наш полковой праздник—Михайлов день... из полка Иван Палыч получил извещение о приеме подарков для нас, и к вечеру, в канун, Иван Палыч с нашим каптером приволокли на обозной линейке два больших тюка с разным добром, а поверх тюков шестипудовый мешок сахару.

— Привезла приданое кобыла буланая!..—весело шутили солдаты, перетаскивая тюки и сахар по окопным ходам в блиндаж к Ивану Палычу для дележки.

Разобрали мы тут же эти подарки, кому досталась теплая рубаха, кому кожух на овечьем меху, а Пенкин выбрал себе телогрейку без рукавов.

— Так,—говорит,—я больше на бабу похож.

Посовался он по карманам и в одном кармашке на дне достал в телогрейке записку:

> По доброму жаланью шила баба Маланья, Федота не дождалась, телогрушка осталась. Носи другой солдатик телогрушку на вате, насколько хватит. Маланья Храпкова.

— Ай, да Маланья,—весело говорит Иван Палыч,—везет тебе, Пенкин, с этими бабами.

— Федот, значит, да не тот,—печально ответил ему Пенкин.

Выбрал себе Иван Палыч теплые портянки, поверх портянок уложил пару шерстяных рубах и кругом на всех поглядел: не много ли!

— Бери, бери, Иван Палыч, тебе больше всех надобно сряды,—загудели солдаты.

— Спасибушки, и то хорошо...

А сам нахохлился и думает про себя: возьми-ка, попробуй, сейчас загудят из углов, как шмели.

Разделивши одёжу, уселись на нары, стал каждый примеривать да охорашиваться в обновке, любит мужик добро в руках подержать, а Иван Палыч и каптер стали развешивать сахар.

Как гусь, вытягивал то и дело в руке у каптера длинную соску безмен с привязанным к нему котелком для развески. Иван Палыч по списку всех выкликал, каждый торопливо подбегал и подхватывал сахар в фуражку.

Последний котелок высыпал себе на изголовье Иван Палыч и хлопнул по лбу:

— Ах, я—пень чертуховый... ребята, надо сызнова вешать.

Мы недовольно все повернулись к Иван Палычу.

— Как же это мы командира забыли?.. Ведь, это подарки.

— Да, пожалуй, что надо,—отозвался Сенька, пересчитывая сахар кусками,—я позапрошлысь был у него, так видел: на нитке висит кусок над столом, это я, говорит, чай пью в приглядку...

— Верно,—говорит и Пенкин,—вроде как надо.

— Вот что, ребята,—просиял Иван Палыч,— давай каждый сюда по куску, и будет, что надо.

Иван Палыч бережливо отодвинул подальше свой сахар, расстелил потималку, а мы все по куску положили, выбирая который поменьше.

* * *

На другое утро солнце встало красное, должно быть, совсем перевалило на зиму.

Уселись мы на лавку возле блиндажа, в праздничный день и в деревне мужик с утра не знает, куда руки девать, разве разойдется, когда понаедет сватьё да деверьё, да на стол жена поставит ковш с устоявшимся пивом, а тут и подавно: сидим мы, словно попа ждем на водосвятье, а поп, должно быть, раздумал.

К обеду пришел к нам Микалай Митрич и поздравил нас с полковым торжеством.

— Благодарю вас, ребята, за сахар,—прибавил Зайчик,—только вот что, Иван Палыч: я не люблю в долгу оставаться... сахар ваш, а мой чай и водичка!

— Ну, да вода-то, ваше-высоко, найдется, все время у нас на парах, вот чайку, если положите, чтоб было погуще.

— Дай мне, пожалуйста, Иван Палыч, свой котелок...

Смотрим на Микалай Митрича и не можем хорошо разобрать, о какой это водице он говорит, когда воды, куда ни толкнись—сколько хочешь, в каждой ямке тут же возле окопов, да и дело ли командиру ходить за водой. Иные же по простоте душевной да от тоски, что давно во рту не бывала, на радостях подумали на заливуху...

Однако, Иван Палыч принес котелок. Зайчик посмотрел в него и понюхал, потом подошел к окопному козырьку, схватился одной рукой за выступ, занес ногу на колышек, подпирающий окопную стену, и вмиг, не успели мы спросить, что это вздумалось выкинуть Зайчику, перескочил через бруствер.

Смотрим мы, идет он во весь рост с берега прямо к Двине, пробираясь не спеша и осторожно через колючие загражденья.

— Ну,—подумал каждый из нас,—сейчас немец трескотню поднимет.

Но по непонятной для всех нас причине никакой стрельбы по Зайчику немец не поднял.

Зайчик спокойно подошел к воде, зачерпнул один раз котелок и сполоснул его, выливши воду на берег, потом снова нагнулся и снова в него зачерпнул, отпил немного из котелка и пошел

обратно, перелезая через проволоку: в одном месте он зацепил брюками за колючку и немало времени, показалось нам, провозился, отцепляя ее, чтоб штанов не разорвать.

Все мы бросились к Зайчику, когда он занес ногу, чтобы с котелком, полным двинской воды, спрыгнуть в окоп.

— Затейник же вы, ваше-высоко... герой... теперь уж видим своими глазами.

— Давайте качать командира, — крикнул Сенька, взявши Зайчика на перелом.

Пенкин подбежал, Иван Палыч, а за ними и мы.

Зайчик взлетел высоко над козырьком, но на втором же маху мы одумались и поставили его на ноги: в бруствер цокнула запоздавшая пуля.

— Ну, ребята, давайте-ка чай пить, — весело сказал Зайчик.

Бултыхнул Иван Палыч котелок с двинской водой в большой чайник, кипевший в блиндаже на лежанке, а мы уселись опять и приготовили кружки...

Смотрим мы на Микалая Митрича, и никто хорошо разглядеть его будто не может, только взглянешь ему прямо в лицо, а он отвернется, было у него в глазах что-то очень чудное, все время он, должно быть, о чем-то думал, а нас всех хоть и видел и понимал все, что ни скажешь ему, но отвечал все же больше себе, словно сам с собой говорил, а не с нами.

— Вот ты говорил, Пенкин,—начал вдруг Микалай Митрич,—прошлый раз как-то о вере... а что можно об этом сказать, так чтобы было это правдой наверно, знаешь, так на верную... без всяких сомнений.

Пенкин нахмурился и тут же ответил:

— О вере думать много не надо... нам есть о чем думать: о хлебе, о доме, о детях, а вера сама плывет мимо хаты, и берега у ней крутые, ваше-высоко...

— А я полагаю, Пенкин, что верить в наше время становится все трудней и труднее...

— Опять же: от непривычки к тяжелой работе и к тяжелой жизни.

— Нет, нет, Пенкин, жизнь наша, вот как эта война: ты видел, Прохор Акимыч, героев, легко быть героем?

— Дело это, геройство, пустое... ничего нет смерти страшнее...

— Я думаю то же... выходит, Прохор Акимыч, человек, где бы он ни был, страхом живет. а не верой.

— Ворона, когда мимо куста летит, тоже крылом крестится.

— Вот, Прохор Акимыч, страшно стало и мне.

— Нет, ваше-высоко, с верой человеку все же менее страшно... в нашей темноте у нас только и есть одно окошко, куда на свет поглядеть: наша вера... не поповская, конечно, вам об'яснять этого неча...

— А барин, Прохор Акимыч... тому, ведь, пожалуй, не страшно? — вставил Сенька, наивно на Пенкина разинувши рот во время его разговора с Зайчиком.

— Барин уперся в науку,— сказал Прохор, не обернувшись к Сеньке,—у него обо всем свое рассуждение и другие мозги... барин мозгует без Бога прожить...

— По-твоему, Прохор, науку выдумал чорт?— спрашивает Зайчик.

— Чорта человек непременно поборет: для того и науку человек изобрел, а вот Бога...

— Тоже поборет?

— Не побороть... Не побороть!..

Зайчик курил папиросу за папиросой и, словно внутри у него перед глазами стояли видения, глаза у него то расширялись и ярко горели, то потухали и тускли под нахмуренной бровью, Прохор же был спокоен, и только иногда возле губ собиралась смешливая складка, и морщинки словно кто стягивал в крепкий и злой узелок.

— А страшный суд, Прохор Акимыч,—спрашивает Сенька,—будет?..

— Пожалте чай кушать, ваше-высоко,—крикнул из блиндажа Иван Палыч.

— Пойдем-ка чай пить, дурья голова,—сказал в сторону Сеньки,—пожалуйте, ваше-высоко,—поклонился Пенкин Зайчику.

Но так и не суждено было узнать любопытному Сеньке, будет страшный суд или нет.

Только вошли мы все в блиндаж, как с первого поста недалеко от блиндажа раздался свисток, и Иван Палыч заспешил к постовому.

— Что там такое, Иван Палыч?..—спросил Зайчик фельдфебеля, когда тот в блиндаж воротился...

— Немец, ваше-высоко, стоит на том берегу и тоже... черпает воду...

Зайчик вскочил и весь загорелся.

Показалось нам, что он немного шатался, держась рукой за плечо Прохора Пенкина.

— Дай-ка мне, Иван Палыч, винтовку.

— Любую, ваше-высоко,—показал Иван Палыч на груду винтовок в углу.

Зайчик схватил винтовку, и не успели мы даже подумать, что она не заряжена, как он уже висел на том месте, где недавно перелезал за двинской водой, торопясь, просовывал штык и нервно целил в кого-то, приложившись к прикладу красной воспаленной щекой.

— Она не заряжена, ваше-высоко, — шепчет, словно боится вспугнуть немца на том берегу, Иван Палыч и сует ему под руку зарядку...

В это время Зайчик, не слушая его, спустил курок, грянул выстрел и по окопу поплыл едкий запах от выстрела, а вниз с бруствера покатился к воде серым кольчиком дым...

Мы так и прилипли к бойницам: действительно, на том берегу стоит немец, трубку курит и в нашу сторону смотрит и котелок с водой держит.

— Сдраствуй, Русь...—будто послышался всем нам с того берега, но в это время как раз грянул выстрел, и немец выронил котелок и схватился за грудь, потом он вдруг поднял высоко обе руки кверху над головой и, будто нырнуть захотел, повалился в воду.

Смотрим, плывет немец вниз по Двине и в воде еще все машет руками, словно это не немец плывет, а вода подмыла крутой берег и выбила из него большую корягу, и вот теперь играет этой корягой двинская волна, переворачивая ее с боку на бок теченьем.

Когда мы обернулись назад, Зайчика около нас уже не было...

ПРОХОРОВА РАЗГАДКА

Блаженная, счастливая, разголубая страна...

Есть ли такой кусок на земле, закрытый со всех сторон синей горой или синею тучей, обнесенный снежным валом непроходимых вершин или высоким забором из непотухающих молний? Есть ли такой кусок на земле, где бы нашел себе приют зеленый лес от топора человека, куда бы от жадности ненасытной его зверь убежал, где бы мог укрыться

и сам человек, уставши от злобы к другому, посеявши в землю вместо зерна ни за что в черный час, ни про что в лихой час пролитую кровь?

Есть ли ты блаженная разголубая страна, куда укатил Петр Еремеич, спасая от смерти любимых коней... Впрягла бы их солдатская смерть со смехом и гиком, с плачем и стоном вместо Петровой кибитки в патронный возок... Слава быстрым коням, Петру Еремеичу-слава... Вот только доехал ли Петр Еремеич... Нашел ли он эту страну...

Петр Еремеич теперь под дубом десятитысячелетним чистит коням пыльные гривы с дальней дороги, в гривы вплетает лавровые ветки, в хвосты завивает алые маки и васильки:

— Здравствуй, юность и радость, здравствуй, невеста прекрасная—жизнь!

Лиха у Петра Еремеича тройка, велико и обширно у Петра Еремеича сердце, текут по нему мирные чистые реки, цветут в нем заливные луга, поют в нем веселые птицы, славят тебя и не могут не славить, невеста-невестная...

Слава жизни, слава!..

Смерть смерти, смерть!..

Сойди с горы, великан, полно тебе камни бросать на дорогу!

По дороге путник идет по горе через горы, полно тебе сеять страх на тропу, пугая и без того его перепуганный взор: перед этим взором, быть может,

последним, раскрылись золотые ворота, и путь под ногами у путника—в разголубую страну.

Лучше выломи дубовый стяг из горного леса, да и пройдись с ним по всему человечью стаду, наведи в этом стаде толк и порядок, постращай хорошенько его пастуха, да и гони, гони, гони, если само не пойдет и будет пугать тебя мыком и ржаньем, повернувши к тебе хвосты и копыта, гони к берегам рек живоносных на водопой живой воды, а коль не пойдут—уничтожь!..

Смерть смерти, смерть!..

* * *

Так Зайчик часто мечтал в последние дни перед тем, как повалить с высокого двинского берега немца, проводя целые дни в своем блиндаже и не показываясь на глаза никому, принимая даже доклады Иван Палыча по телефонной бичевке.

Привык он к долгому лежанью на походной койке по утру, с которой, казалось, словно с высокой горы, недавно еще, между сном и пробужденьем, был виден весь мир, перед глазами земля лежала, как на ладони, и за землей на земле сияла разголубая страна...

Казалось вот только, что были могучи и страшны его заклинания смерти, и на слова его заклинанья с высокой горы, откуда падает солнце, машет ему Аксинья, Петрова жена, передником с розовой

каемкой и платком с синим разводом и как бы с живыми на нем васильками.

Смотрит Аксинья, как поновленная изба, и на ведьму уже не похожа...

Бросился б Зайчик к ним, не испугался б ни великана, бросающего камни с горы, ни воды, в которой цыганка гадала ему утонуть, бросился бы, не глядя уж ни на что, если б не держал его в эти минуты за руки крепко маленький карлик с большой головой, с кривыми ногами, с голоском сладким, как сахар и грозным, как смерть, если б не держал этот карлик игрушечную пищаль у самого сердца и не направлял бы в глаза при каждом движении Зайчика немецкий штык, похожий на нож, которым русский мужик режет быков, на самом конце с запекшейся человеческой кровью.

— Кровь человечья липче и слаще, чем мед... прекрасна она и страшна, и страшлива и... по пятам за ее страхом ходит убийство,—думал так Зайчик, закрывая рукою глаза (кажется: вот-вот) перед самым штыком...

В глаза же впивался штык, медленно уходил по рукоятку, Зайчик вскрикивал вдруг, сваливался с походной кровати и пробуждался..

Все больше и больше при пробужденьи росла в нем непонятная злоба, и он часто перед сном, когда по окопам пройдет только разве Иван Палыч, проверяя посты, подходил к окопному козырьку и, высунувшись за бруствер, по целым часам не мог

оторваться от берега, на котором с каждым днем становилось все безлюдней и тише...

* * *

Странное чувство было у нас, когда мы, немца проводивши под высокий бугор, за который невдалеке загибала Двина, собрались в блиндаж допивать чай из дорогой двинской водички.

Почему нам всем этого немца было так жалко?.. Словно каждый что потерял...

Вспомнилось мне, как мы с Пенкиным шли с братского кладбища, где похоронили нашего общего приятеля Василия Морковкина...

В одном месте Пенкин зашел за куст помочиться:

— Ты иди,—говорит,—я тебя догоню...

Полверсты я тогда, должно быть, прошел, думая про себя о своем, и не скоро заметил, что Пенкин и забыл меня догонять.

Вернулся я обратно, а Пенкин лежит под кустом и плачет, как баба...

И сейчас поглядишь на него: в лице какая-то строгость, борода золотая, как эпитрахиль во время причастия, а глаза, как уголья в кадиле, когда поп затягивает пискливом голоском возле гроба:

— Вечная па-амять...

Вздумал было Иван Палыч пожурить нас за то, что мы не разрядили винтовки и подкачали его

в глазах командира, да на этот раз пригодилась солдатская лень, командир из-за нее успел немца свалить, а это—немалое дело...

— Герой у нас командир, — сказал он, кладя в кучу винтовку...

Никто ему не перечил, хоть у всех у нас шевельнулось к Зайчику недоброе чувство, только Сенька, погодя немного, сказал:

— А по-моему, немца командир зря повалил...

— Вот еще, почему бы... Мало они нашего брата перекокшили...

— Это, Иван Палыч, другое дело... Тут же немец заклад потерял...

— Ну, и чорт с ним...

— Как же, Иван Палыч, он и вышел, наверно, для-ради спора...

— Не спорь... Ангелы спят, когда черти дерутся!..

— Нет уж: когда спорят двое, остальные глядят...

— Дудки: одного немца не стало и ладно...

— А про между прочим... что ж... с дураками нечего спорить... проспоришь...

Иван Палыч насмешки не понял...

Сенька прилег на нары с Пенкиным рядом. Пенкин молчал, все мы тоже молчали, а Иван Палыч достал нарядный лист, долго пальцем водил по истрепанной желтой бумаге, потом строго, ни на кого не глядя, пробасил:

— Сегодня в акулькину, Пенкин, надо бы...

— Что ж, наряжай,—тихо Прохор ответил.

Не ладился никакой разговор.

Иван Палыч все переделал, чай весь допил, даже уронил в кружку крышку от чайника, наряды назначил, а после нарядов одно дело: спать, потому почесался Иван Палыч всей пятерней под рубахой, и скоро, как и все, захрапел, прилегши с другого бока с Пенкиным рядом...

По блиндажу прошел общий предобеденный храп.

* * *

— Прохор Акимыч,—говорит на ухо вполголоса Пенкину Сенька,—мне что-то немца... вот жалко... не знаю сам почему... Зачем командир этого немца ухлопал...

— Ну, а если бы командира немец с котелком повалил?..—тихо тоже вполголоса спрашивает Пенкин...

Сенька чмокнул губами и ничего не сказал... Прохор, должно быть, о чем-то трудно думал, потом повернулся еще ближе к Сеньке и зашептал ему в самое ухо:

— Видишь ли, дурья твоя голова, я расскажу тебе вот какую исторью.

— Расскажи-ка в самом-деле, Прохор Акимыч,— шопотком ему отвечает Сенька.

Слушай: шел однажды святой человек, пустынник такой, по дороге из пустыни в село и ничего

у него не было, окромя как в руках пудовый крест, да на плечах власяница.

Крест святой человек носил вместо вериги и благословлял им встречный народ.

Вот и встретился святому лихой-лиходей, подмостовный разбойник,—хотел его святой, как и всех, благословить пудовым крестом, а тот, должно, что подумал, быдь святой его хочет убить, потому что сам-то ничего другого не делал, как только убивал добрых и недобрых людей, да и полыснул ему аршинным ножом прямо под крылушко.

В первый раз святой человек осерчал, размахнулся он перед смертью пудовым крестом и со всего размаху разбойнику прямо по темю—разбойника-то и убил пустынник.

Умерли они в одночасье: снизу разбойник лежит, а сверху святой...

Ехал в это время на осиновой палке неразумный чорт по этой же самой дороге, поднялся под чортом осиновый конь на дыбы, сбросил чорта с себя, когда на дороге увидел двух мертвецов, одного в пустынной рясе, а другого—в острожном халате.

Чорт рога на обоих уставил: чью тут душу засунуть в суму, да в ад волочить?..

Стоял так, стоял чорт, до самого вечера простоял, за ухом дыру прочесал и так и не решил,—у одного под мышкой аршинный ножик торчит, а другому—пудовый крест в голову, как в тесто, ушел...

Думал, думал чорт, да и сунул, когда месяц

взошел, а солнце за край земли укатилось, и стало на земле темно, как у этого чорта под мышкой,— сунул чорт в свою сумку обоих...

Когда Прохор замолчал, кончив рассказку, Сенька опять только причмокнул губами, дескать, мало что можно понять из того, что человек вытворяет, лучше об этом не думать и не забивать мужицкую голову разным дерьмом,—отвернулся от Прохора, ничего не сказавши, и захрапел в ожиданьи обеда.

САХАРНЫЙ НЕМЕЦ

К вечеру в тот же день пошел Иван Палыч к Зайчику... Крадучись приотворил он дверь, просунув сперва одну голову, словно заранее зная, что у хозяина после такого дня не все слава Богу. Иван Палыч не сразу разглядел в полутьме от коптилки рослую фигуру Микалая Митрича, сидел он возле стола на походной кровати, руки у него были стиснуты и раскинуты на столе, а между рук зарыта голова.

На столе стояла бутылка с четырьмя звездочками и грязный стакан с окурком на дне...

— Добрый вечер, ваше-высоко, — тихо сказал Иван Палыч...

Зайчик, должно быть, спал или был в сильной задумчивости и потому не ответил на приветствие Иван Палыча...

— Добрый вечер, говорю, ваше-высоко,—повторил громче Иван Палыч...

Зайчик дернул плечом и показал Ивану Палычу молча на табурет возле стола, а потом на бутылку:

— Выпей, Иван Палыч,—сказал он тихо.

— Покорнече благодарим, ваше-высоко,—я...

— Выпей, Иван Палыч,—я один пить не люблю...

Иван Палыч выкинул окурок и налил до половины в стакан, отпил глоток и стакан поставил назад, удивленно поглядевши на Зайчика: в бутылке была двинская водичка, у нее вкус особый, совсем отменный от окопной воды, из которой солдаты чай себе ставят...

— Покорниче благодарим, ваше-высоко,—испуганно прошептал Иван Палыч,—должно быть, отвыкши: вкусу не слышу!

— Я и сам, Иван Палыч, пью без удовольствия...

Зайчик долил стакан и залпом его выпил.

— Перехватил раньше,—подумал Иван Палыч,—а теперь водичкой отхаживается.

Зайчик опять уронил голову на руки.

— Неможется,—говорит,—Иван Палыч, страсть как,—и пальцы хрустнули, словно сломанные ветки на морозном ветру.

Иван Палыч присел на табуретку, трубку выкурил, недоумевая, что это творится с Зайчиком, потом, разглядевши на призрачном свету от коп-

тилки чистую струйку, бегущую из-под Зайчиковых глаз, поднялся и тихо про себя сказал:

— Дела твои, Господи...

Подумал было Иван Палыч, не прислать ли на сегодняшнюю ночь кого к командиру, потом махнул рукой, человек он был до всего равнодушный, потому только и подумал:

— Глаза на мокром месте! Тюря!

Попятился Иван Палыч к двери и, не дожидаясь ответа, взял под козырек:

— Прощенья просим, ваше-высоко!

* * *

Где явь и что сон,—все слилось в один незабываемый день, выжженный в огненный знак на душе. Как это могло случиться, как это случилось, за каким углом простоял в эту минуту белый ангел и не отвел во-время Зайчикову руку и не толкнул под нее белым крылом?

Уронил Зайчик голову на стол, широко раскрытыми глазами смотрит в темный угол, где паук все заплел в паутину:

Вот она счастливая, разголубая страна!

Посреди нее стоит дуб десятитысячелетний, покрыл он ветками селенья и поселки, города и деревни, запутался у него в ветках полуночный месяц, улыбается месяц в обе щеки, наклонился низко и чертит по земле своими ресницами...

Плывут к нему девичьи туманы по полям бескрайным и тихим, в туманах заливистые переборы Комковской тальянки, плачет тальянка, только плачет она от радости, что некуда подевать эту радость, рыдает она от избытка веселости, бумажной могучей грудью задыхаясь под рукой разудалого песенника Ваньки Комкова...

В новой хате, бревнышко к бревнышку, словно строка к строке в староотеческой книге, в новой хате сидит Петр Еремеич, пьет чай с своей Аксиньей из голубых кумочек, а кони его пасутся на приречном скате, и весело оттуда звенят с шелковых ошейников их бубенцы; слились они с туманом, и у пастуха в руке не дудка, а луч от полуночного месяца, и в сумке, пропахшей хлебом, свежий душистый коровай—потому, знать, и льется в далекие дали свирельнатая песня и ему подпевает каждая былинка и каждый цветок кивает головкой:

Ой, луга—куга шелковая!
Книга вещая, толковая!
Синь, густынь, чаща полесная,—
Жизнь—невеста неневестная!..

Хохрются на налишинах сирины и алконосты, расправляя свои голубые, сизые, сизо-розовые и синие перья, поднявши тонкие клювы к полночной луне, гургукает с крылечка надвходный голубок, машет крыльями, словно манит ими путника с дороги:

— Входи, мирный путник, да будет мир в твоем сердце под мирным кровом...

* * *

Сморгнет Зайчик слезу, и исчезнет виденье, колыхнется в углу паутинная сеть, и за нею снова вспыхнут далекие страны.

Что это там в тумане полевом?..

Не заря ли раскинула золотые уборы?.. То ли золоченые кровли хат, крытых новой соломой, то ли в светлый праздник горят перед образом свечи?..

Смотрят на Зайчика две синих лампады, росятся у них человечьи ресницы, с ресниц падают крупные слезы...

Не город ли это там Чагодуй на заре?..

Не Колыгинов ли загородный дом, где у окна плачет печальная Клаша?..

Или это только за туманом—туман...

Только видит все это Зайчик, видит, как на яву... Хочет Зайчик встать из-за стола, шагнет шаг в паутинный угол, и совсем под ногами потечет быстрая Незнайка-река... Посмотрит Зайчик, девичья чиста вода, как девичьи слезы, звонка водица, как девичья песня, желт прибережный песок, как девичья коса...

Только на том ее берегу темно вверху, все покрыто черной овчиной, а по берегу искрится не то снег на морозе, не то рассыпан искристый сахар, и по сахару вьется от берега алой бровкою кровь...

Пойдет Зайчик глазами по бровке и словно пропадает вместе с ней в темноте, сначала вроде

как ничего и никого не видно, потом будто откуда-то издалека-далека услышит Зайчик тонкий и слабый, как детский, голосок:

— Сдраствуй, Русь!!.

Вздрогнет Зайчик, наклонится над водой и захолонет в сердце...

— Сдраствуй, Русь! Али ты меня не разглядишь... Что же ты, Русь, не стреляешь в меня... Стрели, стрели, Русь...

Смотрит Зайчик пристально, инда глаза больно: бежит, бежит и чешуится Незнайка, а тот берег и глазами едва достанешь, на том берегу, на сахарном, стоит у самой воды маленький немчик с игрушечным ведерком и черпает воду, за спиной у него игрушечная пищаль, а из кармашка высунул широкий язык штык от немецкой винтовки...

Смотрит Зайчик и слышит, как у него холод ползет по рукам и ногам, как выскакивают гусиные пупырышки по телу, а немчик снимает ружье, достает из кармашка острую пулю, намазанную смертным ядом, и кричит ему с того берега громовым голосом:

— Стой, Русь, не бойся, ты мой, я твой, ты стрелял, теперь я стрелять буду...—и не может Зайчик пошелохнуться, видит он, как подымается к плечу игрушечная пищаль, как выскочил и приподнял заячью лапку курок.

— Читай, Русь, молитву...

Но не может Зайчик пошевелить языком, лежит он но рту, как покойник в гробу...

— Не бойся, Русь, не бойся, у меня ружьецо незаправское, и пуля не пуля, а леденец сладкий, сахарный, только слаще леденца человечья кровь...

Видит Зайчик—побагровел немец, напружил он леденцовые ручки и дернул пищальный курок, и сдернулась земля с места, и зазвенела, как разбитый чугун...

* * *

Упал Зайчик навзничь и закрыл лицо руками...

Могучая рука схватила его, приподняла высоко на воздух и трясет им, и кто-то сладким сахарным голоском шипит ему в ухо:

— Пришел видно, Русь, тебе кончик...

Все потемнело в глазах, земля плывет из-под ног, под ногами шуршит прозрачная, как девичьи слезы, водица, и чувствует только Зайчик, что никакого мира больше не стало, а есть только темный паутинный угол, в котором он на гвоздь свою шинель вешал, что уперся этот гвоздь ему больно в затылок, и висит он вместе с шинелью на нем на шелковой тесемке от нательного креста, и под ногами у него звенит и струится Незнайка-река, и вода в этой реке чиста и прозрачна, как девичьи слезы: оттого, может, и хорошо теперь Зайчику, и обо всем он теперь позабыл...

ПЕРВЫЙ СНЕГ

Любит мужик первый снег.

В деревне, как никак—переменка!

Хорошо забраться в дубленую шубу: особливо из новой овчины, крашеной под осеннюю зорю,—целый десяток овец на плече—тепло, и душок такой идет на морозе и от тебя самого и от шубы!

За пазухой тогда тихо копится немудрое наше мужичье довольство!

В дому матереет, в сундуке, в закроме растет убогий прибыток, по утру курчавится над соломенной крышей веселый рыжеватый в восходном лучике ус, от которого пахнет сочнем, бараниной... ах, да и чем он не пахнет, неблагодарен и черен труд мужика, и все ж он похож на литургию!

Дело-не-дело, а как выпадет снег, прикроет черноту и убогость завядшей земли, каждый спробует сани, а сани известно: по первому снегу катятся сами!

Не говоря уж о том, что на такой случай мужик чаще держит кобылку, хотя мерин ему в хозяйстве сподручней!

Хорошо об'езжать самому по первому снежку приплод от нее, третьяка, чтоб потом, в лихой час. цыгану спустить за бесценок: конь, в первый раз вошедши в оглоблю, дороги не понимает, вожжей не слышит и несет тебя прямо, как ветер,—по ветру!

В этот день и во сне все будешь за вожжи держаться: и куда тут... занесет!

Любит мужик первый снег!

Любит еще как раз потому, что с первого снега спится с захлипом, крепко спится, работа останется только девкам да бабам, лен трепать, капусту обихаживать, снедь заботу бабью любит, а мужик по окна избу новой соломой запележит и... до весны!

* * *

Не на радость только в ту самую пору выпал глубокий снег для нашего брата в окопах.

Как раз в вечеру того самого дня, в который Зайчик ухлопал немца, только солнышко завалилось за тучу, пошел он как-то сразу, без примет, солдатня даже про случай с немцем забыла.

— Идёть!—радостно говорил Пенкин, протирая руки о белую вату,—важно идёть, не торопится, значит к утру на пол-аршина навалит.

— Ишь, премудрость!—улыбается Голубок, уловивши на широкую ладонь снежинку.

Только было собрались все возле входа в блиндаж, принюхиваясь к снежку и щурясь в его меркотню, как неподалеку в стороне вдруг разорвалась граната, ударившись чугунным лбом в промерзлую землю, и небольшим осколком у стоявшего впереди всех Абыса откинуло шинельную полу и вырвало в ней большую прореху.

Абыс матюкнулся и обеими руками схватился за середину.

— Дома?—пошутил Пенкин,—целы ли говорю?..

Однако, убрались в блиндаж и больше уже без большой нужды не совались, к тому же Иван Палыч от Зайчика не возвращался и не звонил, а к полночи немцы совсем посходили с ума и подняли такую канонаду на нашем участке, что было уже не до снега.

— Это он, братцы, за немца нас лупит!—сказал Сенька, растягивая слова, как будто отгадывал какую загадку.

— Полно ты,—усмехнулся Прохор,—это он нам дает лупцовку за то, что едим мурцовку!

— Нет, Прохор Акимыч, нет: зря командир немца ухлопал!

Прохор стрельнул глазами на Сеньку, но ничего не ответил. Какой может быть человечий разговор, небось не в гостях. Все молчали, поеживаясь под шинелями на нарах и изредка подымая голову, чтоб посмотреть, цел потолок али уже обвалился?

* * *

Немцы давно пристрелялись к нашим окопам и били теперь наверняка, снаряды, слышно было, ложились то ли чуть впереди, то ли по-за окопу, заворачивая землю, как бабий подол, и раздирая ее на лоскуты. Знали мы, что не каждый угодит, куда

надо, да если и попадет, так с одного разу только в нос земли набьет, окопы на этом участке были прочные, укрытия под блиндарями и трехаршинным настилом, наступления же ждать после бомбардировки не приходилось, потому что Двину еще не заковало.

— Вот и платись теперь за командирское геройство!—шепнул Сенька Прохору под шинель.

— Смерть причину найдет,—ответил было Прохор, но осекся на последнем слове, схватился за нары, привскочил и оглядел всех чудными глазами, потому что в это время бабухнуло, кажется, у самых ушей, земля тяжко вздохнула, в ушах звон пошел, и в глазах зеленые круги завертелись, весь блиндаж ёкнул и будто глубже осел в землю, придавленный сверху могучим коленом, со стен посыпалась во многих местах земля в широкие пазы из-за сруба, и в оконце, глядящем в тыл, над самой головой Прохора лопнули стекла, и из темной оконной дырки запело на разные лады, засвирестело, зажукало, как в пьяном хору.

— Позвони-ка, Прохор Акимыч, командиру,— зашептал опять Сенька, подвинувшись к Прохору ближе,—Иван Палыч, наверное, у него засиделся!

— Да что тебе без Иван-то Палыча умирать что ли скушно?—ответил Прохор, не повернувшись к Сеньке.

— Все-таки, Прохор Акимыч: без начальства как-то страшнее!

— Полно тебе, дурья башка!.. а промежду прочим, взял да позвонил!

— А в сам-деле, Прохор Акимыч!

Сенька подбежал к аппарату и неловко завертел трубку в руках, в ушко поглядел, потом пригнулся к нему и сострoил серьезное и озабоченное лицо.

— Эй ты, дрыгалка... слушай! Слушаю... хто?.. а—ты значит будешь, Иван Палыч?.. Слушаю, господин фельдфебель... Палят, говорите?.. Как же, как же, у нас тоже нахорошо расписывает: у Фоки сползли офтоки, и у Сеньки присеменьки: вот уж лупит, господин фельдфебель...

— Да ты спроси, несь, по делу, чего дело с бездельем путаешь,—подошел к Сеньке Прохор, спустившись нехотя с нар,—чего ты там мелешь!

— Прохор, спрашиваешь?.. Ничего: героем!

Прохор выхватил у Сеньки трубку из рук и сам приник крепко ухом, чудно скособочившись:

— Ты, Иван Палыч?.. Иван Палыч, слушаю, слушаю!

Сенька отвернулся и почесал в затылке.

— Галаня!—сунул Прохор Сеньке кулак,—тоже нашел время шутки шутить: немец провода перекусил!

— Я, Прохор Акимыч, больше для-ради страху...—улыбнулся Сенька.

И не поймешь: что больше Сенька, трусит или смеется?

Как там никак, а уходя Иван Палыч оставил Прохора наместо себя, коли что такое случится, хотя какие мы были солдаты? Переодетые мужики, нечесаные бороды, все больше из крестовиков да еще второго разряда.

— Да нам-то что: больно наплевать!—лег Прохор на нары и завернулся с головой в полу шинели.

* * *

Но спать в эту ночь не пришлось.

Блиндаж вздрагивал поминутно, и в пустое оконце залетали обезумевшие снежинки, напуганные визгом осколков и грохотом гранатных разрывов.

Думали, видно, они, что, упавши с облака, найдут тишину, уснувшую сладким сном зимнюю землю, а тут и нечистый бы не подсунул рога.

Трясся под нарами земляной пол, и там под ним тоже гудело и глухо рокотало под самым пупком у земли. Каждый в полусне часто привскакивал и торопливо спросонок протирал затекшие глаза, оглядываясь в темноте и ничего хорошо не разбирая, по привычке сначала хватался за винтовку, другою рукой за сердце, потом крадливо подсовывал под себя обе руки, как будто боялся, что их в темноте оторвут, будто хотел ими удержать себя в таком удобном положении, когда все будет валиться в пропадину, которая, кажется, вот тут раскрылась уже под

ногами, спущенными с нар, и из-под них в темноте уползает земля.

— Прохор Акимыч,—шепчет на ухо Прохору Сенька,—а, Прохор Акимыч, пойдем, друг, лучше на волю! А?..

Но Прохор как лег, так и головы ни разу не высунул, хотя видно, что тоже не уснул ни минуты.

— Ей Богу, обвалится блиндарь и придушит! Смотри-тка, пляшет, как лошадь с мороза.

— Спи, Сенька: сонному человеку на том свете прибавят веку!—тихо ответил Прохор, и видно по голосу, что у него за губу задевает губа.

— Хоть бы Иван Палыч вернулся!

— А пущай его погуляет! Человек немолодой, с большой бородой: не заблудится!

Но Иван Палыч так и не вернулся.

* * *

Вышел он в этот памятный вечер от Зайчика, ничего такого в нем не заметил, потому что мужик был не мозголовый и не дотошный в чужие дела.

Вышел и сразу вздохнул полной грудью и широко улыбнулся: пока он сидел у Зайчика, навалило снегу на палец, перед глазами белым-бело, белы далекие взгорья, где немцы, словно разостланы новины по дороге к нашему штабу, поседела хребтовина у окопа, из снега сохлой щетинкой торчит травка да облетевшие стебли цветков, а сверху стало будто еще

темнее, туча нашла из-за немецкого берега, низкая, опадающая белыми пушистыми хлопьями на землю,— словно вот сколько времени лежал черный покойник, ожидая терпеливо своего часа погребения, теперь его обрядили в белёный холст и убрали по чину: спит земля сном белопушистым и сладким...

— Эх-ма, зима-матушка...—вздохнул Иван Палыч всей грудью, чувствуя, как по ребрам побег мягкий снежный душок, и большими шагами зашагал по окопу. Не доходя с сотню шагов до взводного блиндажа, Иван Палыч вздрогнул от неожиданности и присел в окопном ходу на корточках: из-за Двины бухнуло с батареи, и скоро невдалеке морозная земля звякнула, задзинькала, и бруствер облизал красный язык: перед глазами у Иван Палыча испуганно заметались снежинки...

Немцы сразу с трех батарей открыли пальбу.

Второй разрыв пришелся совсем за плечом у Иван Палыча, осколки, комья земли, кажется, совсем немного чуть повыше фуражки пролетели, но Иван Палыч, еще издалека заслышав жука, успел, видно, присесть, и его не задело. Прижался он, было, к окопу, согнувши коленки, но вспомнил, что лучшее спасенье во время обстрела—яма после разрыва, пополз на карачках вперед по окопу и едва успел доползти и подобрать под себя ноги калачом, как снова зажукало с немецкой стороны, залетел жук высоко, будто обогнуть Иван Палыча хочет и потом как раз хлопнулся на том самом месте, где только

что стоял Иван Палыч, притулившись к окопу, оттуда снова вспыхнуло, и в пламени опять земля жалобно зазвенела, как разбитый чугун.

— Нечистая сила, важно было наметил!—радостно подумал Иван Палыч, еще плотнее подбирая под себя длинные ноги,—мимо! Мимаком теперь пойдут!

* * *

Снаряды ложились и вправо, и влево от Иван Палыча, и казалось ему в страхе и смятении, что пляшут, подскочивши над землей, раскаленные гранаты, видно, кажется, их в темноте, так что вот поймать даже можно, лосные, как сомы из верши лезут, салом для легкого хода смазаны немецким, и вокруг них вьются и взвиваются снова с земли, улетают назад в небо испуганные снежинки. Там и тут то и дело ухало, охало, ахало, и визжало вверху, и сама земля в этом уханьи, кажется, металась, как безумная, не находя на земле себе места

Иван Палыч уткнулся носом в рукав, припал к земле лицом и стал думать о том, как теперь на деревне без него справляется баба, не балуется ли, ляд ее возьми, как другие, с пастухами, и как бы хорошо теперь переменить старую кобылу на меринка, потому что какой год не жеребится.

Любит трусливого смерть!

Храбрецов же... совсем не бывает!

Страшного не страшиться?.. Эн он роет, сразу с одного маху, могилу—тридцать мертвецов уложишь!

* * *

Всю ночь Иван Палыч пролежал в ямке, рукой не шевельнул, головы не поднял!

Только к самому свету как-то вдруг немцы оборвали стрельбу. Иван Палыч пролежал с полчаса в тишине, еще не веря ей, в ушах продолжало греметь и грохотать, как будто в них катилась с большой бочкой телега.

К тому же было Иван Палычу тепло, несмотря на шинеленку, в которой ветер ходит, густо его закидало землей и сверху припорошило снежком. Одним глазом, чуть высунувшись из ямы, Иван Палыч недоуменно различил на востоке красную бровку, нежно положенную на самый закраек земли: вот-вот свалится словно стручек!..

Как будто там кто-то тоже высунулся и теперь пугливо заглядывает за окопную стенку, еще не доверяя затомелым в страхе глазам.

Иван Палыч привстал на колени, отряхнулся от земли и от снега и широким крестом перекрестился на бровку.

— Отцу и сыну: солнышко вижу!

Поднялся на ноги и опять перекрестился: кругом и не узнаешь, словно кто за ночь подменил

всю местность! Вчера лежало все черное, неуветливое, обугленное от осенних рвучих ветров, теперь, словно после бани, в чистой белой рубахе с лицом покойным и счастливым. Вон деревцо за окопом, прямо у Иван Палыча перед глазами, опустило свои оббитые шрапнелью руки и так на него и смотрит, словно втихомолку сбегало в солдатский околодок, где ему положили на руки повязку, запеленавши их в белоснежную марлю.

Даже ям от разрывов не видно, припушило их пухлым снежком и незаметно, только в окопном ходу вырван бок, и разрушена стенка вправо от Иван Палыча, и в этой окопной прорехе такая же тишина и чистота убеленная, Двина, как крыло прямое сизое, упавшее с неба в полуночи между немцем и нами, как вещий знак мира и тишины.

— Немец свое, а Бог свое!—сказал вслух Иван Палыч,—экая же благодать! Первое дело теперь: доложиться, потому чего бы не вышло!

Иван Палыч быстро зашагал по окопу, как раз на полпути к Зайчикову блиндажу должен быть пост, кстати поверить часового.

Но ни часового, ни караулки Иван Палыч не нашел, в том самом месте замахнулось на него из за окопа бревно, застывши над головой, а в прогале, в окопном ходу торчала из снега нога в солдатском сапоге с широкой казенной подошвой и вверх каблуком, на котором весело горела подковка.

Иван Палыч скосился в немецкую сторону и, пригнувшись к земле, прошмыгнул через яму.

* * *

Больно заколотилось у Иван Палыча сердце.

Был человек—нет человека, легко тоже говорить да ставить похеры в чередовом листу! И то уж нарядный листок больше похож на кладбище, на котором спутались могилы и похилились набок кресты.

Видно, что в этой части окопов был самый сильный обстрел, как будто и в самом деле мстил с того света злополучный немец, неживыми глазами из Двинской воды разглядев, в каком месте Зайчик схоронился в землянку.

Вини—не вини Зайчика, а случай для немцев был и в самом деле обидный!

Зато и накорежило за ночь: Иван Палыч то и дело пригибался, держась за фуражку, перебегая в прорывах, и даже в расплохе, после сапожка с веселой подковкой, проглядел Зайчиков блиндаж—как раз в этом месте торчали, как ребра обглоданные волками, столбы и подпорки окопной стены, и там и тут зияли глубокие впадины от разрывов, а колышки, на которых еще вчера густо висела перед окопом заградительная колючка на случай атаки, должно быть, убежали со страху, потому что духу от них никакого, косточки нигде не видно.

Только когда пробежал окопный прорыв и разогнулся, Иван Палыч заметил прошибку и обернулся: посредине прорыва стояла землянка, запорошенная снегом, как бы присела она еще ниже к земле и издали похожа была на могилу.

Иван Палыч плюнул и пополз обратно, носом тыкаясь в снег.

— Главное: из-за чужого дела, а неровен час: застрелют! Ну, да как никак: командир!

Подобрался Иван Палыч под бугорок и сначала было рукой махнул: Зайчиков блиндаж скособочило в три погибели, слева он еще глубже подался в землю, а справа ему выворотило стену и накренило ее на блиндаж; от дверки только на петле щепка осталась, и сквозь заднюю стену в небольшой прогал, вырванный бомбой, мирно смотрит небо—синим, недрогнущим глазом.

Просунул Иван Палыч голову и только мыкнул: Зайчик неподвижно лежал в углу, прислонившись к сбитой набок стене, стена вот-вот завалится, а с потолка уперлись в пол два переклада, из-за которых высунулась углом цементная плитка и выдавилась мясистая желтая глина.

Стол отбежал со средины к стене, видно, ища у нее приюта, но она навалилась на него, и у стола под тяжестью перепутались ножки, а на походной койке развалился поперек большой комель от бревна, выскочивший, словно с испуга, из стенки.

— Ваше-высоко! Ваше-высоко!—зашептал Иван Палыч, не попадая зуб на зуб,—живы аль нет... Микалай Митрич, родимый, слышите, что ль?..

Но Зайчик не шевельнулся. Разметалась под ним шинеленка, и один сапог по колено уже завалило сверху песком.

Подобрался Иван Палыч на локтях к лежащему Зайчику и тронул его за рукав, рука подалась, потянул ее Иван Палыч: теплая, слышно даже, как под кожей стучит кровь, перепуганная смертью, лицо бледное, только у мертвенных губ жалобно застыла тихая улыбка.

— А ведь жив! Жив! — радостно подумалось Иван Палычу,—ей Богу, только половину мертвый! Скажу: голыми руками командира откопал!

Подхватил Иван Палыч Зайчика одной рукой на перехват и, трудно дыша и обливаясь потом от усилия и страха, что вот теперь, в самую последнюю минуту, блиндаж и обвалится, стал пятиться к выходу. Зайчик покорно за ним подавался, чертя по полу головой и обдавая Иван Палыча тежелым перегаром.

— Так бы пьяненький на тот свет и заявился, святых-то всех бы пересмешил, чудная душа,— думает Иван Палыч учуяв этот душок,—вижу вчера, что нарезался через меру!

Выкарабкался Иван Палыч на волю, уклал Зайчика под ноги и стал оттирать ему снегом виски и затылок. Зайчик чуть шевельнул рукой, припод-

нял ее, как будто падал и хотел в этом падении ухватиться за штанину Иван Палыча, показалось, открыл красные набухшие веки и одну секунду поглядел на сапоги Ивана Палыча непонимающими глазами, в которых еще не обсохли и тихо теплились вчерашние, совсем Иван Палычу непонятные, слезы.

— Ваше-высоко! Ваше-высоко—радостно вскрикнул Иван Палыч, но Зайчик только передохнул и снова крепко зажмурил глаза.

— Отойдет авось... отойдет: первый снег, он лучше лекарства помогает: быть тебе, Иван Палыч, теперь кавалером!

Взвалил Иван Палыч Зайчика на плечо и, прикрываясь им на дурной случай от немецкой пули, во весь рост, не сгибаясь, пошел по окопу, откидывая перед собой чудную, ни на что не похожую тень.

КРАТКАЯ ХРОНИКА ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВА СЕРГЕЯ КЛЫЧКОВА

1889 1 (13) июля в староверской семье родился Сергей Антонович Клычков (деревенское прозвище — Лешенков):

Родился я в 1889 году в июне месяце в деревне Дубровки, Тверской губернии, Калязинского уезда — ныне Московской губернии, Ленинского уезда. Детство мое протекло с глазу на глаз с бабкой Авдотьей. Лес у нас в ту пору стоял почти у окон заповедный, мимо крыльца лоси ходили в метели, в лесу водилась разная диковина, и вообще было все, если теперь вспомнить, как выдуманное... Мать с отцом промышляли в городе (земля у нас не кормит, тверская скудная земля*) — сначала у хозяев, потом и своим кустом. Таким образом, семья наша не чисто крестьянская, а полупромышленного, кустарного типа, как и вся округа знаменитого б. Талдома, ныне города Ленинска (полторы версты от Дубровок), очень упорная, на редкость трудолюбивая, предприимчивая, чем и объясняется сравнительный достаток, к которому пробился отец сквозь вопиющую бедность: дедушка оставил после себя худую избу на выгоне, я хорошо еще помню ее — в ней всегда дождик шел гораздо дольше, чем на улице!**

(С. Клычков, "Автобиография", в кн. *Серый барин*, Харьков, 1926).

---

* Из стихотворения А. Ахматовой "Ты знаешь, я томлюсь в неволе..." (1913).

** См. настоящее издание стр. 120.

Я родился на постели
Колких игол, мхов,
Я качался в колыбели
Смоляных сучков (...)

Хмурый, дикий, в дымной хате
Я с шишигой рос.
Шел я в чаще, как в палате,
А вокруг толпились рати
Сосен-старцев величавых, и седых, как лунь, берез.

("Лесовик", *Белый камень*, альманах первый, М., 1907)

Была над рекой долина,
В дремучем лесу у села,
Под вечер, сбирая малину,
На ней меня мать родила...

(*Дубравна*, М., 1918, стр. 11. См. наст. изд. стр. 184, 244).

1898 Родился брат Клычкова, Алексей Антонович (Сечинский).

1900 После земской школы в Талдоме, Клычков поступил в московское реальное училище И. И. Фидлера (в Лобковском пер.) и по милости его директора был освобожден от платы за обучение.

1903 Родилась сестра Клычкова, Вера Антоновна (Пелагушка в *Сахарном немце*).

1904 Погибла под поездом бабушка Клычкова — "лесная бабка Авдотья". Познакомился в Москве с Евгенией Александровной Лобовой, которая в 1908 вышла замуж за купца Кузмина: "От несчастной любви вздумал я было наложить на себя руки" ("Автобиография"). Но война прибрала Кузмина в 1915 г., и Клычков повенчался с Е. А.

в 1918 г. Эта первая любовь Клычкова отражена в *Сахарном немце* (история Клаши и Зайчика).

1905 Декабрь. Клычков участвовал в восстании:

> "В моей студии постоянно собиралась революционно настроенная молодежь (...) Володя и Митя Волнухины [эсеры] — сыновья Сергея Михайловича Волнухина, паровозный машинист Дмитрий Добролюбов [анархист], телеграфист Ваня Овсянников и его брат Александр — студент Инженерного училища, Георгий Ермолаев, поэт Сергей Клычков, бронзолитейщик Савинский [большевик] составили костяк будущей боевой дружины (...) Наша дружина решила забаррикадировать Арбат (...) Дружина охраняла выстроенные за один день баррикады от ресторана "Прага" до Смоленского рынка. Ночевали у меня на чердаке (. . .) Десять дней держали мы в своих руках Арбат".
> (С. Т. Коненков, *Мой век*, М., 1972, стр. 136—137).

> "Сергея Антоновича Клычкова я знал как самого прогрессивного гражданина нашей великой Родины... Будучи в Москве, С. Клычков был активным проповедником освобождения рабочего класса из-под гнета эксплуататоров и даже с оружием в руках выступал против царизма. . . Эти несколько строк да будут воспоминанием о Клычкове, как о прекрасном поэте и стойком борце за права человека". (С. Т. Коненков, неизданная записка 1956 г., цитируемая в кн. А.В. Кулинича *Новаторство и традиции в русской советской поэзии двадцатых годов*, Киев, 1967, стр. 73).

1907 Литературные дебюты Клычкова: 3 стихотворения и два рассказа опубликованы в трех московских журналах и альманахах (*Белый Камень*, *Двухнедельник литературы и искусства — Вестник Общества "Самообразование"* и *Сполохи*).
12 декабря: письмо В. Вересаева И. Бунину:

> "У меня был вчера молодой поэт Клычков, о котором я вам говорил... Если найдете стихи стоящими (мне

они очень нравятся), то, может быть, посодействуете ему в их напечатании". (*Литературное наследство*, т. 84, кн. 2, стр. 461).

1908 Февраль: в сопровождении М. И. Чайковского ("память о котором храню, как святыню" — "Автобиография") Клычков, после попытки самоубийства, поехал в Италию, на Капри, где познакомился с Горьким и Луначарским.

Осенью Клычков поступил на историко-филологический факультет Московского университета, но курса не кончил.

Дружил с поэтами С. М. Соловьевым и П. А. Журовым.

1909 Клычков посещает символистский кружок Эллиса у скульптора К.Ф. Крахта.

1910 Пешее путешествие вверх по Волге от Савелова до Клина с П.А. Журовым.

Конец года: в книгоиздательстве "Альциона" вышел первый поэтический сборник Клычкова (датированный 11-м годом) — *Песни (Печаль—Радость—Лада—Бова)*, 68 стр., 1 000 экз.

1911 Отзывы Гумилева, Брюсова, Городецкого, Волошина и др. о *Песнях*.

В *Антологии* книгоиздательства Мусагет напечатаны 7 новых стихотворений Клычкова, отмеченных в печати Гумилевым, Городецким, Брюсовым и Львовым-Рогачевским.

Осенью: познакомился и подружился с поэтессой Любовью Никитичной Столицей и с С. Городецким.

Из письма Клычкова П.А. Журову от 23 октября:

"Слава Богу, я опять полон счастьем своим одиноким, как пруд наш весной, и стихи-рифмы в моей душе

полощатся, как утки, зазывая с реки диких селезней!"
(П. А. Журов. "Две встречи с молодым Клычковым", *Русская литература*, 1971, № 2, стр. 152).

1912 Я дурно кончу, не кончить нельзя, потому что не может век блаженство, блаженство в раю, — а я на земле! Все равно предадим жизнь свою мечте и снесем души наши, как цветы, на ее жертвенник! Ты, друг, никогда не чуял. . . обреченности! Поэт живет почти как наш добрый Миша-бычок: ест дуранду в охотку, а инстинктом чувствует, что долго ли, коротко придет Нил-пастух и ткнет ему в глотку ножиком!
(Из письма Клычкова П. А. Журову, ук. ст. стр. 153; см. наст. изд. стр. 374).

1913 Весной: совершил вместе с Г. Забежинским "паломничество в старинный монастырь около г. Дмитрова" (*Новый Журнал*, 1952, № 29). — В июне совершил паломничество на озеро Светлояр (Китеж) с П.А. Журовым.

"Во все время пути он [Клычков] был бодр, ясен и весел. Он много пел. Любимый его репертуар: "Родила меня мать в гололедицу" и "Думы мои за море летят" ("Талисман" и "Самакан" А. Н. Толстого), "Гармоника, гармоника" (Ал. Блок), "Я надену черную рубашку" (Н. Клюев) и духовные стихи: "Град пречудный на Востоке" и стих о блудном сыне". (П. А. Журов, ук. ст. стр. 151).

— август: в книгоиздательстве "Альциона" вышел в свет второй поэтический сборник Клычкова *Потаенный сад* (94 стр., 1 000 экз). Были положительные рецензии Вяч. Полонского, Львова-Рогачевского, Городецкого и др.
— Состоит сотрудником журналов *Современный мир*, *Северные записки* и *Новое вино* (журнал "голгофских христиан").

— Из письма Клычкова П.А. Журову:

"С осени: я не бродяга, я... конторщик! Поступаю на службу, надо денег, денег, братишка будет учиться, надо будет денег! Из дома едва ли будут давать — нету! Отец пьет напропалую, мать — хворая! (...) У меня нет зависти к богатым людям, но искренне страдаю, глядя, как мало для иных значит слово есть!" (Ук. ст. стр. 151).

1914 Из письма Клычкова П.А. Журову начала года:

"Канителюсь со своей хроникой [задуманная повесть о старой деревне], который раз начинаю опять сначала, стихи же почти совсем не пишу (...) Хочется мне, милый друг, написать свою прозу так, чтобы от нее не оторваться, чтобы все было по-иному, не как теперь пишут". (Ук. ст. стр. 154).

Критически относится к акмеизму:

"В наше же время если какой писатель и любит жизнь, так уж непременно с высоты какого-либо умозрения. Адамизм — вот тебе наиболее яркий пример (...) Жалко мне, что Городецкий спутался с их дикой компанией. Все они очень культурные люди — но вот, мой друг, пример еще того, что и культура изощренная иногда куда хуже открытого варварства. Господи помилуй, недавно узнал, что и Клюев там, куда этого-то нелегкая несет? Я счастлив, что я до сих пор в стороне от этой литературной возни и маскарада культурных зверей. Бог с ней, с известностью, если она в зависимости от этого пройдет мимо моего окошка. Черт с ней!" (Там же).

— Стихотворения Клычкова напечатаны в *Ежемесячном журнале*, в *Заветах* № 6 (6 стихотворений из цикла "Дубравна"), в антологии *Избранные стихи русских поэтов* (14 стихотворений).
— В июле он призван в армию (общая мобилиза-

ция произошла 18 июля по ст. ст.) и служит в 727-ом Зубовском полку, в Гельсингфорсе.

— В *Биржевых ведомостях* от 14 сентября напечатана статья С. Городецкого "Воин-поэт", посвященная Клычкову:

Он был курчав, носил длинные волосы и пел свои сладостные песни про Леля и Ладу, слагал небылицы про лешего и другую милую русскую нечисть.

Судьба его была красивая, крестьянская.

Самое рождение его было поэтично: родила его мать в малиновых кустах (...)

И вот, вдруг, вместо кудрявого поэта приходит солдат, в походной форме, остриженный, обученный всему военному искусству, с огнем войны в черных глазах.

Поэт стал воином, загорел, погрубел, поздоровел.

Поэт стал отличным воином.

Поэзия такое дело, после которого ко всему годишься (...)

На войну ушло немало поэтов.

На войне московский поэт Сергей Кречетов.

Воюет Гумилев.

В солдатах Сергей Клычков (...)

Но музе он остался верен.

И его песни уже распевают солдаты.

Наспех, при кратком свидании, он прочел две из них.

Была раньше солдатская песня такая:

"Это верно, это, братцы, верно,
Что лежал я на скале..."

И вот, на мотив этой распространенной песни теперь поют новую, клычковскую, куда более поэтичную, чем прежняя:

"Рано солнце из тумана встало
Провожать солдат на поход" (...)

Песня солдатам понравилась и скоро привилась. [см. наст. изд. стр. 30]. (...)

Лихо голосили бабы на деревне, провожая Клычкова на войну. Деревня любит своих песенников.

С пожеланием победы и счастливого возвращения провожает русская литература своих детей на эту великую войну.

От всех солдат своих Россия ждет победы.

А от солдат-поэтов ждет победы и песен".

1915 25 октября: стихи Клычкова прочтены на вечере крестьянских поэтов, организованном обществом "Краса" и Городецким в петроградском Тенишевском училище (Моховая, 33).

1916 Служит младшим офицером в Гельсингфорсе. Во второй половине года был переведен на западный фронт. (См. начало *Сахарного немца*).

"Провожая меня, мне говорил Клюев о Клычкове, он в Гельсингфорсе и ноет". (Письмо Есенина Л.Н. Столице от 28 июня).

Написал прощальное письмо Е. А. Лобовой: он назначен в опасный десант, который был потом отменен (см. наст. изд. стр. 19, 27).

1917 Служит в батарее 4-го осадного артиллерийского полка, на западном фронте (см. письмо П.А. Журову от 1 января, наст. изд., стр. 427).

Назначен в батарею в Балаклавской бухте (Крым).

В марте находится в Петрограде. Революционно настроен.

1918 Начало года: венчание с Е. А. Лобовой в церкви на Покровке. Шафером был С.Т. Коненков.

Осенью: дружба с Есениным и работа в Пролеткульте: он поступил на службу в канцелярию Московского Пролеткульта (ныне Дом Дружбы на пр. Калинина) и жил в ванной комнате купцов Морозовых. Приехавший из Петрограда Есенин поселился у него:

"Они были веселы и писали, как никогда". (Н. Полетаев, "Есенин за 8 лет"; см. также воспоминания о Есенине М. Мурашева и Л. Повицкого).

"Прав поэт, истинно прекрасный народный поэт, Сергей Клычков, говорящий нам, что

Уж несется предзорняя конница,
Утонувши в тумане по грудь.
И березки прощаются, клонятся,
Словно в дальний собралися путь.

Он первый увидел, что земля поехала, он видит, что эта предзорняя конница увозит ее к новым берегам, он видит, что березки, сидящие в телеге земли, прощаются с нашей старой орбитой, старым воздухом и старыми тучами". (С. Есенин. "Ключи Марии", *Собрание сочинений в 6 тт.*, т. 5, М., 1979, стр. 189 и первоначальная редакция стр. 275—276).

"Одно время сблизился я с Сергеем Клычковым, поэтом очень близким мне по духу. Тогда я писал "Ключи Марии" и собирался вместе с ним объявить себя приверженцем нового течения "Аггелизм". (И. Розанов. Есенин о себе и других, М., 1926. Об "аггелизме" см. Cahiers du Monde russe et soviétique, 1977, XVIII (1—2), стр. 33—60.

Сентябрь: совместно с Есениным, П. Орешиным, А. Белым и Л. Повицким организовал книгоиздательство "Московская Трудовая Артель Художников Слова" (МТАХС), выпустившее в 1918 две книги стихов Клычкова: *Потаенный сад* (изд. 2-ое, цена 4 р.) и *Дубравну.*
— Вместе с Есениным, Орешиным и Коненковым подписал "заявление инициативной группы крестьянских поэтов и писателей об образовании крестьянской секции при Московском Пролеткульте". (Предложение принято не было).

— Октябрь: написал заявление в Отдел изобразительных искусств Наркомпроса о выдаче аванса в связи с работой, совместно с Есениным, над монографией о Коненкове.
— В сентябре-октябре журналы *Рабочий мир* и *Вестник жизни* напечатали стихотворения Клычкова.
— 7 ноября при открытии, в присутствии Ленина, мемориальной доски Коненкова "павшим в борьбе за мир и братство народов" исполнялась "Кантата", написанная Есениным, Клычковым и Герасимовым.
— Совместно с Герасимовым, Есениным и Н. Павлович написал киносценарий "Зовущие зори".
— В журнале Московского Пролеткульта *Горн* (№ 1) напечатаны статья Клычкова (под именем С. Лешенкова) "К скульптурам Коненкова" и рецензия на сборник пролетарских поэтов *Завод огнекрылый.*

1919 Клычков находился в Крыму с женой:

> "Во время войны Клычков был 4 года в армии, два года у белых и был ими дважды приговорен к смертной казни". (В. Тарсис, *Современные русские писатели.* Л., 1930, стр. 107).

Издательством МТАХС выпущены в свет книги *Потаенный сад* (цена 14 р.) и *Кольцо Лады* в количестве 5 000 экз., с датой "второй год 1-го века".

1921

> [Клычков] "только что возвратился из Крыма. Там он был приговорен к расстрелу "белыми" и благодаря случайности уцелел.
>
> Вид у К. был ужаснейший, оборванный, грязный. Заросший волосами, босой, с большой суковатой палкой в руках. Хриплый говор на о. Все это меня

тогда странно удивило (...) Я оставался с К. Он рассказал мне о своих злоключениях в Крыму, добавив:

— Вот пришел просить Серьгу [Есенина] о вспомоществовании. Православная душа в помощи не откажет.

"Православная" же душа в это время, как оказалось впоследствии, обедала в соседней комнате в обществе иностранца. А когда К. заикнулся по дружбе:

— Нет у тебя, Серьга, лишних сапог? — то Есенин безучастно посоветовал ему обратиться к Луначарскому, у которого действительно тот и нашел впоследствии поддержку.

Неожиданностью такого оборота дела К. настолько был поражен, что глаза у него налились слезами, руки задрожали, и он только сумел выговорить:

— Ну, я пойду. Прощай".

(И. Старцев. "Мои встречи с Есениным", в кн. *С.А. Есенин. Воспоминания*, под ред. И.В. Евдокимова, М.-Л., 1926, стр. 64—65).

1922 Первый квартал года: Клычков стал литературным секретарем отдела прозы в журнале *Красная новь*. Поселился в "Доме Герцена".

— В феврале послал 2 миллиона рублей голодающему Клюеву.

— В апреле отредактировал повесть Либединского *Неделя* :

"Почему "Неделя" так хорошо была встречена? Потому что она хорошо написана? Нет. Написана она по-ученически, растянуто и бледно. Автор даже не развернул сюжета и не мог отчетливо разбить повесть на главы. Немало помощнику тов. Воронского, Клычкову, пришлось поработать над ее разбивкой и над ее сокращением". (Ю. Либединский. "К вопросу о личности художника". *На посту*. 1924, № 1, стб. 65; см. также *Современники*. М., 1958, стр. 25—27. В 1949 Либединский радикально переработал свою повесть).

— Летом М. Пришвин с семьей поселился в Дубровках, в доме Клычковых (до весны 1924 г.).

— 30 октября в еженедельнике *Новости (Московский понедельник)* напечатана статья Клычкова об искусстве (за Пушкина против формализма, футуризма и имажинизма) под названием "Утверждение простоты" (перепечатана с изменениями в *Красной нови*, 1923, № 3 под названием "Лысая гора").

— Клычков — участник вечеров и собраний литературных объединений Дом Печати, Звено, Всероссийский союз писателей, Никитинские субботники, Союз поэтов. Он один из поэтов, "ожививших литературные организации Москвы в 1922 г." (*Корабль*, 1922, № 5—6, стр. 37).

— В течение года следующие журналы, альманахи и газеты поместили стихотворения Клычкова: *Красная новь*, *Красный журнал для всех*, *Новая жизнь*, *Наши дни*, *Московский понедельник*, *Новый быт* и *Начало* (Иваново-Вознесенск), *Эпопея* и *Сполохи* (Берлин), *Красная газета.*

1923 Рождение дочери Клычкова Евгении Сергеевны. В феврале издательством "Госиздат" выпущена книга *Гость чудесный* (Избранные стихотворения), 80 стр., 3 000 экз. (5 рецензий), и издательством "Круг" — *Домашние песни* ("Пятая книга стихов"), 64 стр., 3 000 экз.

— В октябре подписал заявление группы крестьянских поэтов и писателей "об уделении со стороны рабоче-крестьянской власти внимания к нашим творческим достижениям" и возможности самостоятельно издавать свои книги. (См. *Русская литература*, 1972, № 3, стр. 167).

— 20 ноября Есенин, Орешин, Клычков и Ганин арестованы в нетрезвом виде по обвинению в разговорах о "жидовской власти":

> "Очень интересно узнать, какие же литературные двери откроются перед этими советскими альфонсинами после их выхода из милиции, и как велико долготерпение тех, кто с "попутчиками" этого сорта безуспешно возится в стремлении их переделать". (Л. Сосновский. "Испорченный праздник", *Рабочая газета* № 264, *Рабочая Москва* № 262 и *Жизнь искусства* № 48).

— 12 декабря состоялся товарищеский суд по "делу 4-х поэтов":

> "Писатель А. Эфрос указывал, что с поэтами Орешиным и Клычковым он встречается ежедневно в течение нескольких лет, и не заметил с их стороны никаких антисемитских выпадов, хотя, как еврей, он был бы к ним особенно чуток. Такое же показание сделал писатель Андрей Соболь". (*Известия ВЦИК*, 12 декабря, стр. 5).

> "Суд считает, что инцидент с четырьмя поэтами (...) не должен служить в дальнейшем поводом или аргументом для сведения литературных счетов, и что поэты Есенин, Клычков, Орешин и Ганин, ставшие в советские ряды в тяжелый период революции, должны иметь полную возможность по-прежнему продолжать свою литературную работу". (*Известия ВЦИК*, 15 декабря).

— В течение года следующие журналы, альманахи и газеты поместили стихотворения Клычкова: *Красная новь*, *Красная нива*, *Красный журнал для всех*, *Огонек*, *Недра*, *Студенческая мысль* (Саратов), *Ткач* (Иваново-Вознесенск), Литературное приложение газеты *Накануне* (Берлин).

1924 Март: ”Готова к печати книга статей ”Литературные мечтания”. (*Зори*, 1924, № 9, стр. 16. Издана не была).

— 31 марта: письмо Горького Клычкову по поводу *Сахарного немца* (см. наст. изд. стр. 443).

— В мае подписал письмо группы писателей-”попутчиков” в Отдел печати ЦК РКП (б) с протестом против ”огульных нападок” ”На посту”.

— В *Прожекторе* от 31 июля напечатан отрывок из первой главы *Сахарного немца* (”Из книги Живота и Смерти”).

— Составил вместе с Львовым-Рогачевским и Орешиным опись литературного наследства А.В. Ширяевца.

— Ответил на анкету о Пушкине:

> ”Чувство влечения к Пушкину, любви к его поэзии — как чувство голода, жажды: почти физическое чувство. В разгар футуризма и поэтического атеизма, Пушкин для меня всегда был образом утешения, успокоения и надежды (...)” (*Книга о книгах*, 1924, № 5—6, стр. 18).

— 25 октября Клычков прочел отрывок из романа *Сахарный немец* на вечере ”Никитинских субботников”.

1925 В издательстве ”Современные проблемы” вышел в свет *Сахарный немец* (303 стр., 5 000 экз.). Были рецензии Г. Якубовского, В. Правдухина, А. Лежнева, П. Медведева, Д. Горбова.

— В издательстве ”Недра” вышел рассказ *Двенадцатая рота* (часть первой главы и вторая глава *Сахарного немца* (тиражом 15 000 экз.).

— Отрывки из романа *Сорочье царство (Чертухинский балакирь)* напечатаны в альманахе *Круг* № 5 и в *Красной нови* № 7.

— Письмо Воронского Горькому от 20 августа:

"Клычков совсем расписался; у него готова вторая повесть "Чертухинский балакирь", очень свежая и неплохая. Кажется, лучше "Сахарного немца", который мне нравится". (*Архив Горького*, т. X, кн. 2, М., 1965, стр. 23).

— После перерыва, связанного с удалением Воронского из руководства *Красной нови*, Клычков вновь секретарь *Красной нови* (до середины 1927).

1926 *Чертухинский балакирь* напечатан в №№ 1—9 *Нового мира* и вышел отдельным изданием в Госиздате с предисловием Г. Лелевича и портретом автора (тираж — 5 000 экз.). Были рецензии А. Воронского, Г. Лелевича, Г. Мунблита, А. Лежнева, Н. Анциферова, Г. Адамовича и др.

"С. А. Клычков находит, что его "Чертухинского балакиря" можно было резать несколько меньше. В частности, он полагает, что купюры, сделанные в апрельской книжке [*Нового мира*], разрывают фабулу и сделают кое-что непонятным для читателей. Если Вы руководствуетесь при этом соображениями о том, что нас обвиняют в "содействии суевериям" и т.п., я опять повторяю Вам: охотно возьму на себя *полную ответственность* перед партией за такую "религиозную пропаганду", прямо заявлю всем и каждому, что я настаивал, что я давил на Вас в таком направлении. На всякий случай я делаю "подготовку": заставил прочитать "Балакиря" Калинина, надеюсь заставить прочитать Енукидзе и т.д. (...)". (Письмо И. Скворцова-Степанова Вяч. Полонскому от 5 апреля 1926, *Новый мир* 1964, № 5, стр. 212).

"Читали вы роман Клычкова "Чертухинский балакирь"? Вот — неожиданная книга! Это 1926 г. в комму-

нистическом и материалистическом государстве! А того неожиданнее — предисловие Лелевича.

Да — "крепок татарин — не изломится!
А и жиловат, собака, — не изорвется!"

Это я цитирую Илью Муромца в качестве комплимента упрямому россиянину". (Письмо Горького Пришвину от 17 октября 1926, *Литературное наследство*, т. 70, стр. 335).

"Фантастика Клычкова смертельно ранена. Это — фантастика с ножом в сердце. Она еще смело глядит в лицо дня, но она истекает кровью и знает, что умирает". (А. Лежнев. "Три книги", *Печать и революция*, 1926, № 8, стр. 81).

— В Харькове, в издательстве "Пролетарий", вышел сборник рассказов (из романов Клычкова) *Серый барин* с предисловием Д.Горбова, автобиографией и портретом автора (там перепечатана глава "Мокрые окопы" из *Сахарного немца*).
— Луначарский написал рецензию о (неизданной) пьесе Клычкова *Доброе царство.*

1927 Вышли книги *Талисман* (Стихи; рецензия М. Зенкевича) и, в Харькове, *Последний Лель* (= *Сахарный немец* без первых двух глав, с добавлением последней главки "Первый снег" и с небольшими изменениями).
— Отрывки из *Князя мира* напечатаны в *Красной нови*, и роман напечатан с купюрами в *Молодой Гвардии* (№№ 9—12) под названием *Темный корень.*

1928 Издательством "Круг" издан *Князь мира* (408 стр., 5 000 экз., 4 рецензии).

"И в художественном отношении, и по глубине анализа некоторых явлений нынешнего времени у Федина *Братья*, и прошлого — у Клычкова, эти романы мне кажутся самыми замечательными и такими,

которые несомненно войдут прочно в нашу литературу". (А. В. Луначарский. "Литературный год", *Красная панорама*, 1919, № 1).

В издательстве "Круг" вышел в свет вторым изданием *Чертухинский балакирь*.
В Польше переведен *Чертухинский балакирь* (изд. ALFA, перевел Ян Барски).

"Когда зайдет речь о крестьянской литературе, историк назовет не имя Деева-Хомяковского и даже не П. Замойского, а Сергея Клычкова — самого крупного и замечательного художника, выдвинутого русской деревней". (Вяч. Полонский, *Известия ВЦИК* от 7 ноября).

В *Революции и Культуре* № 18 напечатана первая статья О. Бескина ("прокуратура от литературы", по выражению Луначарского) против Клычкова и "крестьянских поэтов" ("Россеяне").

1929 В 1929—1931 на страницах *Нового мира*, с одной стороны, и *Земли советской*, *Печати и революции*, *На литературном посту*, *Перелома*, *Литературной газеты*, *Правды* и др. — с другой, развернулась полемика о том, "кого считать крестьянским писателем". Вяч. Полонский, в *Новом мире*, защищал Клычкова от нападок О. Бескина и др. — В *Литературной газете* от 30 сентября в статье "О зайце, зажигающем спички" (намек на "Злые заметки" Бухарина), Клычков отвечал на статью О. Бескина "Бард кулацкой деревни" (*Печать и революция*, 1929, № 7):

"Защищаться от нападений критики — для писателя занятие малопроизводительное, дело муторное, спорить же с ней, что препираться со сварливой тещей, ибо, по мудрому изречению Пушкина, критика современников — слепая и близорукая старуха (...)

Должен со всей искренностью и прямотой заявить, что, несмотря на свою глубокую диверсию в прошлое, право на которую буду я отстаивать до последнего издыхания, я, как писатель, целиком обязан всем революции, перекроившей тихого лирика в романиста с планами, еще раз повторяю, может, увы, неосуществимыми, осуществленными пока что наполовину, а за такое рождение даже и неудачный художник редко когда не любит своей матери, даже и в тех случаях, когда становится для него мачехой (...)

Я спрашиваю сейчас прокуроров, зычно обвиняющих меня в проповеди кулачества, спрашиваю: кто *так* писал о крепостном праве, можно ли, честно ли образ жирнобрюхого чудища сопрячь с образом села Скудилища, центрального образа книги [*Князя мира*], неужели корни революции всего-навсего начинаются с забастовок пятого года (...)

Не толкайте в спину, литература—не хлебная очередь, а тем более не делайте из писателя прежде времени "литературного смертника", на которых у нас в последнее время создается что-то вроде нездоровой моды, целой системы в критике, Бог весть откуда на двенадцатый год революции обревшей склонность не к строительству в литературе, а к дикой в ее области антропофагии (...)

Читатель, я думаю, не примет за позу, за простую фразу, что пишущему эти строки к нему становится от всего этого муторно, что он в праве не спешить с кораблем, стоящим в верфи, которому, помимо строителя, нужен еще и благодетельный ветер, попутный ветер человеческого внимания и доверия, часто и нежданно делающий с человеческой душой чудеса.

Читатель, надеюсь, поверит, что... страшно ...

Мне все же хочется кончить, тем не менее, шуткой: известно, что если зайца долго бить по ушам, то его можно выучить зажигать спички. Охотникам до такой дрессировки я мог бы посоветовать, во время прохождения зайцем трудной науки, не бить по ушам этого зверя поленом, вненарок попадешь ему в темя, и заяц, вместо того, чтобы зажигать бурачок, то ли просто вытянет ноги, то ли, совсем уж, как в сказке, возьмет да и обернется в птицу-кукушку!

А это известная птица.
Ее никто не перекукует!"

В издательстве "Федерация" вышло второе издание *Сахарного немца*, "исправленное и дополненное" (= наст. переиздание). В его основе лежит *Последний Лель* 1927 г., с восстановлением обеих первых глав.

— Стихотворения Клычкова печатались в *Красной нови*, *Красной ниве*, *Новом мире*, *Земле и Фабрике*, *Литературной газете.*

1930 Развод с Евгенией Александровной. Женился на Варваре Николаевне Горбачевой.

— Вышла в издательстве "Федерация" "седьмая книга стихотворений" Клычкова: *В гостях у журавлей.* Было 7 рецензий (о "кулацкой поэзии" Клычкова).

— 21 апреля была напечатана вторая статья Клычкова в *Литературной газете* (в "Трибуне писателя") : "Свирепый недуг":

"Еще лесковский конэсэр советовал "не латошить", приводя в поучение мудрое правило: "С первого взгляда глядеть умно на голову..." И можно теперь уже от себя добавить — не запрягать с хвоста! (...)

На лошадином базаре современной критики (...) удалые ремонтеры нашей словесной армии с превеликой торопливостью и малоосторожностью в заключениях своих хватают, по словам того же лесковского героя, "за зашеину, за челку, за храпок, за обрез (не спутайте, пожалуйста, с кулацким!) и за грудной соколок"!

Доморощенный российский конь всех мастей и разных статей при таком осмотре пляшет на все четыре ноги, словно рвется с храбрым всадником на спине в жестокую атаку, храпит, как под бомбой, вскидывая при этом угодливо и ласково далеко не пышным хвостом: не беда, что потом этот конь идет в строю

по снежному полю бумаги, еле-еле перебирая подставными ногами, воистину напоминающими подчас протезы идеологии! (...)

К отображению в образах искусства прошлого нашей страны, поскольку дело касается ее религиозной жизни, едва ли можно подходить с методами и мерками современного атеизма, являющего собой не столько философскую систему, сколько в гораздо большей мере практику антицерковности, сводящейся по большей части к попоедству, — у меня совершенно иная задача в той же плоскости: во всех мною изданных книгах, кто не слеп — разглядит отчетливо в них проведенную тему, составляющую одну из главных магистралей, тему богоборчества, чрезвычайно родственную складу и природе русского народа, в области духа очень одаренного и в особливицу беспокойного, как бы на землю пришедшего с одной извечной мыслью, с неотступным сокрушением о том, что "и впрямь не перепутаны ль вечные, прекрасные строки о правде, добре и о человеческой справедливости здесь у нас, на земле, не перепутаны ль строки в той книге, которая, как верили деды, лежит на высоком облаке в небе, как на подставке, раскрытая перед очами создателя в часы восхода и заката на самой середке", ибо и в самом-то деле "мир заделывал Бог, хорошо не подумав, почему его и пришлось доделывать... черту!" (Князь мира). (...)

Самым торжественным, самым прекрасным праздником при социализме будет праздник... древонасаждения! Праздник Любви и Труда. Любовь к зверю, птице и ... человеку!

Если мы разучились, так природа сама научит нас и беречь ее, и любить, ибо лгать в ней трудно, а разбойничать преступно, так же, как и в искусстве! (...)

"Октябрьская революция" есть "первый этап международной социальной революции", и тем не менее Октябрьская революция все же русская, а не французская и не английская, которых мы только ждем и которые чем скорее произойдут, тем будет лучше потому, что тогда не будет необходимости ни палехов экспортировать, ни таким писателям, как я, писать

защитительные письма, ибо с мировой революцией, мы в это твердо верим, исчезнет та порода критиков, которая сидит в прихожей литературы с вытаращенными глазами, психиатрически упертыми в одну точку, именуемую "точкой зрения"... Словом, скажем так: завтра произойдет мировая революция, капиталистический мир и национальные перегородки рухнут, но ... русское искусство останется, ибо не может исчезнуть то, чем мы по справедливости пред миром гордились, и будем, любя революцию, страстно верить, что еще ... будем, будем гордиться!"

Ответил на анкету *Книги и революции* (№ 25) "о причинах отставания художественной литературы от соцстроительства".

1931 Ответил на анкету журнала *На литературном посту* (№ 20—21) "Какой нам нужен писатель?"

1. *В чем вы видите различие между прежним и новым типом писателя?*

Самое основное и роковое для современного писателя различие с прежним писателем заключается, по моему мнению, в том, что нашими писателями утеряна внутренняя, подчас, может быть, даже неосновательная и, может быть, даже беспочвенная необходимость не соглашаться (не фрондировать! — это совсем другое дело!), оставлять для себя и для своего творчества что-то такое в жизни, и своей собственной (глубоко интимной!), и в той ее части, которая имеет соприкосновение с так называемой жизнью в обществе и для общества, — оставлять для себя некую запретную зону для идей, чувств и мыслей, получивших в современности все общие права гражданства и вошедшие крепко и нерушимо в тот кодекс, который мы называем современностью.

Такого сопротивления современности у наших писателей теперь нет, или почти не осталось.

С моей точки зрения, это обедняет писателя.

Хотя материально, конечно, делает его богаче, но не об этом речь и не в том счастье!

Хочу, чтобы тут хорошо был понят!
Что редко мне удается!

2. *Что вы написали за последние два года?*

За последние два года я почти ничего не написал: критика для меня имеет сокрушительное значение, хотя я не мимоза. Но я глубоко убежден, что, при необходимости для писателя быть в некоторой протестующей позиции по отношению к общепринятым канонам, для него столь же необходимо внимание со стороны тех, по отношению к которым он, может, является еретиком и протестантом, — требование, может, нелогичное, малозаконное, но, тем не менее, правильное, ибо камушки на берегу моря потому так и круглы, потому так и блещут, что их всегда и немолчно окатывает заботливая морская волна, — человеческое справедливое внимание столь же необходимо писателю, как, положим, и всякому человеку!

3. *Над чем работаете?*

Пишу стихи и роман, делаю это больше с отчаяния и от мысли, что, пожалуй, не удастся напечатать.

4. *Ваше место в практике рабочего класса* (...)

Правлю рукописи начинающих пролетарских писателей, иногда получаю за это благодарность, больше же неприятности.

(...)

А в общем, все сказанное прозой, без соблюдения параграфов и пунктов, хотел бы закончить стихами:

Ни избы нет, ни коровы,
Ни судьбы нет, ни угла,
И душа к чужому крову,
Как батрачка, прилегла.

Но, быть может, я готовлю,
Если в сердце глянет смерть,
Миру новому на кровлю
Небывалой крепи жердь.

1932 Родился сын Клычкова, Георгий Сергеевич (ныне языковед). Крестным отцом был Клюев.
— Дружба с Павлом Васильевым.
— "Я себя считал и считаю революционным писателем". (Заявление Клычкова на заседании правления Всероссийского Союза советских писателей, в мае).
— 1-го ноября: речь Клычкова на 1 пленуме оргкомитета союза советских писателей (после роспуска всех литературных организаций):

"Может быть, товарищи, никто с таким удовольствием, прямо сказать, с радостью не слушал всего того, что здесь говорилось, как я, ибо я слишком долго продышал спертым воздухом пустыни, в которой влачат свое бренное существование все наши, правда, немногочисленные, литературные отшельники и отщепенцы (...)

Искусство страшная штука, страшнее нет ничего на свете. Страшная не потому, что Вс. Иванов гуляет в нем, как по Зоологическому саду, в котором за решетками сидят дикие и страшные звери, а потому, что искусство от художника прежде всего требует ограничения, которое мне напоминает меловую черту философа Хомы Брута, отчитывающего в чертовом храме чудесную усопшую колдунью. Таков художник в творчестве, и таков он, пожалуй, и в жизни, — на этом самом базарном развале, по которому ходит такой человек, скажем, как Всеволод Иванов, с туго набитым кошельком дарований и талантов, и выбирает вещи, только ему нужные и необходимые.

Словом, я хочу сказать, что художник по своей природе есть прежде всего результат самого строгого самоограничения, если можно так выразиться, художник есть продукт ограниченности, в противоположность той дурной универсальности, которая порождает людей, подобных Авербаху и его соратникам. Тов. Авербах никогда не понимал и сейчас не понимает, а судя по вчерашнему выступлению — не поймет никогда, что такое художник (...)"

(*Советская литература на новом этапе.* Стенограмма 1-го пленума оргкомитета союза советских писателей (29 окт. — 3 нояб. 1932), М., 1933, стр. 159—160. Л. Авербах (1903—1939) — бывший генеральный секретарь РАПП, зять Ягоды).

— В *Новом мире* (№ 7—8) напечатан перевод Клычкова из вогульского эпоса "Янгал-Маа" с предисловием Клычкова.

1933 3 апреля в редакции *Нового мира* состоялся вечер, посвященный творчеству Павла Васильева. Спорили о влиянии Клычкова на Васильева (см. *Новый мир*, 1934, № 6).

— В издательстве Academia вышла книга *Мадур-Ваза победитель* — вольная обработка поэмы "Янгал-Маа", переведенной М. А. Плотниковым (615 стр., 10 300 экз.).

1934 Вышло третье издание *Сахарного немца* (идентичное второму, за исключением качества бумаги и шрифта) в издательстве "Советский писатель" (10 000 экз.).

— Совместно с Викторином Поповым Клычков написал "политотдельский очерк" — *Зажиток.* (Изд. Сов. Лит., 31 стр., 25 000 экз.).

— В *Новом мире* (№ 6) напечатан перевод начала *Витязя в барсовой шкуре* Руставели (с предисловием Клычкова).

— Написал статью о языке "О лягушках и устрицах" (неизд.).

1935 Перевод из киргизской сказки XIV века "Эдыга богатырь" (*Литературный Узбекистан* № 3), и переводы из поэмы башкирского поэта Булата Инженгулова.

1936 Вышли следующие книги:

— *Мадур-Ваза победитель.* Вольная обработка поэмы М. Плотникова "Янгал-Маа", с предисло-

вием Д. Горбова (ГИХЛ, 334 стр., 15 000 экз.).

— *Сараспан.* Стихи. Обработка фольклора и переводы (ГИХЛ, 158 стр., 3 000 экз., с рисунками А.П. Репникова).

— *Алмамбет и Алтынай* (Вольная обработка киргизского эпоса "Манас" — ГИЗ, 167 стр., 5 000 экз.).

— В. Арбачева (псевдоним второй жены Клычкова): *Чернышевский* (Сов. Писатель, 272 стр.). Клычков заметно приложил руку к этому (единственному) роману своей жены.

— Переводы из Г. Леонидзе, В. Пшавелы, А. Церетели и др. в *Новом мире*, *Литературной газете*, *Тридцати днях*, *Красной нови*, *Октябре.*

— Написал "Волчий цикл" (утрачен: см. Н. Мандельштам, *Воспоминания*, Нью-Йорк, 1970, стр. 277—278).

— Материально помогал Клюеву, Кожебаткину и др.

1937 Смерть "речистой" матери Клычкова Феклы Алексеевны (урожд. Кузнецовой).

— 31 июля: арест Клычкова на даче (Зеленый городок, под Москвой) у жены:

> "Жене сказали, что он получил десять лет без права переписки. Мы не сразу узнали, что это означает расстрел. Говорят, что он смело и независимо держался со следователем (. . .) После смерти Клычкова люди в Москве стали как-то мельче и менее выразительны". (Н. Мандельштам. *Воспоминания*, Нью-Йорк, 1970, стр. 278; в *Архиве Горького*, X, 2, стр. 24, дата смерти Клычкова — 1937).

1940 21 января: официальная дата смерти Клычкова (это и годовщина смерти Ленина).

1943 Смерть отца Клычкова, Антона Никитича, нередко мудрого "в своих косноязычных построениях".

1956 Реабилитация Клычкова.
1957 Два стихотворения Клычкова помещены в *Антологии русской советской поэзии* в двух томах.
1961 30 мая. Комиссия по литературной реабилитации Клычкова в составе Н. К. Гудзия (председатель), Вс. Иванова, Г. А. Санникова, В. Казина и В. Н. Горбачевой-Клычковой направила письмо председателю правления Союза советских писателей РСФСР Л. С. Соболеву с упоминанием вклада Клычкова в становление советской литературы и предложением переиздать *Сахарного немца*.
— Новый польский перевод *Чертухинского балакиря* (пер. И. Петровска и С. Полляк).
1971 Публикация П. А. Журовым писем Клычкова и воспоминаний о нем (*Русская литература*, № 2).
1973 В Америке вышла монография М. Степаненко о Клычкове: *Проза Сергея Клычкова*. В. Камкин изд., Rockville, 1973, 173 стр. Биографическая часть содержит неточности.
1978 Кончина первой жены Клычкова, Евгении Александровны, за день до ее 90-летия. Вторая жена, Варвара Николаевна Горбачева, умерла незадолго до нее.
1979 Публикация фотографий Клычкова Г. Мак-Веем (Russian Literature Triquarterly, № 16).
— Переиздание 7 стихотворений Клычкова в кн. *Русская поэзия конца* XIX — *начала* XX *века* (дооктябрьский период) под ред. А.Г. Соколова, изд. МГУ (биографическая справка и примечания изобилуют неточностями).
1981 В издательстве L'Age d'homme вышел французский перевод выбранных глав из трех романов Клычкова под названием Le livre de la Vie et de la Mort (Книга Живота и Смерти), со вступлением и примечаниями Мишеля Нике.

ИСПЫТАНИЕ ОГНЕМ И ВОДОЙ
(К роману Сергея Клычкова Сахарный немец)

1 янв. 1917 г.

Дорогой мой незабвенный друг!
Милый добрый Жур!

Прости меня за такое долгое молчание, за то, что не отозвался на твой голос, причиной была — пустыня души, которая у меня как-то съежилась, завяла с первого дня этой войны. Первый выстрел будто разбудил, ошеломил, накинулся на меня, как вор, на дороге жизни, и сделал меня из богача нищим. Чувство какой-то роковой странной душевной опустошенности не покидает меня по сие время. Первое время я так мучился ею, так болел, а теперь словно легче, но уже не могу назвать себя живым человеком и часто щиплю себя, чтобы убедиться, что я еще de facto существую. Конечно, рано или поздно это должно было, очевидно, случиться. Боязливо озираясь теперь на свою безвозвратную юность, я многое не понимаю сам в ней, не понимаю теперь бывшей душевной легкости, беспечности сердечной, не слышу аромата лучших цветов из ее прекрасного венка. Может это только так, временно? Милый друг, я понимаю, что все с начала до конца было ошибкой, самообольщением, невольным обманом самого себя перед строгим и бесстрастным лицом жизни, уходом от реальной правды, но если вернуть реки вспять, я не хотел бы иного! Ради волшебной дороги от Городца до озера я не поменял бы более блестящую судьбу, более осмысленную полезную жизнь. Неужели, дорогой, мы еще встретимся, чтоб крепко поцеловаться и уже стариками, на закате юности, отдаться вместе вольному ветру души, чтобы стряхнуть с головы черный пепел этих трех кровавых лет? Прощай, мой дорогой, поклонись супруге, поце-

луй ручку у Тани, а обо мне помолись Богу, который, кажется, теперь отвернулся от земли и забыл о ее существовании.

Целую тебя несчетно раз.

Мой адрес: Дейст. Арм. 4-й Осадный Артиллерийский полк, 29 батарея.

Сережа[1]

За восемь лет до того, как Клычков напишет *Сахарного немца*, уже даны в этом письме-исповеди с фронта душевная и духовная драма главного героя и ключ не только к первому роману Клычкова, но и к его творчеству в целом.

Рождение Клычкова в заповедном лесу (символическое значение такого рождения важнее, чем вопрос о его достоверности); его детство в лачуге на опушке леса, "в которой дождик шел гораздо дольше, чем на улице" (наст. изд. стр. 120 и 401); бабушкины сказки и поверья; образ деда-старовера, не вернувшегося с дальнего паломничества; пешие путешествия по Волге и в Китеж, — все это оставило, при трудной и бедной жизни, глубокий отпечаток на душе молодого поэта.

Такому душевному складу удивлялся критик-марксист Вячеслав Полонский в рецензии на второй сборник стихотворений Клычкова *Потаенный сад:*

"Клычков — прелестный и нежный поэт. У него безукоризненная рифма, певучая легкость стиха, непринужденная песенность размеров. Удивительно другое: ведь его вскормила сермяжная, крестьянская Русь, та самая, которая нашла отражение в гнетущих повестях Бунина, черная тоска которой отравила, истерзала, окровавила душу Пимена Карпова. Поразительно, что ужас, подсказавший Карпову его кошмарный "Пламень", каким-то непостижимым образом не коснулся, не изуродовал, оставил нетронутой душу этого голубоглазого юноши, который говорит про себя:

"Я все пою, ведь я певец..."[2]

Ответ на недоумение Полонского (будущего "правозаступника" Клычкова) дает, в некоторой мере, земляк Клычкова Салтыков-Щедрин,[3] который к концу своей жизни осознал, какой урон нанесло ему "совершенное отсутствие общения с природой", и пожалел о том, что он не ощутил на себе "прикосновение тех бесконечно-разнообразных сокровищ, которые мать-природа на всяком месте расточает перед каждым, имеющим очи, чтоб видеть, и уши, чтоб слышать". Природа не осияла его душу, не произошло то "стихийное общение, которое, захватив человека в колыбели, напóлняет все его существо и проходит потом через всю его жизнь". (*Пошехонская старина*, гл. 3) .

Но вот в июле 1914 сказка, как Клычков часто предчувствовал, кончилась, война вторглась в его жизнь, как "вор", отнимающий сокровища "магических", детских лет. Она была переломным событием в его жизни, и, вместе с последовавшей революцией, "перекроила" "тихого лирика" в одного из самых своеобразных советских писателей.

Война сыграла роль *испытания*, через которое проходили юноши первобытных племен и после которого они приобщались к миру взрослых. Такое испытание Клычков переживает через отрыв от родины, богооставленность, борьбу между смертью и жизнью... Но подобное мучительное вступление в новый и суровый мир не вычеркивает прежнюю таинственно-сказочную жизнь, а лишь оттесняет ее вглубь сознания в образе утраченного рая. Столкновение с "железным веком" войны породило очень яркую у Клычкова и разнообразную тоску по "золотому веку", который принял вид крестьянской утопии. Смена или смешение в *Сахарном немце* чудесного и реального объясняется столкновением этих двух мифических веков в сознании Клычкова.

Такое переложение личного опыта, выжженного в "огненный знак на душе" Зайчика, в категориях мифа (миф здесь понят как символические структурные элементы общечеловеческого мироощущения, составляющие определенный рассказ) делает из *Сахарного немца* подлинное произведение искусства.

От "реальной правды" к выдумке, которая "любой правды правдивей и интересней", от действительности к мифу как ключу к осмыслению действительности, — таков путь Клычкова-писателя.

* *
*

Основа *Сахарного немца* — автобиографична (см. "Хронику жизни и творчества Клычкова" за годы 1904—1917). Но было бы ошибкой "очистить" роман от его богатой выдумки, чтобы отыскать под ней точные биографические данные писателя. Важнее здесь другое, а именно выбор и преобразование в романе тех элементов, которые нам известны, главным образом, по краткой "Автобиографии" Клычкова.[4]

На общем реальном фоне (западный фронт, который к концу 1915 г. установился на Двине, семья и родина Клычкова)[5] выделяется несколько автобиографических элементов, которые в романе трансформированы путем мифотворчества.

Рождение в лесу, на лоне Великой Матери Природы, приобретает в *Сахарном немце* (как и в ранних стихотворениях Клычкова) символический смысл избранничества и симбиоза с природой. Появляется заветная "Густая Елка" (наст. изд. стр. 184, 203, и в *Чертухинском балакире* с большими буквами) — древо жизни, под которым герой, незаметно для себя, переходит от яви ко сну, погружается в сказочный мир сновиде-

ний и чудных встреч. Здесь, у своей ”колыбели”, Зайчику вспоминаются слова из раскольничьего духовного стиха ”о старце”. Потерянная в ”темном лесу” ”золотая книга” становится Библией природы, ”премудрого мира букварь” (Liber mundi), ”Златыми устами”. Есенин, для которого тоже ”мы есть чада древа” и ”все от древа”, приводит эти стихи в своих *Ключах Марии*, но толкование у него более ограниченное: золотая книга — символ народного творчества.

Первая любовь Клычкова также трансформирована, и она становится источником одной из главных тем его творчества — темы духа и плоти. В венчании Зайчика и Клаши ”в духе и свете” в староверской молельне (см. стр. 248 наст. изд. и гл. 7 *Чертухинского балакиря*) — идеализация юношеской любви в духе рыцарства и символизма (Вл. Соловьев и А.Н. Шмидт, Блок и Любовь Дмитриевна, Белый и его ”сестра в духе”, М. К. Морозова, Л. Д. Семенов Тянь-Шанский и Маша Добролюбова, и т. п.). Вместе с тем это путь через испытание к тому синтезу плоти и духа, в который Антютик (перевоплощение мифа о первоначальном андрогине) и Спиридон, цитатами из ”Златых уст”, будут посвящать Петра Кирилыча в *Чертухинском балакире*. Но этот синтез полностью осуществляется лишь в утопических царствах из сновидений или в раю, в который попадают невинные жертвы плоти, как Пелагея Прекрасная из центральной главы *Сахарного немца.*

На первый взгляд, Клычков близок к людям ”третьего пола”, которые признают только ”духовную брачность”. Но Клычков, показавший в *Чертухинском балакире* тщетность ложного аскетизма, отвергает не столько сексуальность как таковую (человек — ”двуипостасная тварь”, ”дух в человеке и плоть, лед и вода, суть два закона одного естества, и оба их надо исполнить

и ни одним нельзя пренебречь"), сколько ее разъединение с жизнью природы и утрату ее священного смысла. Нетрудно видеть, как мифотворчество Клычкова и его подход к "вечным вопросам" далеки от волны "половой литературы" двадцатых годов.

С появлением *"длинноносого приятеля"* Зайчика (в блестяще пародийной сцене с капитаном Таракановым, стр. 69—71, и при попытке Зайчика броситься в петербургский канал, стр. 289), — перед нами другого рода вкрапления в фабулу романа реального элемента, который, за исключением самого "Зайчикова приятеля", едва ли кто мог разгадать. Дело в том, что "клочок газеты", который попал в руки капитана (сочетающего в себе претензию на интеллигентность и присущий военным антиинтеллектуализм[6]) не что иное, как "ура-патриотическая" статья Сергея Городецкого из *Биржевых ведомостей* от 14 сентября 1914 г., "Воин-поэт" (см. "Хронику..." стр. 407). Если сравнить эту статью с письмом Клычкова, приведенным в начале этих заметок, бросается в глаза полное их несоответствие (после "первого выстрела"). Отсюда, наверное, и желание Клычкова восстановить истину, отдать должное (не без самоиронии) дружбе с Городецким (весельчаком, одаренным поэтом, но литературным и политическим флюгером) и вместе с тем идеологически отмежеваться от него путем шутовского принижения достоинства статьи.

Во второй сцене Зайчиков приятель появляется как спаситель (эту роль в "Автобиографии" 1926 г. выполняет брат композитора М.И. Чайковский). Из короткого разговора Зайчика с его приятелем вырисовывается довольно полный автопортрет Зайчика (с его растерянностью и отвращением к войне, но и с его блоковской и клюевской верой в неуязвимость России[7]).

Таким образом Клычков переплетает (прежде всего для себя самого) нити между своей прозой и поэзией, между собой и Зайчиком, между войной и современностью (гимны родине, стр. 135, 310, были довольно смелы в эпоху борьбы "На посту" за гегемонию).

Сама фамилия героя *Сахарного немца*, Зайцев, если верить *Князю мира*, была фамилией деда Клычкова, но она указывает прежде всего на кротость, незлобивость и трусливость (мешающая ему дезертировать) этой бедной "заячьей души", за которую поэт был "так благодарен судьбе".[8]

От его "лунатных ночей" у Зайчика — "мечтунчик с детства пристал к голове" (стр. 331) и он как-то не от мира сего; но вместе с тем он "ученый заяц", у него "лапки чернилами вымазаны" (стр. 8): для солдат, как и для начальства, он не свой. Одни его жалеют как "чудного", другие подозрительно относятся к этому "навряду-офицеру", который пишет "стихахушки".

Тема *интеллигенции и народа* дана в романе прежде всего в разговорах о вере между Зайчиком и старовером Пенкиным (которого можно рассматривать как утраченный для Зайчика идеал стойкости). На сомнения Зайчика[9] Пенкин отвечает критикой изнеженности интеллигенции, утверждением, что Бога "не побороть", и определением веры как своего рода грелки для крестьянских душ. Такое социологическое и, в сущности, марксистское определение веры присуще *Сахарному немцу*. В *Чертухинском балакире* утилитарная концепция веры уступит место более мистической, как той, о которой говорит Апостол: "Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом" (Евр. 11, 1). Такая эволюция отражает несомненно духовный процесс самого Клычкова, преодолевшего кризис, выраженный в *Сахарном немце*.

* *
*

После возвращения с родины, где, кроме как во сне, везде опустошенные души, измена или смерть, Зайчик впадает в депрессивное и галлюцинаторное состояние, из которого встает загадочный образ "сахарного немца". Каков смысл этого карлика, какую роль он сыграл в роковом выстреле Зайчика? Здесь настоящее издание (изд. 1929 г.), как уже *Последний Лель* (1927 г.), содержит важный вариант по сравнению с первым изданием 1925 г. После слов "кровь человечья липче и слаще, чем мед" (стр. 374 наст. изд.) было напечатано (стр. 294): "убить бы его карлика и была бы свобода, — думал так Зайчик". Карлик "с голоском сладким, как сахар, и грозный, как смерть" не дает Зайчику броситься в райскую "разголубую страну", в убежище, где уже блаженствует троечник-дезертир Петр Еремеич. Карлик олицетворяет здесь все те смертоносные силы, которые овладели Зайчиком, наполнили его опустошенную душу мраком и "непонятной злобой", приковывают его к своей койке в блиндаже. Когда смысл жизни и связь с Богом утеряны, голос смерти заглушает голос жизни в человеке. Карлик — демонический "аггел", который подменил "белого ангела" (стр. 381), ангела-хранителя Зайчика, опутав его паутиной. Своими заклинаниями смерти ("Смерть смерти, смерть!") и гимном жизни[10] Зайчик старался изгнать этот злой дух из себя, освободиться от его пут. И в момент болезненного возбуждения он убивает миролюбивого немца-двойника, повторившего, как в зеркале, его смелый поступок, путая его с немчиком из своих наваждений. Это убийство не может принести освобождения Зайчику: враг был не внешним, а внутренним.

Вариант настоящего издания, со словами о том, что кровь человечья.... "прекрасна и страшна", и что "по пятам за ее страхом ходит убийство", делает из карлика уже не метафизическую аллегорию, как раньше, а психологическую: в нем воплощен страх, который движет человеком (стр. 368). Зайчик, сам не зная, храбрый ли он или трусливый (стр. 117), спускается за двинской водой против немецких позиций, чтобы доказать себе и своим солдатам свою храбрость, преодолеть раз и навсегда свой страх. Но страх его не покидает после такого поступка. И когда на берегу Двины появляется немец, который принимает его вызов, влекомый непреодолимым страхом Зайчик стреляет в него.

Эти две интерпретации не исключают, а дополняют друг друга. Карлик представляет собой разрушительную смертоносную силу метафизического и психологического характера: он — объективизация тех сил смерти, которые борются в душе Зайчика с силами жизни.

К этим двум толкованиям, основанным на различных редакциях того единственного места в романе, в который Клычков счел нужным внести существенное изменение,—можно привести объяснение из области психологии подсознания: смелый и ненужный поступок Зайчика может интерпретироваться, как бессознательное желание быть убитым, т.е. самоубийство (была уже попытка в Питере): предаваясь опасности, Зайчик, быть может, надеялся найти покой в героической смерти. Раздосадованный (или ретроспективно испуганный) тем, что его не убили в отместку, Зайчик стреляет в немца—двойника же своего! Сладенький и заманчивый голосок, как у карлика, иногда слышат те, кого тянет к самоубийству: и здесь карлик оказывается призраком смерти.

Клычковский карликовый "сахарный немец" не без прототипов в русской литературе: он сродни мужичку

”с взъерошенной бородой” из кошмарного сна Анны Карениной, предшествовавшего ее самоубийству, и напоминает сологубовского ”мелкого беса”, который является тоже подстрекателем убийства.

Убийство немца Зайчиком и замечание Сеньки (”А по-моему, немца командир зря повалил”, стр. 376) напоминает одну реплику из *Хождения по мукам* (первоначальное название *Сестер*) А. Н. Толстого: офицер Иван Телегин говорит солдату, убившему раненного австрийца: ”Ты зря все-таки убил его, а?” (гл. 16). Но, несмотря на почти буквальное совпадение реплик, обе сцены противоположны, и не исключена здесь скрытая полемика Клычкова с Толстым. В *Сахарном немце* простой солдат осуждает своего командира, в *Сестрах* — наоборот: солдат, оправдываясь, перелагает ответственность за этот ”грех” на тех, кто в Петрограде ”всеми этими делами распоряжается”. Таким образом, виновата лишь ”верхушка”, и, как в марксистской этике, человек освобожден от личной ответственности. Для Клычкова, как видно из притчи о святом и разбойнике, даже самооборона не оправдывает убийства. И образ немчика указывает на то, что причины убийства (и войны) кроются глубоко в человеке, и что в конечном итоге общественное и политическое бытие определяется сознанием.

Есть и другие точки соприкосновения между романами Клычкова и А. Н. Толстого, но сравнение не идет в пользу Толстого: уж очень условны, или дидактично-обобщены многие главы (см. гл. 15): ведь Толстого, как военного корреспондента, возили по ”театру военных действий” после битвы...

Почти все, что писалось в прозе о войне 1914 г., оказалось ”боевой макулатурой”: в ”метафизику войны” проникли лишь И. Шмелев и Л. Андреев. Клычкову, который дольше всех писателей был на войне,

понадобилось много лет, чтобы переболеть, осмыслить свой опыт и найти адекватную форму для его выражения: ". . .Эх, рассказывать, так уж рассказывать...". Первая же фраза романа настраивает на лад сказывания, и указывает, что решение исповедаться было принято лишь после мучительных колебаний, под напором наболевшего и с надеждой освободиться от гнета прошлого.

* *
*

В *Сахарном немце*, как и в других романах Клычкова, занимателен не только сюжет, но и те средства, через которые он раскрывается. Клычковский сказ, который не упоминается ни в одном из исследований о русском сказе, хотя и был высоко оценен критикой двадцатых годов, даже когда она враждебно относилась к "содержанию", — представляет собой оригинальный (и в размерах целого романа сравнимый только с *Серебряным голубем* Белого) вид *смешанного сказа:* в нем сменяются или переплетаются голос рассказчика (рядового солдата, выражающего коллективное мировоззрение переодетых в солдатские шинели чертухинских крестьян) и голос повествователя (автора), очень поэтический и метафорический, которому известны самые сокровенные мысли и переживания Зайчика; он полностью заменяет голос рассказчика в тех случаях, когда тот не мог быть очевидцем (возвращение на родину, видения Зайчика. . .). К этим двум основным голосам, стилистически различимым, но иногда сливающимся (см. стр. 20—21) присоединяются другие повествовательные формы с различными функциями, но не перестающие быть "речевыми масками" автора.

Сказки-притчи Пенкина об отказе от власти и богатства (тема испытания), об относительности земной правды (тема поиска истины) придают философский смысл роману, раздвигают рамки времени и пространства и вместе с тем являются духовной пищей для солдат (и в замысле Клычкова — для читателя, см. стр. 51): отражая надежды солдат, выражая вековую тоску по правде-справедливости, они примиряют их друг с другом и помогают им переносить военный быт и страх смерти.

Зачинов, в виде маленьких поэм в прозе (о смерти, стр. 104, о сатаническом городе, стр. 278, о первом снеге, стр. 386) в *Сахарном немце* меньше, чем в двух других романах Клычкова, но роль их та же: они дают смысловой и стилистический ключ к главке, задерживают ход действия или осуществляют переход от одной сцены к другой и бывают лирического или этнографического характера.

Как искусный дирижер, Клычков управляет своим рассказом и одному событию дает несколько интерпретаций: видения дьякона (стр. 163 и след.), который уже снился Зайчику во время грозы (стр. 127), даны с четырех точек зрения; его приключение обрастает чудными прибавками, но читатель волен выбрать ту версию, которая ему ближе по духу.

Преломление официальной инструкции о десанте (стр. 19—20) или солдатчины (на корабле-"корыте") через сознание крестьян, которые боятся моря, "как черт ладану", дает остраненное восприятие действительности, очень выразительное и проницательное.

Свою связь с Гоголем Клычков не скрывает, а во многих местах обнажает (как Белый): так во встрече Зайчика с проституткой, в главке о "выдуманных людях", перед нами не подражание *Невскому проспекту*, а

вариация на гоголевскую тему о всеобщем обмане.

Своеобразие клычковского сказа — в этом обогащении традиционного сказа-монолога разными вставными элементами, непринужденной сменой или сплавом разных голосов, во взаимодействии между литературным, метафорически насыщенным, и народным языком, далеким от языкового и даже фонетического натурализма ряда писателей двадцатых годов, как и от книжных стилизаций Ремизова. У Клычкова сказ неотделим от его "начинки", ценя одно, нельзя отбрасывать другое: он не орнамент, а отражение мировоззрения рассказчика, единственное подходящее выражение синкретического народного мышления, которое одушевляет всю природу и не отделяет быль от небылицы.

С своего первого романа Клычков сразу нашел (и, по свидетельству Н. Д. Вольпиной, как будто по наитию, с чувством внутреннего праздника от открытия "нового царства" прозы) свою писательскую манеру. С годами она только будет развиваться до лебединой песни — *Князя мира*, в котором судьба рассказчицы Секлетиньи как бы предвещает судьбу писателя: она немеет и умирает...

* *
*

Испытание огнем и водой (двинской и "шустовской") кончается полусмертью Зайчика: он не выдержал физическую и духовную пытку. Снег покрывает его обвалившийся блиндаж, как саваном. Но солнце встает над этим покровом, как провозвестник той победы жизни над смертью, преодоления богооставленности и восстановления душевной гармонии, которая

составляет тему следующего романа Клычкова, *Чертухинский балакирь.* Несмотря на то, что в нем время действия предшествует времени *Сахарного немца* и что главный герой — другой (хотя типологически близкий к Зайчику), можно рассматривать *Чертухинского балакиря* как продолжение духовных исканий Клычкова.

Чертухинский балакирь — роман инициации (посвящения), обретения смысла жизни, веры и любви через посредничество книги "Златые уста" и лешего Антютика (уже знакомого нам по "ночной сказке" Пенкина). Путь от *Сахарного немца* к *Чертухинскому балакирю* — путь от ада к "седьмому небу" спиридоновской молельни. Зайчик погиб от воды, Петр Кирилыч вторично рождается через воду крещения. В *Сахарном немце* природа вместе с людьми умирала перед зимой, в *Чертухинском балакире* — торжество весны и любви.

Поэтому, несмотря на его отдельные недостатки, *Сахарный немец* — первое (по времени написания, но шестое по плану) и необходимое звено задуманного девятикнижия *Живот и Смерть.* В нем — все задатки будущих романов, и *Сахарный немец* достоин "прочно войти" в советскую литературу, как говорил Луначарский по поводу *Князя мира* в 1929 г.

Возрастающий интерес к мифу и мифотворчеству в советской науке и литературоведении должен наконец способствовать возвращению русскому читателю сокрытых сокровищ клычковской прозы и очистить критику от отголосков "вульгарного социологизма" эпохи раскулачивания.[11]

Эти заметки имели лишь целью осветить некоторые особенности *Сахарного немца*, а не представить творчество Клычкова в целом. Остальное — дело читательского

вкуса, вчитывания в ”прехитрую вязь” клычковского сказа, превратившую банальную тему возвращения солдата на родину в сложную поэтическую, мифическую и трагическую ”рассказку”.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Письмо Клычкова поэту Петру Алексеевичу Журову опубликовано адресатом в статье ”Две встречи с молодым Клычковым”, *Русская литература*, 1971, № 2.
2. *Новая жизнь*, 1913, № 12, стр. 168.
3. Спас-Угол расположен километрах в тридцати от Дубровок. Но в Пошехонье, в отличие от Талдомской округи, почти не было государственных крестьян и множество мелких помещиков совершали беспрепятственно свои ”крепостные мистерии”.
4. Связь с ”Автобиографией” Клычкова первые читатели *Сахарного немца* не могли установить, так как она была напечатана только в 1926 г. в *Сером барине*.
5. Деревня Дубровки переименована в Чертухино и Талдом в Чагодуй. М. Пришвин в очерке ”История цивилизации села Талдом” (*Красная новь*, 1923, № 6), вошедшем потом в книгу *Башмаки* (1925), приводит предание о происхождении Талдома, взятое из неизданных записок ”бывшего священника”, сходное с ”местным мифом” клычковского рассказа (наст. изд. стр. 233 сл.).
6. В речи капитана мастерски переплетены разные ”голоса”: Клычков, как Достоевский, ”пользуется самими чужими словами для выражения собственных замыслов” (Бахтин), — прежде всего для выражения своего отношения к Щедрину и к Лескову (любимому писателю Клычкова, после Гоголя и Пушкина), и для иронической самооценки (”фантазией обладаете геркулесовской”, стр. 69).
7. Одно стихотворение Клычкова 1924 г. о Салтычихе (центральном образе *Князя мира*) уже было озаглавлено ”Иванушка-Аника — Памяти Ленина” (Красная новь, № 2, полностью в *Талисмане* 1927 г.).

8. С. Клычков, "Заячья душа" ("В лесу, на проталой полянке...") , *Новая жизнь*, 1922, № 1.

9. Еще до войны, в 1911, в письме П. А. Журову, Клычков писал о "Вышнем", "который людей забыл и которого люди забыли". (*Русская литература*, 1971, № 2, стр. 152). Отметим, что среди товарищей Зайчика носителем антипатичных черт является фельдфебель Иван Палыч, *не* старовер.

10. Клычков применяет к жизни слова из Акафиста Божией Матери VI века: "невеста неневестная" (на стр. 372 наст. изд. "невеста невестная" — опечатка, не повторяющаяся на стр. 382 и в других изданиях).

11. Исключение составляют некоторые современные литературоведы, как К. М. Азадовский, В. Г. Базанов, А. В. Кулинич (Киев), А. И. Михайлов, Э. Б. Мекш (Рига), Е.П. Никитина, С. И. Субботин и др., но проза Клычкова почти не упоминается. Лишь С. Полляк, в Польше, сумел познакомить польского читателя с Клычковым-романистом.

ИЗ ОТЗЫВОВ О *САХАРНОМ НЕМЦЕ*

ПИСЬМО ГОРЬКОГО КЛЫЧКОВУ от 31 марта 1925 из Сорентo. (Письмо было впервые опубликовано, с комментарием и примечаниями, в Revue des Etudes Slaves, Paris, LIII/2, 1981, стр. 255—258).

Дорогой Сергей Александрович!

Я получил Вашу книгу и первый раз и второй сегодня. Не отвечал же Вам, потому что не знал адреса. Прочитал "Сахарного немца" с великим интересом. Большая затея и начали Вы ее удачно. Первые главы волнуют; сказка Пенкина "Ахламон" безукоризненно сделана. Всюду, всюду встречаешь отлично сделанные фразы, меткие, пахучие слова, везде звонкий, веселый и целомудренно чистый великорусский язык. Злоупотребление "местными речениями" умеренное, что является тоже эпидемического помешательства [так в тексте] и некрасивого щегольства "фольклором".
Но — уж Вы меня извините! — книга в общем показалась мне сырой и несколько тяжелой. Она многословна, растянута. Возможно, разумеется, что я ошибаюсь. Не понравилось мне и то, едва ли не половину книги Вы написали гекзаметром или чем-то в роде его. Это напомнило мне "Устои" Н.Н. Златовратского, роман, где покойник написал целую главу — косьбу сена гекзаметром. Напомнило и "Попиаду" Радимова и его "Деревню". Радимов — это иногда хорошо, Попиада его, во всяком случае, очень интересная вещь. Но Вы, на мой взгляд, в пафосе Вашем, ближе к Златовратскому, а сие — образец, подражания не заслуживающий. Извините за слово "подражание", речь идет конечно о сходстве и только. Сходство это для вашей книги невыгодно. Нередко ритмическая проза Ваша заставляет Вас допускать неточности: "вальком по рубахам колотит, а сама то и дело под юбку глядит". Надо ли беременной женщине глядеть под юбку себе? Глядит она на брюхо,

этого достаточно.* Таких описок можно найти у Вас немало. В общем, повторяю, книга показалась мне тяжелой и сырой. Но размер, широта Вашего плана — подкупает. Соболь говорит, что Вы написали 30 листов. Мне кажется, я знаю, чего это стоит Вам, и, скажу прямо: меня радует, что вопреки всему, русский писатель остается тем же смелым и независимым духовно, каким он был. Здесь эмигрантская критика злобно визжит, говоря о вас, работающих в России. Здесь никто не понимает, как трудна ваша жизнь и в какой героической позиции стоите вы. Говоря "вы", я, разумеется, исключаю ряд людей, которые пишут не то, что могли бы, а лишь о том, что им приказано. Не сердитесь, дорогой С. А., на этот отзыв о Вашей книге! Иначе я не могу. Я очень жду продолжения! Когда и где оно выйдет? Пришлете? Слышал, что вышли интересные альманахи "Круг" 4-й или 5? И "Недра" 4-й? Попросите Воронского послать мне, пожалуйста.

Будьте здоровы. Желаю бодрости духа.

А. Пешков.

В. П. ПРАВДУХИН. *Красная новь*, 1925, № 2, стр. 285—286. (Правдухин, 1892—1939, — муж Л. Н. Сейфуллиной. "Незаконно репрессирован").

"(...) Тема романа — крушение сказочной, старозаветной народной культуры. Основной идеей романа является сугубое, органическое отрицание, точнее отвращение мужика к войне, вражде, убийству (...)

Манера, в которой написан роман, смешанная: ее можно было бы назвать лирико-эпической, если бы эпос не был совершенно поглощен лирикой: все внешние картины войны, все лица окрашены в единый цвет субъективнейшего восприятия того же Зайчика (...)

В этом смысле роман является оригинальнейшим и вполне самостоятельным произведением. Подобного подхо-

* В *Последнем Леле* и в наст. изд. стр. 158 вместо "под" — "на". Но Клычков говорил — "Именно под юбку, нет ли крови. Чего же женщине на свое брюхо смотреть". (Неизд. записные книжки).

да к войне, столь выдержанной литературной манеры, мы не найдем, пожалуй, во всей литературе о последней войне (...)

Сказка "Ахламон" внешне дана в ослабленном тоне: ее ритм и рифмы художественно-легкомысленно-игривы. Это, по нашему глубокому убеждению, не народный стиль, а мещанская стилизация народного сказа. Внутренне сказка укладывается в романе крепко.

Не будем много говорить о том, что большинство страниц романа написано на редкость крепким, подлинно-русским, глубоко-народным языком. Образность этой речи, ее близость к старинным сказаниям порой прямо поражает. С этой стороны роман должен вызвать огромный интерес со стороны читателя и пишущего молодняка.

Теперь о самом главном: о художественной правде романа, о том, насколько верно и полно дан облик умирающей народной культуры. О верности понимания народной "субстанции".

Здесь мы, не имея места для доказательств, должны со всей решительностью установить, что автор внутренне впадает в ту же ошибку, в какой больше полустолетия обреталось наше пресловутое славянофильство. В романе дана не "субстанция" народного духа, а одна из ее красочных периферий. Иванушка-дурачок (Зайчик) — это одна из малых капель нашей народной стихии. Религиозная стихия, даже так, как ее понимает автор, персонифицируя ее в Зайчике-мечтуне, как ощущение безграничной "доброты" мира, как преданность идее непротивления злу злом, веру в особый "единый свет" над всей земной "правдой, похожей на ложь", это опять лишь односторонний "женский" элемент в общем национальном типе русского человека, а не его основное творческое начало. Русская история знает Петра Великого, Пушкина. Здесь автор обнаруживает тот гнилой в корне подход, какой мы видим у К. Аксакова, К. Леонтьева, В. Соловьева. Не нужно забывать, что у Л. Н. Толстого, наряду с Каратаевым (тоже отличным от героев Клычкова) есть великий реалист-язычник Ерошка, Лукашка, Андрей Болконский и т.д. (...)

Эта сторона романа заслуживает самого сурового осуждения.

Д. А. ГОРБОВ, *Новый мир*, 1925, № 12, стр. 145—147. (Статья вошла в предисловие к *Серому барину* и в кн. *У нас и за рубежом.* Д. Горбов — теоретик "Перевала" вместе с А. К. Воронским и А. З. Лежневым).

"(...) С. Клычков и в прозе своей, как в стихах, обнаруживает себя прежде всего обладателем неисчерпаемой сокровищницы русского "мужичьего" языка, быть может, самого богатого из всех языков в мире. И это, очевидно, отнюдь не является у него результатом длительной работы над собой, как у других художников. Искусство Клычкова носит как бы "растительный" характер. Его словесная ткань, слагающаяся в узорные образы, растет, как колос из чернозема, ткется, как россказка солдата Прохора Пенкина, на своем веку немало потрудившего спину и руки на земле, побывавшего и в хлыстах, и вот теперь поучающего своих товарищей — таких же мужиков, одетых в серые шинели и натравленных против "немца", — мужичьей правде, облеченной в ласковые и причудливые формы живого народного рассказа (...)

Легко видеть, что этот мужичий социализм всеобщего равенства перед лицом общей кормилицы-земли далеко не совпадает с идеалами нашей эпохи, — приблизительно в той же мере, в какой соха не поспевает за трактором. Но тракторов у нас мало, а соха, худо или хорошо, но пока что принимает громадное участие в возрождении страны. И с этой точки зрения всякое выявление миросозерцания "от сохи" интересно и значительно. Еще существеннее, что и в этом миросозерцании, еще не видоизмененном трактором, заключается благодарный материал для его обработки. Пусть классовое расслоение в романе Клычкова не углубляется дальше противоречий между барами и попами, с одной стороны, и крестьянством — с другой. Пусть работа у машины предстает здесь перед нами в виде некоего дьявольского наваждения (...) Пусть большой город у Клычкова — царство дьявола (...) Пусть, наконец, наука представляется героям С. Клычкова порождением "барской зевоты". Но упорные искания правды-справедливости, отвращение к мировой бойне, признание производительного труда

основной жизненной ценностью, презрение к церковности, трезвый, язычески-радостный подход к глубочайшим жизненным проблемам, объявление буржуазии "выдуманными людьми", все это делает крестьянское выражение классового мировоззрения трудящихся неотделимо-родственным его осознанно-пролетарскому выражению. На почве этой здоровой и жизненно-богатой крестьянской стихии смог С. Клычков, наряду с россыпью сказочно-песенных символов, дать в своем романе ряд картин яркого реализма (например, окопные сцены, трагедия "Пелагеи Прекрасной").

"Сахарный немец", во всяком случае, явление значительное, как в отношении художественном, так и социальном".

А. А. ДИВИЛЬКОВСКИЙ. *Новый мир*, 1926, № 7, стр. 135—137.

"(. . .) Это художественный (и часто высокохудожественный!) образчик "выспренного" *символизма*. Взять хотя бы самое заглавие. До последней почти страницы оно остается загадкой, таинственно намекающей на какой-то скрытый, скрываемый автором "духовный" смысл. Никакого *реального* "сахарного немца" нет, и даже немец вообще участвует в романе где-то из-за кулис, — не столько виден, сколько "чуется" там, зарывшись в окопы (все действие в окопах, под Двинском). А "сахарным" он оказывается опять-таки "духовно", в субъективном свете трагического, душевного надрыва главного героя — командира роты Зайчика (тоже фамилия с намеком, с "подмигиванием"). Что-то вроде предсмертного сарказма, проклятия по адресу собственно не врага-немца даже, а всей этой "сатанинской", городской цивилизации, сладкой отравы (сахар!) для бедных заячьих душ. (...)

Действия в романе почти нет, если не считать действием, например, кратковременной побывки Зайчика дома, в деревне, где происходит ряд полусимволических "действ" — все таких же загадочных картинок гибели жен и лучших

людей, деревенских идеалистов (дезертиров, дьяконов) от военной же страды. "Проза жизни" выступает лишь гнусным или горько-саркастическими пятнами — вроде, например, невольного и немыслимого галопа неудачника Зайчика верхом на... свинье.

Вот вам и "сахарный немец"! Вы спросите, обращаясь к содержанию, — где же здесь хотя бы тень боевого, революционного настроения, назревавшего среди тех же солдат-крестьян и задолго до революции? Нет и следа. Максимум лишь какой-то толстовский, жвачный какой-то, вегетарианский, что ли, пацифизм, протест быков на бойне. "Сатана-город, умирающие тебя приветствуют..."

Полнейший идеализм и — формы, тонко изящной, символически кружевной, лирической постройки — работа какого-то духовного ювелира (...)

Не то Зайчик — высокая, именно потому, что такая серенькая по обличью, жертва за всех "святых" чертухинцев в их смертной борьбе с немцем-сатаной-городом. Не то он — наоборот городской, "господский" выродок, отброс "святой земляничной" деревни, казнимый за свой "откол". Поэтому и все остальные творческие линии романа принимают такой же двусмысленный, художественно-неясный вид. Не то немец там, во враждебных окопах — всему вина, не то он такой же страдающий от сатаны немецкий чертухинец и т.д. и т. д. "Вот не вытанцуется, да и все тут" — как говорил Гоголь о некоем "заколдованном месте". А по содержанию данное соглашательство ведет к еще более печальному результату. Да, мужикам война поперек горла, но *именно поэтому* сердца их накалились против города-немца до того, что они по своей мужицкой инициативе задумывают и артистически осуществляют весьма хитрый взрыв немца на его островке, посреди Двины — военный подвиг отнюдь не из последних! Царский империализм должно быть ржал от удовольствия и думал: побольше бы мне этаких мужичков. Так их пацифизм "про себя" оказывался на деле своею противоположностью: службой империализму, т. е. городу, т.е. сатане — не за страх, а за совесть".

ОГЛАВЛЕНИЕ

Глава четвертая

Стр.

ПЕЛАГЕЯ ПРЕКРАСНАЯ:

Глава пятая

РЯБИННАЯ ЦЫГАНКА:

Глава шестая

ОТРИНУТЫЙ ЛИК:

Глава седьмая

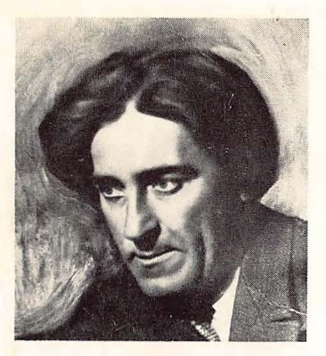
ОБРАЩЕННЫЙ МИР:

Глава восьмая

СМЕРТНЫЙ ПЕРЕВОЗ:

Стр.

ACHEVÉ D'IMPRIMER
LE 21 MARS 1983
PAR L'IMPRIMERIE
DE LA MANUTENTION
A MAYENNE
N° 8087



Сергей КЛЫЧКОВ (1889—1940) — яркая и незаслуженно забытая фигура в русской литературе XX века. Критика 20-х годов ставила его в ряды ”первоклассных мастеров слова” и высоко ценила его ”великолепный крестьянский сказ”. Но вместе с тем она отвергала его идеализм и ”прехитрую вязь” его мифотворчества. Клычков, как недавно было принято писать, ”был оклеветан и стал жертвой репрессий”.

Теперь о Клычкове споров больше нет — с 1936 г. ни одна из его книг не была переиздана. Литературная реабилитация обошла Клычкова — как в СССР, так и на Западе.

”Сахарный немец” — первый и во многом автобиографичный роман Клычкова — выдержал три издания в 1925, 1929 и 1934 гг. Голосами ”мужиков, переодетых в солдатские шинели”, с которыми переплетается голос лирического героя, Клычков проникает в ”метафизику войны”, в ту роковую трещину, которая прошла по человечьим душам и крестьянской цивилизации.

Настоящее переиздание снабжено”Хроникой жизни и творчества Сергея Клычкова”, составленной французским переводчиком и исследователем Мишелем Нике, его же послесловием и отзывами современников о романе.

ISBN 2-85-065-016-1